

ВЕСТНИК
МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

MOSCOW
STATE UNIVERSITY
BULLETIN

MOSCOW STATE UNIVERSITY BULLETIN

JOURNAL

founded in November 1946
by Moscow University Press

Series 9

PHILOLOGY

NUMBER SIX

NOVEMBER – DECEMBER

This journal is a publication
prepared by the Philological Faculty
Editorial Board.

There are six issues a year

MOSCOW UNIVERSITY PRESS • 2016

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Основан в ноябре 1946 года

Серия 9

ФИЛОЛОГИЯ

№ 6

НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

Выходит

один раз в два месяца

Издательство Московского университета • 2016

УЧРЕДИТЕЛИ:

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова;
филологический факультет МГУ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

М.Л.Ремнёва, докт. филол. наук, профессор, зав. кафедрой русского языка, декан филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова – *главный редактор*

О.А.Смирницкая, докт. филол. наук, профессор кафедры германской и кельтской филологии филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова – *зам. главного редактора по лингвистике*

В.М.Толмачев, докт. филол. наук, профессор, зав. кафедрой истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова – *зам. главного редактора по литературоведению*

Е.В.Клобуков, докт. филол. наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова – *отв. секретарь по лингвистике*

Г.В.Зыкова, докт. филол. наук, профессор кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова – *отв. секретарь по литературоведению*

Е.Г.Домогацкая, научный сотрудник лаборатории «Русская литература в современном мире», зам. декана филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова по редакционно-издательской деятельности – *оргсекретарь*

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ:

О.В.Александрова, докт. филол. наук, профессор, зав. кафедрой английского языкознания, зам. декана филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова по науке

А.Е.Беликов, канд. филол. наук, ст. преподаватель кафедры классической филологии, председатель Совета молодых ученых филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

Т.Д.Венедиктова, докт. филол. наук, профессор, зав. кафедрой общей теории словесности (теории дискурса и коммуникации) филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

М.В.Всёволодова, докт. филол. наук, профессор кафедры дидактической лингвистики и теории преподавания русского языка как иностранного филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

Д.П.Ивинский, докт. филол. наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

А.И.Изотов, докт. филол. наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

С.В.Князев, докт. филол. наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

И.М.Кобозева, докт. филол. наук, профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

С.И.Кормилов, докт. филол. наук, профессор кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

Н.Т.Пахсарьян, докт. филол. наук, профессор кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

С.Г.Татевосов, докт. филол. наук, профессор, зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

О.Е.Фролова, докт. филол. наук, ст. научный сотрудник лаборатории фонетики и речевой коммуникации филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

<i>Кузьмина Е.А., Пентковская Т.В.</i> Афоно-тырновская книжная справа конца XIII – XIV вв. и ее рецепция на Руси	9
<i>Крылова Э.Б.</i> Средства эпистемической модальности датского языка как парадигматическая гиперсистема	26
<i>Бондарь В.А.</i> Nabban + причастие II в древнеанглийской поэзии и прозе: сравнительный анализ.	48
<i>Пискунова С.И.</i> Смех Сервантеса и риторическая культура его времени	65

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

<i>Кукушкина О.В.</i> Язык Пушкина: лексикографические этюды II («Он уважать себя заставил...»).	85
<i>Федосеева Д.В.</i> Когнитивно-семантический анализ лексики, обозначающей отношение человека к собственности	108
<i>Гращенков П.В.</i> Автоматический анализ русских сложных слов.	119
<i>Черникова А.С.</i> Проблемы репрезентации прецедентных ситуаций в инокультурном контексте на примере перевода романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» на финский язык.	133
<i>Пирусская Т.А.</i> «Точки ретроспекции» как структурообразующий элемент романного дискурса у Ф.М.Достоевского и Джордж Элиот.	142
<i>Завьялова Е.Е.</i> Принцип антитезы в повести Ф.Н.Горенштейна «Последнее лето на Волге»	155

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

<i>Федотов О.И., Шелемова А.О. Либан Н.И.</i> Русская литература: Лекции-очерки. М.: Прогресс-Плеяда, 2014. 584 с.	164
<i>Кормилов С.И. Сухих И.Н.</i> Теория литературы. Практическая поэтика: Учеб. для высших учеб. заведений Российской Федерации. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2014. 352 с.; Теория литературы. Практическая поэтика: Хрестоматия для высших учеб. заведений Российской Федерации / Сост. И.Н.Сухих. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2014. 496 с.	173
<i>Филатов А.В.</i> Диалог согласия: Сб. науч. статей к 70-летию В.И.Тюпы / Под ред. О.В.Федуниной и Ю.Л.Троицкого. М.: Intrada, 2015. 437 с.	186
<i>Изотов А.И. Калита И.В.</i> Стилистические трансформации русских субстандартов, или книга о сленге. М.: Дикси Пресс, 2013. 240 с.	192

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Ивинский Д.П.</i> К юбилею Н.М.Карамзина	205
<i>Королинская Ю.В.</i> Конференция «Английский гений и мировая культура (в связи с 400-летием со дня смерти У. Шекспира)».	210
<i>Беликов А.Е.</i> Фестиваль науки на филологическом факультете – 2016. . . .	217
<i>Фуфаева И.В.</i> Конференция «Абсурд в языке и коммуникации» в Россий- ском государственном гуманитарном университете	224

ПАМЯТИ...

<i>Александр Анатольевич Илюшин</i>	228
---	-----

CONTENTS

ARTICLES

- Kuzminova E.A., Pentkovskaya T.V.* Afono-Tyrnova Book Correction it the End of the 13th – 14th Centuries and its Reception in Russia 9
- Krylova E.B.* Means of Epistemic Modality in Danish as a Paradigmatic Hyper-system 26
- Bondar V.A.* Habban + Participle II in Old English Poetry and Prose: A Comparative Analysis. 48
- Piskunova S.I.* The Laughter of Cervantes and the Rhetorical Culture of His Time. 65

COMMUNICATIONS AND MATERIALS

- Kukushkina O.V.* Pushkin's Language: Lexicographic Studies II («He made us respect him») 85
- Fedoseeva D.V.* Cognitive-Semantic Analysis of Lexemes, which denote a Person by his Relation to Property 108
- Grashchenkov P.V.* Automatic Analysis of Russian Compounds. 119
- Chernikova A.S.* The Problems of Representation of Precedent Situations in a Foreign Cultural Context by the Example of Finnish Translation of M.A. Bulgakov's Novel "Master and Margarita" 133
- Pirusskaya T.A.* "Points of Retrospection" as the Structure-Formative Element of the Novelistic Discourse in the Works of Fyodor Dostoyevsky and George Eliot 142
- Zavyalova E.E.* The Principle of Antithesis in S.N. Gorenstein's Story "Last Summer on the Volga" 155

CRITIQUE AND BIBLIOGRAPHY

- Fedotov O.I., Shelemova A.O.* Liban N.I. Russian literature: Lectures-essays. M.: Progress-Pleiad, 2014. 584 p. 164
- Kormilov S.I.* Sukhih I.N. Literary Theory. Practical Poetics: Manual for Higher Education Institutions of the Russian Federation. St. Petersburg: Faculty of Philology of St. Petersburg State University, 2014. 352 p.; Literary Theory. Practical Poetics: Reader for Higher Education Institutions of the Russian Federation / Comp. I.N.Sukhih. St. Petersburg: Philological Faculty of St. Petersburg State University, 2014. 496 p. 173
- Filatov A.V.* Dialogue of Consent: Collection of the Scientific Articles to the 70th Anniversary of V.I.Tyupa / Ed. O.V.Fedunina and Yu.L.Troitsky. Moscow: Intrada, 2015. 437 p. 186
- Izotov A.I.* Kalita I.V. Stylistic Transformations of Russian Sub-Standards, or a Book about Slang. M.: Dixie Press, 2013. 240 p. 192

SCHOLARLY LIFE

<i>Ivinsky D.P.</i> Towards the Anniversary of N.M.Karamzin	205
<i>Korolinskaya Yu.</i> Conference “English Genius and World Culture (in connection with the 400 th Anniversary of William Shakespeare’s Death)”	210
<i>Belikov A.E.</i> Festival of Science at the Faculty of Philology – 2016.	217
<i>Fufaeva I.V.</i> Conference “Absurdity in Language and Communication” in the Russian State Humanitarian University	224

IN MEMORIAM...

Aleksandr Anatolievich Iljushin	228
---	-----

СТАТЬИ

Е.А.Кузьмина, Т.В.Пентковская

АФОНО-ТЫРНОВСКАЯ КНИЖНАЯ СПРАВА КОНЦА XIII – XIV ВВ. И ЕЕ РЕЦЕПЦИЯ НА РУСИ

В статье подводятся итоги и обобщаются результаты лингвистических и текстологических изысканий, посвященных начальному этапу систематической книжной справы, последовательно осуществляемой в кон. XIII–XIV вв. усилиями афонских, южнославянских и русских книжников. Рассматриваются основные направления справы, устанавливаются ее параметры на графико-орфографическом, лексическом и грамматическом уровнях, описываются определившие ее представления о «книжной правильности» и программные языковые установки справщиков, выявляется характер рецепции новых «правленных редакций» богослужебных книг на Руси кон. XIII–XIV вв.

Ключевые слова: книжная справа, церковнославянский язык, второе южнославянское влияние.

The article sums up and summarizes the results of linguistic and textual research, devoted to the initial stage of the systematic book correction, consistently implemented in the end of the 13th and in the 14th centuries by the efforts of Athonian, South Slavic and Russian scribes. The main directions of the background are examined, its parameters are set on the graphical-spelling, lexical and grammatical levels, the definitions of “book correctness” and the program language settings of the “correctors” are examined, and the specifics of the reception of new “edited versions” of liturgical books in Rus in the end of the 13th and in the 14th centuries is revealed.

Key words: book correction, Church Slavonic language, second South Slavic influence.

1. Книжная справа – процесс исправления церковнославянских богослужебных и библейских книг с целью достижения правильности профессиональных текстов и языка.

Обычно начало книжной справы связывается с деятельностью южнославянских (болгарских) книжников по нормализации (преимущественно орфографической, а также морфологической и лексической) церковнославянского языка в рамках афоно-тырновской реформы и относится, таким образом, к концу XIII – XIV вв. «Мы не видим в XI–XIV вв. никаких попыток исправить богослужебные книги», – писал А.И. Соболевский [Соболевский, 1891: 22].

Согласно другой точке зрения, общеславянский процесс книжной справы, в ходе которой формировались новые редакции канонических

текстов и изводы церковнославянского языка, сопутствовал славянской письменности едва ли не с начального периода ее появления (см. [Сиромаха, Успенский, 1987: 75], [Бобрик, 1990: 62]). Об этом, в частности, свидетельствует материал предпринятого Л.П. Жуковской исследования текстов Евангелий XI–XIV вв. Л.П. Жуковская отмечает в них «обилие» лексических и грамматических замен. Эти замены, пишет она, «свидетельствуют об активном отношении древнерусских писцов даже к евангельскому тексту, при переписке которого писцы... довольно свободно вводили свои замены там, где текст оригинала казался им неудовлетворительным по языковому выражению» [Жуковская, 1976: 61–62]. Л.П. Жуковская связывает эти замены со стремлением древнерусских книжников «быть понятными» [Жуковская, 1976: 349]; не меньшую роль могло играть, по-видимому, и стремление книжников учесть разночтения, представленные в различных редакциях одного и того же текста.

Вместе с тем централизованное исправление книг действительно начинается у южных славян в конце XIII – начале XIV в., когда возникло представление о том, что в процессе бытования церковнославянские тексты подвергаются различного рода искажениям [Кузьминова, 2014].

2.1. С рубежа XIII–XIV вв. и до последней четверти XIV в. (времени патриарха Евфимия) усилиями нескольких поколений болгарских книжников, трудившихся главным образом в общеславянских центрах книжности – монастырях Афона и Константинополя (Дионисий Дивный, Захей Философ (Вагил), старцы Иоанн и Иосиф, Феодосий Тырновский, а также многие безымянные переводчики), – была осуществлена книжная реформа, получившая в наименование «тырновской» или, точнее, «афоно-тырновской» книжной справки. Необходимость этой работы была вызвана переходом Православных церквей на богослужение по Иерусалимскому уставу. Иерусалимский устав регламентировал совершение богослужения и использование богослужебных книг в Византии в палеологовский период (1261–1453 гг.). Во второй половине XIII в. он был принят на Афоне. В XIV в. появилось сразу несколько церковнославянских переводов этого текста, как у южных славян, так и на Руси (см. [Пентковский, 2001: 216–222], [Пентковский, 2004: 153–171], [Пентковская, 2009]).

Изменения затронули и формальную организацию новозаветного текста: ведущей формой становится Евангелие-тетр, разделенное на зачала (эта разметка сменяет более древнюю разметку по так называемым Аммониевым главам), и аналогичным образом устроенный Апостол

(continuous text) [Алексеев, 1999: 186]. В соответствии с указаниями Иерусалимского устава выстраивается структура и состав богослужебных текстов, таких, как Минеи, Триоди, Октоих и пр. (см. [Кривко, 2006], [Попов, 2006], [Тасева, 2004], [Йовчева, 2004]).

Внутренней причиной явилась потребность упорядочения церковнославянского языка среднеболгарской письменности, который под влиянием существенных изменений в живом болгарском языке утратил к этому времени свой нормативный характер [Норовская Псалтырь, I: 61–64], что вело к накоплению ошибок в тексте библейских и богослужебных книг. «Задача афонских редакторов заключалась в том, чтобы избавиться от существовавшего разнообразия и дать стабильный унифицированный текст, опираясь на основные варианты церковнославянской нормы» [Пентковская, 2009: 281].

Следует отметить, что переводы богослужебных текстов и монашеской литературы на искусственный книжный язык выполнялись с подобного застывшего новозаветного и византийского греческого языка, который также не отражал особенности живого греческого языка, входившего с литературным языком, как полагают исследователи, в отношения диглоссии [Voss, 2004: 47–58]. Язык светской византийской литературы существенно отличался от приобретшего черты классического языка «высоких» жанров [Browning, 1983: 72–74]. Подобное языковое размежевание в зависимости от типа текста отмечают для среднеболгарского языка болгарские исследователи [Гешев, 2007: 42]. При этом среднеболгарский и среднегреческий языки объединяет общность ряда процессов, характерных в целом для балканского языкового союза. При действии в книжном языке механизма ориентации на образцовые тексты, по определению В.М. Живова [Живов, 1996: 31–32], в качестве эталона избирается не диалект (или совокупность диалектных черт разных систем), а искусственный язык, консервативный по отношению к новым диалектным явлениям, при этом обладающий значительным престижем. С этим важным обстоятельством связан отмечаемый всеми исследователями так называемый буквализм новых переводов и правленных редакций.

В текстологическом отношении верность греческому оригиналу выражалась в ориентации на современные справщикам греческие списки библейских и богослужебных текстов. В собственно лингвистическом отношении в новых переводах конца XIII–XIV в. исследователи отмечают действие несколько основных тенденций, отчасти противоречащих друг другу.

1) Тенденция к грецизации, проявляющаяся на всех языковых уровнях: *графико-орфографическом* – возрастающая частота употребления диакритических знаков, грецизированные начерки некоторых графем (например, *v*, *ψ*, *ξ*, *ε*); *морфологическом* – стремление к грамматическому параллелизму перевода и оригинала, выражающееся в использовании личных глагольных форм в соответствии с личными греческого текста, ограничении аналитических глагольных форм при передаче греческих синтетических форм будущего времени и пассива, в соответствии именных форм (в частности, в замене притяжательного прилагательного родительным приименным) и др.; *синтаксическом* – стремление к соответствию в порядке слов перевода и оригинала, многочисленные кальки, в том числе широкое употребление конструкций, включающих обобщенные формы относительного местоимения **иже** в сочетании с инфинитивом, причастием или именной группой, в которых **иже** занимает позицию греческого артикля; соответствие греческих и славянских абсолютных и инфинитивных оборотов, калькирование греческих моделей управления; *лексическом* – существенное увеличение числа грецизмов, а также словообразовательных и семантических калек, в том числе и в сфере литургической терминологии. Особо следует отметить наличие среди таких заимствований служебных слов, в частности, **оти** ‘потому что, что’, **ала** ‘но’ и др. Некоторые лексические грецизмы с течением времени вытесняют в литературном языке и в диалектах их собственно славянские эквиваленты, например **хилада** замещает **тысѣща**, **тиганъ** – **сковрада**, **хора** – **людие**, заимствование **кокалъ** ограничивает употребление слова **кость** (см. [Чешко, 1982], [Карачорова, 1985], [Карачорова, 1989], [Харалампиев, 1990], [Пичхадзе, 1991], [Карамфилова, 1998], [Иванова-Мирчева, Харалампиев, 1999: 334–337], [Русек, 2002: 56–57], [Пентковская, 2004]).

2) Тенденция к архаизации. Консервативность книжного языка проявляется прежде всего в области именной системы, в которой сохраняются (с определенными изменениями) старославянские типы склонения, в то время как в живом языке набирает ход процесс перехода к аналитической системе. Кроме того, на правах вариантов функционируют такие архаичные формы, как страдательные причастия прошедшего времени от глаголов на **-ити** типа **хваль** (ср. **хваливъ**), нестяженные формы перфекта и др. Лексическая система переводов включает в себя наследие как охридской, так и преславской книжной школы.

3) Тенденция к актуализации. Учитывая уже упоминавшуюся консервативность книжной традиции, ориентированной на преемственность по

отношению к старославянским образцам, следует отметить, что данная тенденция выражена наименее отчетливо. В целом она может быть охарактеризована как противоположная по отношению к предыдущей. Это проникновение определенных черт живого языка в язык книжных текстов, в частности, отражение в них развития категории мужского лица (генерализация форм вин. п. = род. п.), формы, отражающие перегруппировку именной парадигмы, расширенное употребление указательного местоимения **тъ** вместо **сь** и **онъ**, выражение притяжательности не только с помощью форм прилагательных, но и с помощью дательного падежа и т. д. В сфере лексики это незасвидетельствованные в старославянских памятниках слова, например, **пролѣтъ**, **пролѣтник** ‘весна’, **майка** ‘мать’, а также развитие новых значений у древних лексем, в частности **гора** ‘лес’, **доуша** ‘человек’ (см. [Rusek, 1983: 261–266], [Иванова-Мирчева, Харлампиев, 1999], [Велчева, 2001: 239–242], [Райкова, 2004: 60], [Гешев, 2007: 41–43]).

Сочетание этих трех тенденций закладывает основы стилистической дифференциации и в конечном итоге приводит к размежеванию искусственно усложненного языка «высоких» жанров и ориентированной на более широкое взаимодействие с живым языком низовой литературы, продолжением которой являются дамаскины [Тасева, 2008: 570–574].

Реформу, начатую афонскими книжниками, продолжает в Болгарии патриарх Евфимий Тырновский, который первую половину жизни подвизался в монастырях Константинополя и Афона и мог участвовать там самым непосредственным образом в этой филологической работе.

Патриаршество Евфимия связывается исследователями с последовательным введением Иерусалимского Типикона в богослужение; с приданием новым переводам и правленным редакциям богослужебных книг статуса нормативных; с дополнением корпуса этих текстов новыми переводами и редакциями; с окончательной кодификацией орфографии в духе афонских образцов [Ангушева и др., 2008: 576].

2.2. После захвата Болгарии в 1393 г. турками-османами активная культурная жизнь у южных славян переместилась на несколько десятилетий в Сербию, где при дворе деспота Стефана Лазаревича и в основанном им Ресавском монастыре (ныне монастырь Манасия) основные принципы и целеустановки «афоно-тырновской» справы реализуются уже в так называемой «ресавской» справе и получают теоретическое обоснование в филологическом трактате полемического характера Константина Костенечского «Сказание о письменах» (ок. 1424–1426 г.). Конс-

тантин Костенечский одним из первых в славянских культурах обосновал необходимость лингвистической рефлексии над литературным языком и его кодификации в специальных грамматических сочинениях [Кузьмина, 2010].

В «Сказании о письменах» в основу кодификации церковнославянского языка им был положен принцип антистиха – дифференциации лексических и грамматических омонимов с помощью букв и надстрочных знаков, ставший основным принципом церковнославянской орфографии. Каждый знак письма имеет смысловоразличительную функцию и служит для противопоставления языковых единиц с разным значением. Так, лексические омонимы дифференцируются в «Сказании...» путем распределения 1) омофоничных букв: **и** – **ѣ**: **мѣрно** (от **мѣро** ‘священное масло’) и **мірно** (от **миръ** ‘мир, покой’); **є** – **к**: **ѣзыкъ** (‘народ’, *греч.* ἔθνος) и **къзыкъ** (‘часть тела, речь», *греч.* γλῶσσα); 2) надстрочных знаков: **’** (оксия) – **^** (облеченное ударение) **оѣже** (‘веревка’) и **оѣже** (‘ужё’).

Формы с разной грамматической семантикой, и в том числе грамматические омонимы, также противопоставляются посредством оппозиционных графем и надстрочных знаков. В паре **о** – **ѡ** за **о** Константин закрепляет значение единственного числа, за **ѡ** — множественного: **вода** – **вѡды**, **море** – **мѡра**, **ѡблакъ** – **ѡблаци**. Данная семантическая специализация **о** – **ѡ** сложилась под влиянием семантики греческих названий аллографов **ο** и **ω** («о малое» и «о большое»), а также отчасти под влиянием участия **ο** и **ω** в противопоставлении именных форм ед. и мн. ч. в греческом языке, где в именах второго и третьего склонения в окончании род. п. ед. ч. пишется **ο** – **ος**, а в окончании род. п. мн. ч. пишется **ω** – **ων**. Для тернарного числового противопоставления форм ед., дв. и мн. ч. слова **око** в «Сказании...» использованы особые графемы, передающие наряду с грамматической и собственно лексическую семантику, – «о-очное» **ѡ** и графема в виде двух соединенных букв **ѡѡ**: **ѡко** – **ѡѡчи** **мѡн** – **ѡѡчи**.

Аллографы **ο** – **ω** участвуют и в дифференциации по роду, **ο** приписывается значение женского рода, **ω** — мужского: **ѡѡра** – **ѡѡръ**, **ѡна** – **ѡнь**, **ѡнсица** – **ѡнсица**. Пару **а** – **ѡ** Константин предлагает использовать для отличия формы им. п. ед. ч. ж. р. **ѣдѣнаа** от формы им. п. дв. ч. м. р. **ѣдѣнаѡ**. С помощью надстрочных знаков — «сил» **’** и **^** различаются сербская форма возвратного местоимения и форма им. п. = вин. п. ед. ч. ср. р. указательного местоимения **се** – **се** (**ѡѡнсе** ‘явился’ – **ѡѡнсе** ‘явил се’) [Кузьмина, 2001], [Кузьмина, 2011].

Принцип антистиха реализуется в «Сказании...» не только в написании отдельных лексем и грамматических форм, но и на уровне целого текста. Текст при его цитировании должен быть маркирован как сакральный или, напротив, профанный. В качестве маркеров выступают знаки препинания, вводящие данный текст как цитату, – кавычки. Одинарные кавычки являются показателем «святости» цитируемого источника, двойные предназначены для включения цитат апокрифических и еретических: «**҆**Ѣ* пакы ѡврѣтохѡ ѡ тѣхъ дивныи моужии, въ мѣсто сѣ ' ѡблѣюще прѣрчыскыи рѣчи, и ли еѡлскыи, ѡ сѣписателя словѣ и прѣчи, ѡблѣюще сѣ еретическыи глѣ» [цит. по: Ягич, 1885–1895, 429]¹ [Кузьмина, 2001], [Кузьмина, 2011].

Таким образом, Константин Костенечский распространяет принцип антистиха на славянский языковой материал, настаивая на его обязательном соблюдении с тем, чтобы избежать сомнительных в отношении догматической чистоты искажений смысла церковнославянских текстов, возникающих в результате смешения знаков письма.

Необходимость соблюдения принципа антистиха аргументируется задачей построения церковнославянского языка по модели греческого, который, согласно созданной Константином теории генеалогического развития Священных языков, является «матерью» церковнославянского: «**Нѣ** и ѣще ѡ анѣистихъ сѣмотрѣ по грѣчскыи раздѣленъ»; «**мы*** ѡбразъ даѣмъ ѡ анѣистихъ, и аще невѣрно мнитъ ти сѣ, свѣтелъ прѣвожъ ти мѣръ твою грѣчскыи глѣ и писмена» (цит. по: [Ягич, 1885–1895: 413–414]).

Богословское обоснование языковой идеологии Константина Костенечского, его представлений о происхождении, природе и достоинстве

¹ В Буковинском списке «Сказаніа...», выполненном, по всей вероятности, одним из учеников Константина в Сербии в конце XV в., данное правило проиллюстрировано многочисленными примерами: «**Ѣ** же пакы ѣдиѡ ' , и деже по чѣтомы кнѣгахъ възымажъ сѣписателѣ свѣтелство ѡ выгѣ и ли ѡ прѣрчства, а коже чѣ глѣ; сѣ деаа въ чрѣвѣ прѣиметь, и ли въ еѡли рѣ гѣ гѣи моѣмоу, и ли и деже прѣ сѣ ерѣтны, сѣ ѡблѣетъ православныхъ рѣчи, и деже глѣтъ вѣрѣжъ въ ѣдиѡго бѣ, и ли исповѣдажъ истиннѣжѣ вѣж, и ли поклонѣніе стѣхъ и чѣныхъ и кѣнѣ. сѣ възсѣ православныхъ сѣжѣ. и зрѣ вѣлѣгъ сѣ ѣдинъ ' . а и деже еретическыи хоулы и вѣлѣсловѣа, и деже глѣтъ вѣж не глати, и ли ѣдиѡножѣ сѣа Ѧцѣу не прѣемлѣтъ, и ли ѡ Ѧца и сѣа дѣхъ и сѣхѣдитъ глѣтъ, и зрѣ вѣлѣгъ еретическыи сѣ деа ' . да аще сѣхъ оупнѣши, и деже сѣжѣ православныхъ глѣ, вѣдиши ли въ колѣжъ пропасть низвѣдиши сѣбѣ, Ѧкаѣнне» (цит. по: [Ягич, 1885–1895: 547]).

церковнославянского языка большинство исследователей связывают с духовно-аскетической традицией исихазма. В соответствии с исихастским богословием слово есть символ, т. е. обладает безусловной связью между означающим и означаемым, следовательно, графические знаки Св. Писания являются не условными, а мотивированными обозначениями божественных прообразов. Поэтому любое нарушение норм орфографии, обличаемое Константином, приводит к отступлению от ортодоксии, к еретическим искажениям смысла священных текстов. Для предотвращения этого им была разработана программа первоначального обучения грамоте, предполагающая, в частности, использование принципиально новаторского «звукового метода» [Кузьминова, 2001].

2.3. Результатом книжной справки, проведенной на Афоне и подхваченной позже в болгарских и сербских книжных центрах, явилось создание новых, «правленных» редакций библейских и богослужебных книг, новых переводов и нормализация церковнославянского языка.

В ходе «афоно-тырновской» книжной справки были переведены заново либо существенно отредактированы путем сличения славянских списков с греческими 1) полный круг литургических и паралитургических четких книг (Стишной Пролог, триодный Синаксарь, «студийская коллекция» гомилий, патриарший гомилярий, Маргарит и др.), необходимых для богослужения по Иерусалимскому уставу, окончательно утвердившемуся в практике Византийской Церкви на протяжении XIII в.; 2) аскетические и сопутствующие им догматико-полемические сочинения – своеобразная библиотека исихазма (Лествица, сочинения Аввы Дорофея, Исаака Сирина, Симеона Нового Богослова, Григория Синаита, Григория Паламы и других); 3) Евангелия и Псалтырь, афонские редакции которых были положены в XVI в. в основу печатных изданий и сохранились до настоящего времени.

С точки зрения деятелей «афоно-тырновской» реформы, книжная практика предшествующего периода, которая допускала отступления от буквы греческого оригинала при переводе канонических текстов на славянский язык и делала возможным проникновение в эти тексты локальных элементов, привела к порче текста и языка славянской книжности. Излагая мотивы справщицкой деятельности своего наставника Евфимия патриарха Тырновского, Григорий Цамблак указывает: «Первии преводителе – или за еже еллиньского языка же и учения не в конец ведети, или и своего языка дебелости служити – яже издаша книги не сложны в речех явишася и разумению греческих писании не согласны, дебелством

же связаны и негладкий к течению глагольному, и тъкмо от еже именован-
 тия благочестивых книг верное имеху. Мног же вред в крыящесе истин-
 ным догматом сопротивление; темъ же и многы ереси от сих произыдо-
 ша» (цит. по: [Мошин, 1963: 96]). Таким образом, понятие правильности
 текста и языка связывается с верностью греческому оригиналу, с очище-
 нием церковнославянского языка от локальных элементов и с его усовер-
 шенствованием по образцу греческого языка. Язык самого Григория
 Цамблака предстает как сложное сочетание архаизмов и инновационных
 элементов. Так, для него характерно употребление глагола **непѣцѣвати**,
 восходящего к Охридской книжной школе (вторичная актуализация дан-
 ной лексики вообще характерна для всего рассматриваемого периода),
 предпочтение лексики **тоуждь**, которые употребляются наряду с незаре-
 гистрированными в древнеболгарский период лексемами и возможными
 авторскими новообразованиями, например, **сирнѣскаа тканѣа** ‘шелко-
 вая материя’ от греч. σπρίκος ‘шелковый’ [Сване, 1981].

3.1. В международных центрах православной церковной жизни – Кон-
 стантинополе и Афоне – трудились и русские книжники. Их деятель-
 ность, результатом которой стало появление таких памятников письмен-
 ности, как Чудовский Новый Завет сер. XIV (предположительно 1354 г.),
 Константинопольское Евангелие 1383 г. или 1393 г. (?) (ГИМ, Син. 742.),
 Диоптра инока Филиппа 1388 г. (ГИМ, Чуд. 15), Устав нач. XV в. (до 1416
 г. или ок. 1424 г.) (ГИМ, Усп. 5-п) и др., предшествовала систематической
 книжной справе на Руси. Чудовская редакция Нового Завета считается
 важнейшим этапом реформирования древнерусской богослужебной
 книжности и представляет собой особую разновидность так называемых
 правленных редакций богослужебных книг, появляющихся у славян в
 XIII–XIV вв. [Алексеев, 1999: 191–195], [Пентковская, 2009]. Новозавет-
 ный текст заново переводится с греческого, что свидетельствует о крити-
 ческом отношении русских книжников к имеющимся у них переводам и
 о стремлении привести эти переводы в соответствие с принятыми у гре-
 ков текстами. Создатель архетипа Чудовской редакции стремился к мак-
 симально точному отображению своего греческого оригинала, прибегая
 для решения этой задачи к поморфемному переводу, калькированию (на
 словообразовательном, лексическом и синтаксическом уровнях); в Чу-
 довской рукописи наблюдается употребление греческих флексий в гре-
 цизмах, воспроизведение начертаний графем α, ε, υ, ω и греч. лигатур,
 последовательная постановка акцентных знаков в подражание греческо-
 му минускулу (подробный анализ лингвистических параметров Чудов-

ской редакции Нового Завета см.: [Пентковская, 2009]).

Чудовская редакция Нового Завета, как и появившийся приблизительно в то же время русский перевод Иерусалимского Устава, сочетает расширенный набор грецизмов с некоторым числом лексических и грамматических регионализмов. Так, в числе грецизмов Чудовской редакции находятся лексемы, унаследованные ею из предшествующих редакций (**никросинни**), уникальные грецизмы сугубо книжного характера (**андраподистъ**), грецизмы, имеющиеся в живом болгарском языке рассматриваемого периода и современных южнославянских языках (**синнапный**, **стафили**). С русской средой Чудовскую редакцию связывает употребление лексических регионализмов **погостъ**, **вьрста** ‘мера длины’, а также причастие **бѹда**, которое относится к русизмам как по формальному показателю, так и по особенностям грамматической семантики.

Со второй половины XIV в., когда после длительного перерыва восстанавливаются прерванные монголо-татарским нашествием контакты Русской Церкви с другими православными церквями, перешедшими к этому времени на богослужение по Иерусалимскому уставу (Константинопольской – в XIII в., Сербской и Болгарской – в первой половине XIV в.), на Руси начался процесс замены Студийско-Алексиевского устава на Иерусалимский. Иерусалимский церковный устав и связанный с ним корпус новых правленных южнославянских редакций богослужебных книг и сочинений, относящихся к монашеской жизни и аскетической практике, был принесен на Русь и постепенно вытеснил из обихода студийское богослужение.

Известный в нескольких списках XIV–XV вв. русский перевод Иерусалимского устава содержит типично русские памяти (например, под 15 июля отмечается память св. князя Владимира), а также ряд терминологических русизмов, в частности, **выходъ** ‘литургический вход’ в соответствии с греческим εἵσοδος, **женчюгъ** – Μαργαρίται (применительно к названию сборника Слов Иоанна Златоуста «Маргарит»), **сорочинны** ‘сорокадневное поминовение усопшего’. В то же время он обладает особым набором терминологических грецизмов, не характерных для южнославянских переводов этого текста, в частности, **кандилаптисъ**, **кандилаптъ** – ὁ κανδηλάπτης, **синнапти** ‘ектенъ’ в соответствии с ἡ συναπτή и др. [Пентковская, 2008].

Чудовская редакция Нового Завета и русский перевод Иерусалимского устава, представленные небольшим числом собственно русских списков, носили локальный характер по сравнению с афонской редакцией Нового

Завета и поздним болгарским (евфимиевским) переводом Иерусалимского Устава, обладавшими чертами стабильного унифицированного текста, предназначенного для массового копирования [Алексеев, 1999]. Это привело к вытеснению русских переводов соответствующими южнославянскими, широко распространившимися в русской традиции.

Южнославянские переводы Иерусалимского устава имели на Руси различную степень распространения. Помимо упомянутого позднего перевода Евфимия Тырновского, здесь получил некоторую известность и первый болгарский перевод Иерусалимского Устава, происходящий с Афона, который отразился в рукописи РГАДА, Син. Тип. 45 (XIV в.) [Пентковская, 2009a]. Сербская традиция Иерусалимского Типикона отразилась в русской редакции Fekula-VI, составленной, по всей вероятности, в конце XIV – начале XV вв. [Пентковская, 2006]. Все это свидетельствует о том, что книжная справа на Руси в XIV–XV вв. является продолжением процесса, начавшегося на Балканах.

3.2. Новые тексты, переведенные и отредактированные южными славянами, распространялись на Руси в последней четверти XIV – первом десятилетии XV в. (для Новгорода – в 1420-е гг.) [Турилов, 1998: 329] и стали главным фактором второго южнославянского влияния, определившим облик и судьбу церковной словесности и церковнославянского языка русского извода.

Основной вклад в проведение литургической реформы и обеспечивающей ее книжной справы был внесен митрополитом Киприаном (1390–1406), активно развивавшим книгописание. По его указу было переписано и разослано по церквям и монастырям значительное количество богослужебных книг. Помимо общего руководства ходом реформы и книжной справой Киприан сам занимался справщицкой деятельностью. Так, им была проведена справа Служебника (ГИМ, Син. 344 /601/), в который впервые был включен «Устав Божественной литургии» (Диатакис) патриарха Константинопольского Филофея Коккина; Псалтыри с воследованием (РГБ, собр. МДА фонд., 142), где порядок службы изложен согласно с Иерусалимским уставом; был переведен с греческого ряд гимнографических текстов (см. [Амфилохий, архим., 1878], [Князевская, Чешко, 1980], [Чешко, 1981], [Дробленкова, Прохоров, 1988], [Афанасьева 2015]).

В книжной справе в период второго южнославянского влияния реализуются те представления о «книжной правильности» и те языковые установки, которые были усвоены от южнославянских книжников. Предше-

ствующая эволюция церковнославянского языка русского извода, когда в него проникают элементы разговорного языка, начинает рассматриваться как «порча», приведшая к дестабилизации библейских и богослужебных текстов. «Максимальное приближение языка перевода к греческому тексту и архаизация письменного языка, изгнание из него всех элементов живого языка... становится идеалом и для русских книжников, правщиков и переписчиков церковных книг» [Чешко, 1981: 79]. В результате проведенной ими книжной справы достигается частичное упорядочение основного корпуса церковных книг и осуществляется реформа церковнославянского языка русского извода, нацеленная на восстановление его древнейших норм. Искусственная реставрация первоначального состояния церковнославянского языка русского извода осуществляется через призму южнославянской книжной традиции, которая воспринималась на Руси как исконная, архаичная, приближающая церковнославянский язык к греческому и более нормализованная, подвергшаяся к тому времени книжной справе, т.е. как подходящий инструмент для решения задач, возникших на собственно восточнославянской почве: «южнославянский извод церковнославянского языка послужил той моделью, на которую ориентировались русские книжники» [Успенский, 2002: 275].

Усилия справщиков были направлены преимущественно на орфографическую нормализацию по образцу среднеболгарского «тырновского» правописания. Формируется новая норма церковнославянской орфографии, в которую входит ряд южнославянских графико-орфографических особенностей. В зависимости от степени распространенности и хронологии появления в древнерусских рукописях XIV–XV вв. эти графико-орфографические инновации подразделяются М.Г. Гальченко на три набора: *минимальный* (употребление буквы **а** в соответствии с [ja] вместо **ѡ**; использование **ї** («десятеричного») перед гласными; использование запятой и точки с запятой, употребление паерка, использование акцентных знаков, написание **ѡд** в соответствии с *dj, употребление **ь** вместо **ѣ** в конце слова после твердых согласных), *расширенный минимальный* или *средний* (употребление буквы «зело» **ѣ** (ѣ), ранее использовавшейся только в числовом значении, в соответствии с [z], употребление **ѣ** в соответствии с [z], «южнославянские» написания корневых сочетаний редуцированных с плавными) и *максимальный* (написания с **ѣ** в соответствии с [‘a], употребление **ѣ** как в соответствии с этимологией, так и в соответствии с [u], мена юсов **ѣ** ↔ **ѣ** типа среднеболгарской, написания с **ѣ** вместо **ѣ**) [Гальченко, 2003: 343–382, 438–440]. Специфическая юж-

нославянская орфография в большинстве случаев оказалась скоропреходящей. В Московской Руси она исчезает в середине XVI в., тем не менее ее отдельные элементы закрепляются в норме церковнославянского языка.

Идеи М.Г. Гальченко относительно иерархии графико-орфографических признаков второго южнославянского влияния в древнерусских рукописях Т.И. Афанасьева предлагает экстраполировать на уровень текста. Грамматические элементы, характерные для текстов периода второго южнославянского влияния и значимые для описания переводческой техники, могут входить в «максимальный, средний и минимальный набор грамматических и синтаксических инноваций XIV в., отраженных в конкретном переводе» [Афанасьева и др., 2015: 33]. К таким грамматическим признакам относятся предлог **радн**, местоимение **тъ** в качестве личного, запретительный конъюнктив, местоименные клитики в функции притяжательных местоимений, формы тв. п. мн. ч. на **-ьми**, употребление во 2-м лице ед. ч. числа перфектных форм вместо аористных, замена двойственного числа множественным, а также кальки греческих субстантивированных инфинитивов [Афанасьева и др., 2015: 14–34].

Примечательно, что и в Чудовской редакции Нового Завета, и в переводах, выполненных по заказу митрополита Киприана (переводы чинопоследований в составе Служебника и Требника), наблюдается сочетание разноуровневых калек с греческого с лексическими и грамматическими русизмами [Афанасьева, 2016: 3]. Такое положение не является случайным, а представляет собой объединение тенденций к грецизации и актуализации языка перевода, причем последняя проявляется в виде адаптации перевода к конкретной языковой среде (русской). Уже отмечалось, что сходным образом устроены и сербские переводы данного периода [Пентковская, 2011: 251].

Итак, систематическая книжная справа конца XIII – XV в. последовательно осуществлялась трудами афонских, южнославянских и русских книжников. Она имела архаизирующий, реставрационный характер и была направлена на сближение с греческим оригиналом путем «очистки» славянских текстов от накопившихся в них с течением времени ошибок. При этом греческая традиция рассматривалась как эталонная и не подвергшаяся изменениям с течением времени. Реставрационно-пуристические идеи книжной справы стимулировали грамматическую рефлексию: осознается необходимость системы абстрактных правил, которая бы позволила контролировать стабильность текста и унифицировать языковые нормы. Именно грамматика постепенно становится критерием оценки

правильности текста и ведущим фактором правки.

Список литературы

- Алексеев А.А.* Текстология славянской Библии. СПб., 1999.
- Амфилохий, архим.* Что внес св. Киприан, митрополит Киевский и всея России, а потом Московский и всея России, из своего наречия и из переводов своего времени в наши богослужebные книги? // Труды III Археологического съезда. Т. 2. Киев, 1878. С. 230–251.
- Ангушева А., Атанасова Д., Бояджиев А. и др.* История на българската средновековна литература / Съст. А. Милтенова. София, 2008.
- Афанасьева Т.И.* Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого в славянской традиции (по служебникам XI–XV вв.) М., 2015.
- Афанасьева Т.И., Козак В.В., Мольков Г.А., Соколов Е.Г., Шарихина М.Г.* Языковые инновации в переводах, связанных с именем Киприана // Slověne=Словѣне. International Journal of Slavic Studies. Vol. 4. № 1 (2015). С. 13–38.
- Афанасьева Т.И.* Грамматические инновации в переводах Киприана // Грамматические процессы в синхронии и диахронии: Тезисы докладов междунар. конф. 30 мая – 1 июня 2016 г. М., 2016. С. 3.
- Бобрик М.Г.* Представления о правильности текста и языка в истории книжной справы в России (от XI до XVIII в.) // Вопросы языкознания. 1990. № 4. С. 61–85.
- Велчева Б.* От МАТИ до МАЙКА и един словообразователен модел // Кирило-Методиевски студии. Т. 14. 2001. С. 239–242.
- Гальченко М.Г.* Второе южнославянское влияние в древнерусской книжности (Графико-орфографические признаки второго южнославянского влияния и хронология их появления в древнерусских рукописях конца XIV – первой половины XV в.) // Книжная культура. Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси. (Труды Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Т. I.) М., 2001. С. 325–382.
- Гешев В.* Ранноновобългарската падежна система // Старобългаристика. XXXI (2007). № 1. С. 40–64.
- Дробленкова Н.Ф., Прохоров Г.М.* Киприан // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 1. Л., 1988. С. 464–475.
- Живов В.М.* Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.
- Жуковская Л.П.* Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976.

- Иванова-Мирчева Д., Харалампиев И. История на българския език. В. Търново, 1999.
- Йовчева М. Новоизводният славянски Октоих по найранния препис в контекста 19 и 20 от манастира «Св. Екатерина» в Синай Преводите през XIV столетие на Балканите. София, 2004. С. 205–234.
- Карамфилова П. Употребата на ИЖЕ като средство за изразяване на определеност в житията на Евтимий Търновски // Български език. Год. XLVII (1997/1998). Кн. 2. С. 30–37.
- Карачорова И. Редакции древнеболгарского текста Псалтыри по языковым данным // Polata knigopisnaja. 1985. № 14–15. Р. 26–38.
- Карачорова И. Към въпроса за Кирило-Методиевия старобългарски превод на Псалтира // Кирило-Методиевски студии. 1989. Кн. 6. С. 130–245.
- Князевская О.А., Чешко Е.В. Рукописи митрополита Киприана и отражение в них орфографической реформы Евфимия Тырновского // Тырновска книжовна школа. Т. 2. София, 1980. С. 282–292.
- Кривко Р.Н. Фрагмент НБКМ 114 в истории переводов славянских служебных миней // Scripta & e-Scripta. Т. 3–4. 2006. С. 59–94.
- Кузьмина Е.А. Антистих // Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2001. С. 549–552.
- Кузьмина Е.А. Константин Костенечский // Большая российская энциклопедия. Т. 15. М., 2010. С. 88.
- Кузьмина Е.А. Принцип антистиха в славянской грамматической традиции // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2011. № 5. С. 36–55.
- Кузьмина Е.А. Книжная справка // Православная энциклопедия. Т. 36. М., 2014. С. 122–134.
- Мошин В. О периодизации русско-южнославянских литературных связей X–XV вв. // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 19. М.; Л., 1963. С. 28–106.
- Пентковская Т.В. Переводы византийско-славянской контактной зоны XIII–XIV вв.: литургическая терминология // Преводите през XIV столетие на Балканите. София, 2004. С. 235–248.
- Пентковская Т.В. Иерусалимский устав в рукописи из коллекции П. Фекулы (Fekula-VI) // Вереница литер: К 60-летию В.М. Живова. М., 2006. С. 147–174.
- Пентковская Т.В. Ранняя русская редакция Иерусалимского устава, ее лингвистический характер и место в русской переводной традиции // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 59. СПб., 2008. С. 169–190.

- Пентковская Т.В.* К истории исправления богослужебных книг в Древней Руси в XIV веке: Чудовская редакция Нового Завета. М., 2009.
- Пентковская Т.В.* Адаптация раннего болгарского перевода Иерусалимского Типикона (рукопись РГАДА, ф. 381, № 45) // Кирило-Методиевски студии. Т. 18. София, 2009. С. 323–340.
- Пентковская Т.В.* Правленные редакции Нового Завета и славянские переводы Иерусалимского Типикона // Священное Писание как фактор языкового и литературного развития. СПб., 2011. С. 241–253.
- Пентковский А.М.* Литургические реформы в истории Русской Церкви и их характерные особенности // Журнал Московской Патриархии. 2001. № 2. С. 72–80.
- Пентковский А.М.* Типикон патриарха Алексея Студита в Византии и на Руси. М., 2001.
- Пентковский А.М.* Иерусалимский Устав и его славянские переводы в XIV столетии // Преводите през XIV столетие на Балканите. София, 2004. С. 153–171.
- Попов Г.* Среднобългарският светогорски превод на Триода от първата половина на XIV век // Преводите през XIV столетие на Балканите. София, 2004. С. 173–184.
- Райкова М.* Към история на наименованията на годината и на годишните времена // Старобългаристика. XXVIII (2004). № 2. С. 55–64.
- Русек Й.* Изток и Запад в лексиката на българския език през Средновековието // Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. София, 2002. С. 54–63.
- Сване Г.* Новосъздадено и унаследено в езика на Григорий Цамблак // Български език. Год. XXXI (1981). Кн. 2. С. 95–115.
- Сиромаха В.Г., Успенский Б.А.* Кавычные книги 50-х гг. XVII в. // Археографический ежегодник за 1986 г. М., 1987.
- Соболевский А.И.* Судьбы церковнославянского языка. СПб., 1891.
- Тасева Л.* Книжные взаимоотношения между Святой горой и Тырново в свете текстовой традиции Триодного Синаксаря Преводите през XIV столетие на Балканите. София, 2004. С. 185–203.
- Турилов А.А.* Восточнославянская книжная культура конца XIV—XV в. и «второе южнославянское влияние» // Древнерусское искусство: Сергей Радонежский и художественная культура Москвы XIV—XV вв. СПб., 1998. С. 321–337 (то же в изд.: *Турилов А.А.* Slavia Cyrillomethodiana: Источниковедение истории и культуры южных славян и Древней Руси. Межславянские культурные связи эпохи средневековья. М., 2010. С. 235–282; *Турилов А.А.*

- Межславянские культурные связи эпохи средневековья и источниковедение истории и культуры славян: Этюды и характеристики. М., 2012. С. 519–555).
- Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). 3-е изд., испр. и доп. М., 2002.
- Харалампиев И. Езикът и езиковата реформа на Евтимий Търновски. София, 1990.
- Чешко Е.В. Второе южнославянское влияние в редакции псалтырного текста на Руси (XIV–XV вв.) // *Palaeobulgarica*. Старобългаристика. 1981. № 4. С. 9–85.
- Чешко Е.В. Об афонской редакции славянского перевода псалтыри в ее отношении к другим редакциям // *Язык и письменность среднеболгарского периода*. М., 1982. С. 60–93.
- Чешко Е.В., Бунина И.К., Дыбо В.А., Князевская О.А., Науменко Л.А. Новгородская Псалтырь. Среднеболгарская рукопись XIV в. Ч. 1–2. София, 1989.
- Ягич И.В. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке // *Исследования по русскому языку*. Т. I. СПб., 1885–1895.
- Browning R. *Medieval and Modern Greek*. Cambridge, 1983. Rusek J. Bułg. *prolet* ‘wiosna, ver’ // *Studien zur Literatur und Kultur in Osteuropa*. Bonner Beiträge zum 9. Internationalen Slawistenkongreß in Kiew. Köln, 1983. S. 261–266.
- Voss Ch. *Südslavische Übersetzungskunst im Licht der Griechischen Diglossieproblematik* // *Преводите през XIV столетие на Балканите*. София, 2004. С. 47–58.

Сведения об авторах:

Кузьмина Елена Александровна, докт. филол. наук, профессор кафедры русского языка для иностранных учащихся филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: elenk2002@mail.ru.

Пентковская Татьяна Викторовна, докт. филол. наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: pentkovskaia@gmail.com.

Э.Б.Крылова

СРЕДСТВА ЭПИСТЕМИЧЕСКОЙ МОДАЛЬНОСТИ ДАТСКОГО ЯЗЫКА КАК ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ ГИПЕРСИСТЕМА

Статья посвящена проблеме построения парадигматической гиперсистемы разноуровневых средств эпистемической модальности в датском языке на основе критериев, выявленных нами в результате функционально-семантического описания группы модальных частиц: выражаемое эпистемическое значение, функциональная направленность на одного из участников коммуникативной ситуации, а также определяемая говорящим мера своей ответственности за эксплицируемую в высказывании эпистемическую оценку.

Ключевые слова: эпистемическая модальность, парадигматическая гиперсистема, модальные частицы, функциональная семантика.

The article proposes a contrastive analysis of the means of expressing epistemic modality that belong to different levels: modal particles, modal words and grammaticalised verb combinations. At the basis of the paradigmatic relations detected inside of the groups of such means lie similar differential features, which allows to include them as a subsystem into a / the paradigmatic hypersystem, setting them against each other according to the feature of their varying functional orientation.

Key words: epistemic modality, paradigmatic hypersystem, modal particles, functional semantics.

1. Источники знания и эпистемическая модальность

Проблема адекватности отражения мира в языке непосредственно связана с проблемой знания и его источников. В современных исследованиях, посвященных решению данной проблемы, особая роль отводится знаниям, приобретаемым не только перцептуально, но и на основе опыта, мнения, оценки (см. литературу в [Демьянков, 1992, 2012], [Кубрякова, 1993, 2007, 2012], [Durst-Andersen, 2012]). Это свидетельствует о сложности дефиниции знания и многомерности его описания, позволяющей, например, различать такие источники знания, как «личностные и коллективные, научные и обыденные, экспериментальные и умозрительные» [Кубрякова, 2012: 92].

Конкретизация источников получения знаний и их характеристика являются важными параметрами анализа значений **эпистемической модальности**, под которой мы понимаем отношение говорящего к содер-

жанию своего высказывания с точки зрения его достоверности и меры своей ответственности за нее перед слушающим [Крылова, 2012]. Такое понимание эпистемической модальности косвенно присутствует во многих работах по данной теме. На различную степень речательства говорящего за достоверность сообщаемого указывают Н.Д. Арутюнова [2000], Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев [1992], Золотова [1998], Е.В. Падучева [2011], В.А. Плунгян [2008: 13], F.R. Palmer [1986: 148], D. Sperber & D. Wilson [1986], P. Durst-Andersen [2011] Н. Nølke [1989], E.S. Jensen [2000] и другие исследователи.

Нами выделяются следующие ее типы эпистемической модальности: **фактическая, проблематическая, афfirmативная и комментирующая**. Фактическая модальность, т. е. достоверное знание говорящим реальной ситуации, обычно выражается им имплицитно. Любое эксплицитно выраженное отношение говорящего к достоверности своего высказывания имеет меньшую степень достоверности, чем имплицированное.

В основе выделения трех других типов эпистемической модальности лежат различия в их функциональной направленности на одного из трех представителей коммуникативной модели: 1-е лицо, 2-е лицо, 3-е лицо. Средства выражения значений **проблематической модальности** сигнализируют о наличии у говорящего проблемы отношения к содержанию высказывания как достоверному из-за отсутствия или недостаточности у него информации о реальном положении дел. Инвариантной функцией средств проблематической модальности является, таким образом, функция выражения отношения говорящего к достоверности высказывания:

Og han har vist sagt noget om lektor Bomme. Men det er der vel ingen, der tager sig af. Det driver nok over. Det går nok. 'И он, кажется, что-то сказал о лекторе Бомме. Но на это, наверное, никто не обратит внимание. Скорее всего, все обойдется. Все будет хорошо'.

Средства выражения значений **афfirmативной модальности** сигнализируют о наличии, с точки зрения говорящего, аналогичной проблемы у слушающего. Инвариантной функцией данных средств является **воздействие на адресата** с целью подтвердить правильность отношения говорящего к достоверности высказывания, или, по словам Т.М. Николаевой, в некотором смысле «навязать отношение» [Николаева, 2005: 30–31]:

Jeg kender da Københavns historie. 'Да знаю я историю Копенгагена'.

Средства выражения значений **комментирующей модальности** сигнализируют о наличии, с точки зрения говорящего, проблемы воспри-

ятия конкретной ситуации (например, в связи с ее двусмысленностью) в реальном мире и направлены на ее комментарий, а их инвариантной функцией является обоснование адекватности понимания данной ситуации говорящим:

– *Det var vel nok dejligt at se dig. Er du ked af det?* – *Næ.*

– *Jo, du er da ked af det.*

– *Nej, jeg er **bare** træt...*

– ‘Как приятно тебя видеть. Ты расстроен?’

– Неа.

– Нет, расстроен.

– Нет, нет, я просто устал...’

Проблема оценки достоверности содержания своего высказывания, или пропозиции (*P*), может возникать у говорящего в случае полного **отсутствия** или недостаточности информации о реальном положении дел. Это приводит его к необходимости в первом случае – выражать **гипотезу** о достоверности *P* и использовать с этой целью имеющиеся в языке средства данной семантики, во втором – эксплицировать при помощи специальных показателей свою неуверенность в достоверности сообщаемой слушающему информации.

Анализ датского материала свидетельствует о том, что к значениям **гипотетичности** можно отнести:

- значение гипотетического умозаключения: «это *P*, потому что так обычно бывает»;
- значение гипотетической оценки ситуации: «я предлагаю оценить сложившуюся ситуацию как *P*».

Значения **неуверенности** говорящего в достоверности содержания высказывания относятся к значениям **эвиденциальности**, под которой понимается ссылка на тот или иной источник информации, возможно, недостоверный (см. литературу в [Козинцева, 2000, 2007], [Храковский, 2007], [Boye, 2001]). В связи с этим исследователи выделяют три основных типа эвиденциальных значений:

- сенсорная эвиденциальность;
- пересказывательность;
- инференция.

В соответствии с данным нами выше определением эпистемической модальности, мы относим к данному кругу модальных значений как гипотетические, так и эвиденциальные значения, потому что определение меры эпистемического речательства говорящего, например, за пере-

сказываемое является, как показывают исследования, одним из важных критериев функционально-семантической дифференциации средств передачи чужой речи (см. [Арутюнова, 2000], [Булыгина, Шмелев, 1992], [Плунгян, 2008], [Крылова, 2012]).

Значения эпистемической модальности в датском языке выражаются рядом разноуровневых средств, основными единицами которых являются:

- модальные частицы *nok, vel, velnok, vist, vistnok, mon, da, nu, jo, dog, bare, blot, kun, så, sgu, skam* и др.;
- модальные слова *antagelig(t), formentlig, formodentlig, givetvis, muligvis, måske, naturligvis, næppe, sandsynligvis, selvfølgelig, sikkert, utvivlsomt, virkelig, øjensynligt, åbenbart* и др.;
- связочные квазипассивные конструкции с перформативными глаголами: *menes* ‘считают, считается’ / *siges* ‘говорят, говорится’ / *formodes* ‘предполагается’ / *ventes* ‘ожидается’ + *at-infinitiv* и др.
- глагольные конструкции с модальными глаголами *kunne, måtte, skulle*: *kan* + *Inf. I/II, må* + *Inf. I/II, skal* + *Inf. I/II*.

Наличие и активное использование в языке большого числа разноуровневых показателей схожих, казалось бы, эпистемических значений ставит перед исследователем задачу функционально-семантического описания отдельных единиц в пределах каждой группы и контрастивного анализа всех эпистемических показателей с целью конкретизации их значений и выявления типичных контекстов их употребления.

В результате проведенного ранее функционально-семантического анализа модальных частиц нам удалось систематизировать все выражаемые ими значения эпистемической модальности как их прагмасемантические инварианты, отличающиеся друг от друга своими инвариантными функциями и мерой эпистемической ответственности говорящего за свое высказывание [Крылова, 2012]:

эпистем. значение	эпистемич. ручательство (лицо)	эпистемическая модальность			
		проблематическая 3-е лицо		аффирмативная 2-е лицо	комментирующая 3-е лицо
<u>ГИПОТЕТ. УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ</u> (конклюдзив)	1	nok	mon₁	da	bare

эпистем. значение	эпистемич. ручательство (лицо)	эпистемическая модальность			
		проблематическая 3-е лицо		аффирмативная 2-е лицо	комментирующая 3-е лицо
<u>гипотет. оценка</u> (экспликатив)	1+2	vel	mon₂	jo	blot
<u>косвенная эвиденциальность</u> (ситуатив)	1+3	vist	mon₃	dog гипотет. несоотв-я 1 л. jo оценочн. несоотв-я 2 л. nu эвиденц. несоотв-я 3 л.	kun

В основе приведенной системы модальных частиц лежат следующие параметры:

а) выражаемое частицей эпистемическое значение: гипотетическое умозаключение (конклюдив), оценка (экспликатив) или косвенная эвиденциальность (ситуатив);

б) функциональная направленность частицы на одного из участников коммуникативной ситуации: говорящего – 1-е лицо (проблематическая модальность), слушающего – 2-е лицо (аффирмативная модальность), ситуацию – 3-е лицо (комментирующая модальность);

с) эксплицируемая говорящим мера своей ответственности за достоверность содержания высказывания:

- используя **конклюдив**, говорящий выражает гипотетическое умозаключение о достоверности Р и берет на себя ответственность за достоверность такой гипотезы (1-е лицо);

- используя **экспликатив**, говорящий выражает свою гипотетическую оценку достоверности Р и предлагает слушающему присоединиться к ней, т. е. разделить с ним ответственность за ее достоверность (1-е лицо + 2-е лицо);

- используя **ситуатив**, говорящий выражает свою неуверенность в достоверности Р и сигнализирует о имевшей место реальной ситуации, т. е. о существовании третьего, кто мог бы подтвердить то, что говорящий пытается припомнить и в истинность чего он верит (1-е лицо +3-е лицо).

Построенная в результате проведенного анализа высказываний с модальными частицами парадигма эпистемического речательства говорящего подтверждает своеобразный закон дискурса: если говорящий не берет на себя ответственность за достоверность пропозиции и не отсылает к третьему лицу, способному взять ее на себя, то он предлагает сделать это слушающему [Sperber, Wilson, 1986].

Осуществленное нами системное описание частиц позволяет, как представляется, использовать выявленные при этом параметры анализа для построения систем других групп эпистемических операторов, для определения функциональной специфики единиц внутри каждой из систем и их дальнейшего сопоставления друг с другом, что позволит также решить проблему их кажущейся синонимии.

В рамках данной статьи мы хотели бы продемонстрировать возможность такого сопоставления на материале средств проблематической модальности разного морфо-синтаксического статуса: модальных частиц *nok, vel, vist* и грамматизованных устойчивых сочетаний с модальными глаголами *kunne, måtte* и *skulle*, а также возможность единиц разных систем формировать новую парадигму, объединяющую на тех или иных основаниях эпистемические средства разных уровней – например, по признаку выражения эвиденциального значения пересказывательности.

2. Сопоставительный анализ модальных частиц и грамматизованных устойчивых сочетаний с модальными глаголами

Модальные глаголы *kunne, skulle, måtte* способны образовывать устойчивые грамматизованные сочетания с инфинитивом I/II смыслового глагола, прагматическая семантика которых не может быть выведена из лексических значений их составляющих, а определяется методами прагматического и контекстуального анализа:

Hun kan have fået det at vide ud på aftenen eller natten. Ja, sådan må det være gået til. ‘Возможно, она узнала об этом вечером или к ночи. Да, должно быть, так оно и было’.

Han skulle have stjålet pengene, da han arbejdede som rådgiver for guvernøren. ‘Говорят, он похитил деньги, когда работал советником губернатора’.

Модальные глагольные сочетания *kunne / måtte / skulle* + *Infinitiv I/II* объединяет с модальными частицами *nok, vel* и *vist* то, что все они выражают значения одного из подтипов проблематической модальности: гипотетичность или неуверенность.

Модальный глагол *ville* ‘хотеть’ не участвует в создании глагольной парадигмы эпистемической модальности, так как, помимо собственно модального сочетания волютивной семантики, *ville* участвует в формировании футуральной аналитической конструкции *ville* + *Inf. I/II* [Бабушкина, 1980], [Локштанова, 1986], [Крылова, 2008, 2011]:

Kvinden sørger dybt over tabet af sit barn og manden sværger, at han vil bringe drengen tilbage og dræbe bjørnen. ‘Женщина глубоко переживала пропажу ребенка, а мужчина поклялся, что вернет мальчика и убьет медведя’.

Sådan en premie vil jeg gerne have. Derfor har jeg taget en beslutning om, at jeg vil deltage i konkurrencen. ‘Такую премию я очень хочу получить. Поэтому я принял решение, что буду участвовать в конкурсе’.

2.1. *Måtte* + *Infinitiv I/II* и модальная частица *nok*

Устойчивые грамматизованные сочетания *måtte* + *Infinitiv I/II* используются говорящим для введения в высказывание недостоверной информации:

Han måtte være stresset. ‘Должно быть, он был в стрессе’.

Han må have misforstået noget. For det er da vist ikke sådan man gør det. ‘Он, должно быть, чего-то не понял. Да потому что это, кажется, не так делают’.

Предположение, эксплицируемое конструкцией с *måtte*, является логическим умозаключением говорящего: «это так, потому что так обычно бывает», что позволяет отнести данное сочетание к конклюдивам 1-го лица и сравнить его характеристики с функциональной семантикой модальной частицы *nok*:

Så hørte han en fugl flakse skræmt op nede bag i haven og kviste, der knækkede. Han stivnede, men der skete ikke mere. Det havde nok været en kat. ‘Тут он услышал, как какая-то птица пугливо забила крыльями в саду за домом и затрещали ветки. Он замер, но все стихло. Скорее всего, это была кошка’.

...han startede et kriminelt karriere på et meget tidligt tidspunkt. I starten var motiverne nok berigelse, for at kunne finansiere det liv, han levede dengang. ‘...он занялся криминальным бизнесом довольно рано. В начале причиной этого, скорее всего, было обогащение, чтобы оплачивать ту жизнь, которую он тогда вел’.

Desuden vil de fleste af os nok sige, at Jesus må nøjes med at være Guds søn. ‘Кроме того, большинство из нас, скорее всего, скажут, что Иисусу достаточно того, что он Сын Божий’.

Однако логическое умозаключение говорящего, эксплицируемое модальным сочетанием с *måtte*, отличается от гипотетического умозаключения, выражаемого частицей *nok*, большей объективностью. Не случайно в большинстве контекстов употребления конструкции *måtte* + *Infinitiv I/II* присутствуют объективные обоснования такого умозаключения, которые, как правило, содержатся в ближайшем контексте, а также в предложениях, вводимых причинными или условными союзами *hvis, fordi, for, thi; når*:

Tyven må i så fald have haft hundetække. Der er ikke fundet spor, der indicerer, at han er blevet bidt. ‘В таком случае собаки, должно быть, лублили вора. Не было обнаружено ничего, что свидетельствовало бы о том, что его покусали’.

Det må have været stedkendte folk, for de vidste præcis, hvor skabet var. ‘Должно быть, это был кто-то из местных, так как они точно знали, где находится шкаф’.

Dommeren konkluderede, at den sigtede måtte have stjålet bilen, når den ikke var hans, og når han kørte rundt i den uden den retmæssige ejers samtykke. ‘Судья заключил, что подсудимый, должно быть, украл машину, если она была не его, а он ездил на ней без согласия ее полноправного владельца’.

Такие типичные для употребления *måtte* + *Infinitiv I/II* контекстуальные условия позволили датскому исследователю О. Глисмманну сделать вывод о том, что эксплицируемое данным сочетанием эпистемическое значение занимает пограничную позицию между гипотетичностью и эвиденциальностью [Glismann, 1986]. Приводимые говорящим обоснования своего умозаключения свидетельствуют о его некоторой объективной обусловленности и являются аргументами в пользу такого вывода, или своего рода оправданием его недоверности. Все это позволяет нам говорить о данной глагольной конструкции как **инференциальном конклюдиве**, инференциальная семантика которого определяется следующими ментальными операциями: восприятие реальной ситуации → логический вывод из нее: «раз X, значит, Y»:

Jeg må have larmet for meget, for det blev opdaget. ‘Должно быть, я слишком шумел, потому что это заметили’.

Det må have været en forfærdelig dag for jer. Forsinkelser, sporarbejder, påkørsel og personalmangel. ‘Это, должно быть, был ужасный для вас день. Опоздания, ремонтные работы на путях, столкновения составов, нехватка специалистов’.

Отличительной особенностью гипотетического конклюдива *nok* является то, что к типичным контекстам его употребления относятся **футуральные контексты**, а также предложения **реального и нереального условия**. Однако объективная обусловленность логического вывода, выражаемого *måtte* + *Inf. I/II*, допускает употребление данной глагольной конструкции только в предложениях реального условия, в остальных же контекстах данный конклюдив не используется из-за невозможности создания в них необходимых объективных условий, ср.:

Du kommer nok til at fortryde det. ‘Ты, скорее всего, пожалеешь об этом’.

Hvis min far havde levet, var jeg nok blevet gift for 15 år siden. ‘Если бы мой отец был жив, я бы, скорее всего, женился лет 15 тому назад’.

Hvis vi drak te, ville jeg nok fortælle dig, at det ikke er min skyld. ‘Если бы мы пили чай, я бы рассказал тебе, что это не моя вина’.

Hunden kan umuligt have slidt sig løs ved egne kræfter. <...> Men hvis den ikke gøede, må det have været en, han kendte. ‘Собака не могла (= вряд ли могла) сама отвязаться. <...> Но, если она не лаяла, то этого человека он (хозяин) должен был знать (= должно быть, знал)’.

Таким образом, грамматизованное устойчивое сочетание *måtte* + *Inf. I/II* является **инференциальным конклюдивом 1-го лица**, прагматическая семантика которого может быть определена как объективно обусловленное умозаключение говорящего, отличие которого от умозаключения, выражаемого **гипотетическим конклюдивом *nok***, проходит по шкале «объективная обусловленность – субъективная обусловленность», что хорошо иллюстрируют следующие примеры употребления обоих конклюдивов в одном связном контексте:

Hvornår omtrent var det? – Ja, hvad kan klokken have været? <...> Jeg kom hjem ved ellevetiden, og jeg kan huske, jeg var i nattøj, så den var nok halvtolv eller tolv. <...> Måske har det endda været lidt senere. <...> Det må forresten have været senere end tolv, tror jeg. For jeg synes, jeg kan huske, at jeg hørte pressen klokken tolv. ‘Когда приблизительно это было? – Да, во сколько же это могло быть? <...> Я пришел домой около одиннадцати, и я помню, что на мне была пижама, так что, скорее всего, было полдвенадцатого или двенадцать <...> Впрочем, это, должно быть, было после двенадцати, я так думаю. Потому что я, кажется, слушал новости по радио в двенадцать’.

2.2. *Kunne* + *Infinitiv I/II* и модальная частица *vel*

Модальный глагол *kunne* ‘мочь’ имеет, как и в других языках, «сман-

тический инвариант: Произнося фразу Х может Р, говорящий представляет себе возможный мир, где имеет место Р» [Зализняк, 2006: 161], что допускает как объективное, так и эпистемическое понимание высказывания:

Han kunne have ringet til hende. ‘Он мог позвонить ей (= возможно, позвонил)’.

Объективное понимание данной фразы – был в состоянии, эпистемическое – не исключено, что позвонил.

Грамматизованные устойчивые сочетания с глаголом *kunne* + *Inf. I/II* используются говорящим для выражения допущения достоверности содержания пропозиции:

Han kan godt have løjet. ‘Он мог солгать (= возможно, солгал)’.

Sådan kan han have snydt Skat for milliarder. ‘Так он мог обмануть налоговые органы на миллиарды (= возможно, обманул)’.

Используя модальную конструкцию с *kunne*, говорящий предлагает слушающему рассмотреть данное объяснение сложившейся ситуации как допустимое, то есть объективно возможное:

Han kan have været på cafeen den dag. ‘Возможно, он был в кафе в тот день’.

Der kan være sket misbrug. ‘Возможно, имело место злоупотребление’.

Модус «эпистемической возможности» [Кобозева, 2000: 243], или «модус допущения» [Арутюнова, 1999: 408–440], показателем которого является грамматизованное сочетание с *kunne*, допускает наличие других возможностей и оставляет слушающему свободу выбора. Функционально-семантическую особенность глагольного сочетания *kan have tabt* ‘возможно, потерял’ легко обнаружить при его сравнении со значением инференциального конклюдива *må have tabt* ‘должно быть, потерял’ в следующем примере:

<...> *En kæde. Han gik altid med den <...> – Han kan have tabt den for lang tid siden <...> – De har nok ret. Han må have tabt den.* ‘Цепочка. Он всегда ходил с ней. – Возможно, он давно потерял ее. – Скорее всего, Вы правы. Он, должно быть, потерял ее’.

Значение допущения говорящим своего объяснения как одного из ряда объективно возможных, выражаемое глагольным сочетанием с *kunne*, отличает его от объяснения, вводимого при помощи частицы *vel*, которая сигнализирует, что говорящий отдает предпочтение этому объяснению и предлагает слушающему принять его, разделив тем самым с ним ответственность за достоверность высказывания:

Hun er vel hans livs kærlighed. 'Наверное, она любовь всей его жизни'.

Hun kan have været født i København. 'Возможно, она родилась в Копенгагене'.

I Rom har man vel også været optaget af disse problemer... 'В Риме, наверное, тоже были озабочены этими проблемами...'

Og i Rom kan de have hørt om det store Egypten... 'А в Риме они, возможно, слышали о великом Египте...'

Kunsten kan man vel ikke kalde det. 'Искусством это, наверное, назвать нельзя'.

Terrorister kan have handlet på egen hånd. 'Возможно, террористы действовали самостоятельно'.

Функция вовлечения говорящим слушающего в оценку сложившейся ситуации позволяет нам отнести и частицу *vel*, и глагольную конструкцию *kunne* + *Infinitiv I/II* к **экспликативам 2-го лица**, однако различие между данными эпистемическими операторами состоит в том, что *vel* – **субъективный** гипотетический экспликатив 2-го лица – выражает значение гипотетического объяснения ситуации, которому говорящий отдает предпочтение и рассчитывает на его принятие слушающим, а *kunne* + *Inf. I/II* – **объективный** гипотетический экспликатив 2-го лица – выражает значение гипотетического объяснения сложившейся ситуации, которое говорящий **допускает** к рассмотрению как одно из объективно возможных и предоставляет слушающему право самому сделать выбор.

2.3. *Skal / skulle* + *Infinitiv I/II* и модальная частица *vist*

Устойчивое грамматизованное сочетание *skulle* + *Inf. I/II* активно употребляется в языке средств массовой информации. Использование говорящим данного модально-глагольного показателя изменяет эпистемическую модальность содержания пропозиции, вводя его как чужую информацию:

Dødelig såret skal Pushkin have forlangt sin pistol, da nu turen var kommet til ham. 'Смертельно раненый Пушкин, как говорят, потребовал дать ему пистолет, ибо теперь была его очередь стрелять'.

Manden skal have dræbt to mennesker. 'Говорят, / Якобы мужчина убил двоих человек'.

Эксплицируемое грамматизованным глагольным сочетанием *skulle* + *Inf. I/II* указание на наличие другого источника пересказываемой информации, позволяет нам отнести данное модальное средство к **пересказывательным эвиденциалам**. Характерной особенностью употребления

ксенопоказателя *skulle* + *Inf. I/II* является выражение значения отмежевания, дистанцирования говорящего от передаваемой информации, что легко подтвердить возможностью выражения сомнения в ее достоверности или опровержения ее как недостоверной не только каким-либо другим лицом, но и самим говорящим:

*Han benægter, at han **skulle have lovet** noget som helst.* ‘Он отрицает то, что якобы давал какие-то обещания’.

*Dengang blev han løsladt indenfor et døgn, og han stod helt uforstående overfor, at han **skulle have lavet** noget ulovligt* (B.T.). ‘В тот раз его отпустили в течение суток, и он никак не мог понять, что он якобы сделал что-то незаконное’.

*Jeg afviser rygterne om, at jeg **skulle være interesseret** i at blive landstræner.* ‘Я отвергаю все домыслы о моей якобы заинтересованности в должности тренера сборной’.

*Tysklands forsvarsminister afviser, at **han skulle plagieret** sin afhandling.* ‘Министр обороны Германии отвергает обвинения в том, что его диссертация якобы является плагиатом’.

Статус пересказывательного эвиденциала является общим для анализируемой конструкции и одного из выделяемых эвиденциальных значений модальной частицы *vist* ‘кажется, вроде’:

*Han skal **vist** til Danmark i morgen.* ‘Кажется, он завтра едет в Данию’.

*Hun var **vist** blevet alene for nylig.* ‘Кажется, она недавно осталась одна’.

В отличие от гипотетического конклюдива *pok* ‘скорее всего’, информация, вводимая частицей *vist* ‘кажется, вроде’, имеет внешний источник, на что указывают и авторы академической Грамматики датского языка [Hansen, Heltoft, 2011: 1059]. Модальная частица *vist* вносит в высказывание значение **неуверенного припоминания** говорящим некогда слышанного им самим:

*Åh, du ved... hendes mor og far skal **vist** skilles.* ‘Ну, ты знаешь... ее мама и папа, кажется, расходятся’.

При этом источник данной информации чаще всего не дифференцирован: кто-то мне говорил, что... но я точно не помню / не уверен / могу ошибаться. В редких случаях его все же можно определить по контексту:

*Ja, hun var her i går og hun skal **vist** have gæster i aften.* ‘Да, она была здесь вчера, а сегодня у нее, кажется, гости’.

Используя частицу *vist*, говорящий передает только смысл припоминаемой им исходной информации. При этом важно подчеркнуть, что сам

говорящий верит в ее правдивость, но определяет меру своей ответственности за нее ручательством за пересказ припоминаемого. Модальная частица *vist* употребляется преимущественно в разговорной речи датчан, а также в тех случаях, когда возможна экспликация собственного «Я» говорящего.

Итак, если *vist* вносит в высказывание значение **неуверенного припоминания** говорящим того, что он где-то когда-то слышал и во что он верит, то конструкция *skulle + Inf. I/II* эксплицирует значение **дистанцирования** говорящего от передаваемой информации, которую он слышал в реальной ситуации, но за достоверность которой не может поручиться. Именно этим объясняется предпочтительное использование данного пересказывательного эвиденциала в сообщениях средств массовой информации:

Som præsident Erdogan skal have sagt: Tror I, der står "Idiot" på ryggen af mig? 'Как якобы сказал президент Эрдоган: «Вы что, думаете у меня на спине написано «Идиот»?»

Таким образом, семантическое различие между частицей *vist* и модальной глагольной конструкцией *skulle + Inf. I/II* заключается в следующем:

- модальная частица ***vist*** является субъективным ситуативом 3 лица, так как выражает **неуверенное припоминание** говорящего о некогда полученной информации, в достоверность которой он сам верит;
- модальная конструкция ***skulle + Inf. I/II*** является объективным ситуативом 3 лица, т.к. выражает значение **дистанцирования** говорящего от пересказываемой информации, полученной им в определенной ситуации, часто от конкретного лица, на которого и может быть возложена ответственность за ее достоверность.

2.4. Результаты сопоставления функциональной семантики модальных частиц и грамматизованных устойчивых сочетаний с модальными глаголами

Сопоставительный анализ прагматической семантики и коммуникативных функций грамматизованных устойчивых сочетаний *kunne / måtte / skulle + Infinitiv I/II* и модальных частиц *nok, vel u vist* позволил нам разграничить эти группы средств выражения значений проблематического типа эпистемической модальности, выделить типичные для них контексты употребления и исключить их кажущуюся синонимичность и взаимозаменяемость. В результате проведенного анализа данных групп эпистемических показателей мы можем заключить, что:

1) *måtte* + *Infinitiv I/II* – **инференциальный (объективный) конклюдив 1-го лица**, строящий логическое умозаключение говорящего на неких косвенных, но реально существующих факторах, которые он чаще всего тут же приводит в свое оправдание;

nok – **субъективный конклюдив 1-го лица**, выражающий гипотетическое умозаключение говорящего, который не имеет никакой информации о реальном положении дел;

2) *kunne* + *Infinitiv I/II* – **объективный экспликатив 2-го лица, допускающий** эксплицируемое говорящим объяснение как одно из объективно возможных и предлагающий слушающему оценить его достоверность;

vel – **субъективный экспликатив 2-го лица, предлагающий** слушающему принять гипотетическое объяснение говорящим сложившейся ситуации как достоверное;

3) *skulle* + *Infinitiv I/II* – **объективный ситуатив 3-го лица**, являющийся пересказываемым эвиденциалом и выражающий значение дистанцирования говорящего от передаваемой информации, за достоверность или ложность которой должно нести ответственность другое лицо;

vist – **субъективный ситуатив 3-го лица**, выражающий неуверенное припоминание говорящим чужой информации, в достоверность которой он сам верит.

Таким образом, мы можем сказать, что грамматизованные глагольные сочетания с модальными глаголами *måtte*, *kunne*, *skulle* формируют собственную эпистемическую парадигму и могут быть представлены как система, построенная по тем же параметрам, что и система модальных частиц проблематической модальности:

эпистемическое значение	эпистемическое ручательство (лицо)	проблематическая модальность
конклюдив	1	<i>måtte</i> + <i>Infinitiv I/II</i>
экспликатив	2	<i>kunne</i> + <i>Infinitiv I/II</i>
ситуатив	3	<i>skulle</i> + <i>Infinitiv I/II</i>

Проведенный анализ свидетельствует о том, что основным отличием данных групп эпистемических показателей друг от друга является наибольшая субъективность частиц, каждая из которых сигнализирует об эпистемическом ручательстве говорящего за выражаемую им степень достоверности высказывания, тогда как глагольные экспликатив и ситуатив перекладывают эту ответственность на других участников коммуникативной ситуации. Примечательно, что известный датский лингвист П. Дурст-Андерсен, анализируя различные модальные средства датского языка, говорит о наличии в нем субъективного и объективного голосов, между которыми должен выбирать говорящий, чтобы маркировать статус передаваемой информации [Durst-Andersen, 2007: 175].

Выявленные нами функционально-семантические особенности употребления грамматизованных глагольных сочетаний и модальных частиц представлены в следующей таблице [Крылова 2012]:

модальное средство	эпистемическ. ручательство (лицо)	проблематическая модальность		
		конклюдзив	экспликатив	ситуатив
<i>nok</i>	1	гипотетическое умозаключение		
<i>måtte + Inf. I/II</i>	1	инференциальн. умозаключение		
<i>vel</i>	1+2		предложение объяснения ситуации	
<i>kunne + Inf. I/II</i>	2		допущение возможности такого объяснения ситуации	
<i>vist</i>	1+3			припоминание чужой информации как достоверной
<i>skulle + Inf. I/II</i>	3			дистанцирование от чужой информации

3. Парадигма средств косвенной засвидетельствованности

Представленные выше описания функциональной семантики глагольного эвиденциала *skulle* + *Inf. I/II* и модальной частицы *vist* позволяют говорить о них как о показателях косвенной засвидетельствованности, или пересказываемости, имеющих каждый свою специфику и сферу употребления. Это даст нам основания для сравнения данных ксенопоказателей с другими операторами косвенной эвиденциальности в датском языке, поскольку выбор говорящим того или иного ксенопоказателя, как свидетельствует анализ, становится своего рода проявлением его субъективного отношения к пересказываемой информации.

Передача чужих слов, чужого мнения или предположения возможна в датском языке при помощи связочных конструкций с квазипассивными глаголами *menes* считают, считается / *siges* говорят, говорится / *formodes* предполагается / *ventes* ожидается+ *at-infinitiv* :

Harald Blåtand menes at have bygget den første kirke på stedet som gravminde over sin far, Gorm den Gamle. ‘Считается, что первую церковь на этом месте возвел Харальд Синезубый в честь своего отца Горма Старого’.

De to brødre formodes at være ene om at have udtænkt og gennemført mandagens terrorangreb. ‘Предполагается, что братья одни подготовили и в понедельник осуществили этот террористический акт’.

Mullah Omar siges at være i husarrest i Kandahar. ‘Мулла Омар, как сообщают, находится под домашним арестом в Кандагаре’.

Для указанной датской конструкции, как и для конструкции с перформативными глаголами считается, называется, зовется, расценивается, кажется, представляется в русском языке, характерна невозстановимость агенса перформативного глагола [Золотова, 1973], [Козинцева, 2007: 88]. Грамматическая структура предложения с квазипассивными глаголами ментальной и речевой деятельности подразумевает некое обобщенное множество лиц, которое является источником пересказываемой информации и должно отвечать за ее достоверность [Козинцева, 2007: 98].

Данные показатели используются говорящим в случаях, когда вводимая информация предлагается слушающему как достоверная в связи с невозможностью или отсутствием необходимости в верификации ее истинности. Именно этой особенностью данных показателей косвенной засвидетельствованности можно объяснить то, что они чаще всего встречаются в сообщениях средств массовой информации, научно-популярной литературе и т. п.:

Jordens alder menes at være 4500 millioner år. 'Возраст Земли, как полагают, составляет 4500 миллионов лет'.

Viking- eller sørøverborg siges at have ligget ved Oleborg. Ingen spor at se i dag, men udgravning har ikke været foretaget. 'Крепость викингов, или морских пиратов, находилась, как предполагается, около Олеборга. Сейчас невозможно обнаружить никаких следов этого, но раскопки в данном месте не проводились'.

Udgifter til asylboom ventes at vokse til over 9 milliarder i år. 'Ожидается, что расходы на миграционный бум превысят в этом году сумму в 9 миллиардов крон'.

Таким образом, в отличие от модальной частицы *vist*, выражающей веру говорящего в достоверность припоминаемой им чужой информации, связочные конструкции с перформативными глаголами вводят информацию, истинность которой сам говорящий или не может, или не считает нужным подтвердить, и предлагает ее слушающему как коллективное знание, предположение, мнение, опасения:

500 migranter frygtes at være druknet i Middelhavet. 'Существуют опасения, что 500 мигрантов утонули в Средиземном море'.

Данная особенность отличает названные конструкции и от пересказывательного эвиденциала *skulle + Inf. I/II*, основная функция которого, как мы показали выше, заключается в том, что говорящий дистанцируется от вводимой им информации и перекладывает на другое лицо ответственность за ее достоверность. Именно отсылка к лицу, с чьих слов данная информация пересказывается, является функционально-семантической особенностью употребления говорящим конструкции *skulle + Inf. I/II*.

Как нам удалось показать в [Крылова, 2011: 72–83], выражаемое сочетанием *skulle + Inf. I/II* значение дистанцирования говорящего от пересказываемой информации допускает как возможность ее опровержения, так и возможность выражения сомнения в ее достоверности, но исключает возможность ее использования говорящим для подтверждения достоверности пересказываемого:

I et indlæg i Berlingske Tidende den 8. juni antyder Henning F. Hansen, at jeg skulle have til hensigt at tie ham ihjel. Tanken ligger mig fjern! 'На страницах газеты Берлингске Тиденде от 8 июня Хеннинг Ф. Хансен намекает на то, что я якобы нарочно умалчиваю о нем. У меня и в мыслях этого не было'.

Выражаемое данным ксенопоказателем дистанцирование говорящего от передаваемой с чужих слов информации или его намерение в дальней-

шем опровергнуть ее приводит говорящего к необходимости как можно точнее передавать содержание чужих слов и даже цитировать их:

K. Holt påstår, at jeg skulle have haft "travlt med at give kriminelle palæstinsere og andre muslimer dansk indfødsret". Hertil skal jeg oplyse, at samtlige love om dansk indfødsret er vedtaget i Folketinget med et flertal. 'К. Хольт утверждает, что будто бы / якобы я «поторопился дать датское гражданство палестинцам с криминальным прошлым и другим мусульманам». В ответ на это я могу сообщить, что все эти законы о датском гражданстве приняты Фолькетингом большинством голосов'.

Итак, основной целью использования *skulle* + *Inf. I/II* является дистанцирование говорящего от чужой информации при ее передаче слушающему. Именно этим объясняется столь же активное использование данного ксенопоказателя в сообщениях средств массовой информации, как и конструкций *menes* / *siges* / *formodes* / *ventes* / *frygtes* и др. + *at-infinitiv*, выбор которых говорящим при этом обусловлен совсем иными факторами: отсутствием необходимости указания на источник информации и частой невозможностью верификации ее истинности, ср.:

Islamister menes (= существует такое мнение) at stå bag en massakre lørdag <...> i det nordøstlige Nigeria, hvor gerningsmænd skal have dræbt (непроверенная информация) *adskillige elever og lærere på en kostskole.* 'Существует мнение, что исламисты стоят за зверствами, произошедшими в субботу <...> в северо-восточной Нигерии, где якобы были убиты ученики и учителя одной школы-интерната'.

Сопоставительный анализ особенностей функционирования различных ксенопоказателей в датском языке позволил выявить разную степень выражаемого ими эпистемического ручательства говорящего за передаваемую информацию, а также конкретизировать типичные контексты их употребления. Говорящий передает только смысл чужих слов, если он верит в их истинность, но пересказывает их как можно ближе к цитации в случае дистанцирования от данной информации или сомнения в ее достоверности. О подобной стратегии говорящего свидетельствуют и исследования, проводимые на материале русского языка [Плунгян, 2008].

3.1. Результаты сопоставления функциональной семантики разноречивых ксенопоказателей

Таким образом, сопоставление средств выражения значений пересказываемости, относящихся к кругу эвиденциальных значений эпистемической модальности, позволило выявить разницу в выражаемой ими

мере эпистемического речательства говорящего за пересказываемое, выстроить его парадигму и разграничить сферы употребления данных ксенопоказателей:

- модальная частица *vist* является косвенным **пересказывательным эвиденциалом 1-го лица**, так как выражает **неуверенное припоминание** говорящим некогда полученной информации, в достоверность которой **он сам верит**. Степень ответственности говорящего за достоверность передаваемой информации определяется, однако, мерой ответственности за припоминаемое. Частица чаще всего используется в разговорной речи, т.е. там, где возможна экспликация «Я» говорящего;

- связочные конструкции с перформативными глаголами *siges / formodes / ventes + at-infinitiv* говорят / предполагается / ожидается могут быть отнесены к **пересказывательным эвиденциалам 2-го лица**, так как, используя их, говорящий **предлагает слушающему** принять пересказываемую информацию как существующее (коллективное) знание, мнение, предположение и т. д. Данные показатели используются в средствах массовой информации, научно-популярной литературе и т. п.;

- модально-глагольное сочетание *skulle + Inf. I/II* является **пересказывательным эвиденциалом 3-го лица**, так как выражает значение дистанцирования говорящего от пересказываемой информации, достоверность которой может требовать подтверждения, вызывать у говорящего сомнения и быть им отвергнута. Ответственность за достоверность такой информации говорящий возлагает на ее источник, т. е. третье лицо, а в связи с этим приводит ее наиболее точно.

4. Заключение

Представленные в работе результаты исследования открывают дальнейшие перспективы для изучения языковой системы в ее связях с речемыслительными процессами, выявляют ту важную роль, которую играют различные средства эпистемической модальности в организации интерактивного взаимодействия между всеми участниками коммуникации, в конкретизации коммуникативных намерений и установок говорящего, а также в распределении им долей ответственности каждого из них за достоверность высказывания.

Результаты анализа особенностей функциональной семантики ряда эпистемических показателей разных уровней и морфо-синтаксической структуры свидетельствуют о том, что в основе их парадигматических отношений лежат схожие дифференциальные признаки. Это делает воз-

возможным проведение подобного контрастивного описания всех эпистемических средств в датском языке с целью создания парадигматической гиперсистемы.

Список литературы

- Арутюнова Н.Д.* Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. М., 1992.
- Арутюнова Н.Д.* Показатели чужой речи де, дескать, мол. К проблеме интерпретации речеповеденческих актов // Н.Д. Арутюнова (ред.). Язык о языке. М., 2000. С. 437–452.
- Бабушкина Е.В.* О категории футурума в датском языке // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1980. № 1. С. 47–56.
- Булыгина Т.В., Шмелев А.Д.* Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. М., 1992.
- Демьянков В.З.* Когнитивизм, когниция, язык и лингвистическая теория // Язык и структуры представления знаний. М., 1992. С. 39–77.
- Демьянков В.З.* Когниция воображаемого и изображаемого: О понятиях (и концептах) в языке // Когнитивные исследования языка. Вып. 12. Проблемы интегрирования частных теорий в общую теорию репрезентаций мыслительных структур в языке: Сб. науч. трудов / Отв. ред. вып. В.З. Демьянков. М., 2012. С. 17–33.
- Зализняк Анна А.* Многозначность в языке и способы ее представления. М., 2006.
- Золотова Г.А.* Очерк функционального синтаксиса русского языка. М., 1973.
- Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю.* Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998.
- Кобозева И.М.* Лингвистическая семантика: Учебник. М., 2000.
- Козинцева Н.А.* К вопросу о категории засвидетельствованности в русском языке. Косвенный источник информации // Проблемы функциональной грамматики. Категории морфологии и синтаксиса в высказывании. СПб., 2000. С. 226–240.
- Козинцева Н.А.* Косвенный источник информации в высказывании (на материале русского языка) // Эвиденциальность в языках Европы и Азии: Сб. статей памяти Н.А. Козинцевой. СПб., 2007. С. 85–103.
- Крылова Э.Б.* Датские модальные глаголы и эпистемическая модальность // Скандинавская филология – Scandinavica. Вып. IX. СПб., 2007. С. 100–111.

- Крылова Э.Б. Система и функции модальных частиц в датском языке: Дисс. ... докт. филол. наук. М., 2012.
- Крылова Э.Б. Будущность или модальность: есть ли будущее у датского языка // Логический анализ языка: Лингвофутуризм. Взгляд языка в будущее / Ред. Н. Д. Арутюнова. М., 2011. С. 192–202.
- Кубрякова Е.С. Проблема представления знаний в языке // Структура представления знаний в языке: Сб. науч. трудов. М., 1993. С. 5–31.
- Кубрякова Е.С. Предисловие // Концептуальный анализ языка: Современные направления исследования: Сб. науч. трудов. М., 2007. С. 7–18.
- Кубрякова Е.С. В поисках сущности языка: Когнитивные исследования М., 2012.
- Локитанова Л.М. О категориальных значениях форм индикатива в датском языке // Вопросы языкознания. 1986. №1. С. 111–121.
- Николаева Т.М. Функции частиц в высказывании (на материале славянских языков) / Отв. ред. В.Н. Топоров. М., 2005.
- Падучева Е.В. Показатели чужой речи: МОЛ и ДЕСКАТЬ. 2011. С. 1–9. <http://lexicograph.ruslang.ru/TextPdf/ksenomarkery.pdf>.
- Плунгян В.А. О показателях чужой речи и недостоверности в русском языке: мол, дескать, якобы и другие / В. Wiemer & V.A. Plungjan Lexikalische Evidenzialitäts-Marker in slavischen Sprachen // Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 72. München, 2008. S. 285–311.
- Храковский В.С. Эвиденциальность, эпистемическая модальность, (ад)миративность // Эвиденциальность в языках Европы и Азии: Сб. статей памяти Н.А. Козинцевой / Ин-т лингв. исслед. РАН; Отв. ред В.С. Храковский. СПб., 2007. С. 600–632.
- Boye K. Evidence for Evidentiality in Danish // Müller H.H. Reflektions on Modality. (Copenhagen Studies in Languages.) 2001. S. 81–127.
- Durst-Andersen P. Det danske sprogs mange stemmer // Sproglig polyfoni: Texter om Bachtin & ScaPoLine. Aarhus, 2007. S. 163–180.
- Durst-Andersen P. Når den danske ytring bøjes i første-, anden- og tredjeperson // MUDS 13. Århus, 2011. S. 137–153.
- Glismann O. Om tid og tempus // NYS 16/17. Akademisk Forlag. København, 1986. S. 237–257.
- Hansen E., Heltoft L. Grammatik over det Danske Sprog. Foreløbig udgave, 1999. S. 20–147.
- Jensen E.S. Hvordan bliver et sætningsadverbial til et sætningsadverbial? // Studier i Nordisk 2000–2001. København, 2002. S. 31–50.
- Nølle H. Polyfoni: En sprogteoretisk indføring. ARK. 48. København, 1989.

Sperber D., Wilson D. Relevance: Communication and Cognition. Oxford. 1986.

Сведения об авторе: Крылова Эльвира Борисовна, докт. филол. наук, доцент кафедры германской и кельтской филологии филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: krelvira@mail.ru.

В.А.Бондарь

НАВВАН + ПРИЧАСТИЕ II В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ¹

В статье рассматриваются семантические характеристики конструкции *habban* + причастие II в древнеанглийской прозе и поэзии. На основании применения ряда морфосинтаксических и семантических критериев к контекстам употребления конструкции делается вывод о том, что сочетание *habban* + причастие II в поэзии приближалось по ряду параметров к аналогичным примерам из позднедревнеанглийских прозаических текстов. Наличие как в прозе, так и в поэзии целого спектра семантических характеристик конструкции позволяет утверждать, что варьирование примеров с резульативной и темпоральной семантикой фиксируется в рамках синхронного среза, верхним пределом которого являлось развитие периферийной темпорально-перфектной семантики.

Ключевые слова: древнеанглийская проза и поэзия, *habban* + причастие II, перфект, резульатив, аспектуальность, варьирование глагольных форм.

The article deals with the analysis of semantic properties of the *habban* + participle II construction in Old English prose and poetry. Based on application of a range of morphosyntactic and semantic criteria to contexts with the construction it is argued that *habban* + participle II in poetry was semantically close to similar examples retrieved from late Old English prose texts. Presence both in prose and poetry of a variety of semantic characteristics of the construction makes it possible to claim that variation of the construction with resultative and temporal semantics is traced within the frame of a synchronic layer, the upper boundary of which was marked by the development of a peripheral meaning of the temporal-perfect semantics.

Key words: Old English prose and poetry, *habban* + participle II, perfect, resultative, aspectuality, variation of verb forms.

1. Вводные замечания

В работе о происхождении перфекта Ю.С. Маслов отмечает, что одной из особенностей таких древнеанглийских памятников, как «Беовульф», является использование перфекта от непереходных глаголов [Маслов, 2004: 260]. При этом, по мнению И. Ларссон, именно наличие стативных и непереходных глаголов в конструкции с посессивным глаголом делает текст «Беовульфа» более современным по сравнению с проза-

¹ Я искренне благодарен проф. Ю.А.Клейнеру за ценные замечания и помощь в подготовке данной работы к публикации. Ответственность за возможные ошибки всецело несет автор статьи.

ическими произведениями [Larsson, 2009: 136 et passim]. В связи с этим возникает вопрос: насколько семантика конструкции *habban* + причастие II, употребляемой в поэзии, отличалась от семантики аналогичной конструкции в прозаических произведениях? Данный вопрос тесно переплетается с проблемой, вокруг которой в последнее время развернулись серьезные споры: можно ли говорить о темпоральности семантики конструкции с посессивным глаголом применительно уже к древнеанглийскому языку и наличию у нее таких вторичных значений (помимо результативного), как экспериенциальное, континуативное, иммедиатное (перфект «горячих новостей») (см. [Brinton, 1988], [Wischer, 2004], [Łęcki 2010]), или же мы имеем дело с конструкцией, обладающей преимущественно результативно-статальным значением [Carey, 1994]? В первом случае можно утверждать о существовании уже в древнеанглийском аналитической конструкции, которая семантически близка к современному английскому перфекту и отличается от него функциональными характеристиками, а также степенью парадигматизации; во втором случае данную конструкцию следует характеризовать как результатив.

Для того, чтобы ответить на данные вопросы, мы рассмотрим употребление конструкции *habban* + причастие II в «Беовульфе», а также некоторых прозаических текстах, принадлежащих разным временным срезам древнеанглийского языка. Анализ употребления конструкции будет основан на применении ряда морфосинтаксических и семантических параметров. Основной акцент будет сделан на диахроническом аспекте, а именно возможном варьировании и функционально-семантическом развитии конструкции в рамках древнеанглийского периода. Дополнительные примеры мы будем брать из двух корпусов: *The York-Toronto-Helsinki Parsed Corpus of Old English Prose* (синтаксически размеченный корпус древнеанглийской прозы) и *The York-Helsinki Parsed Corpus of Old English Poetry* (синтаксически размеченный корпус древнеанглийской поэзии). В ссылках на цитируемые примеры дается название произведения и детальная цифровая информация о местонахождении цитаты в издании, которое использовалось при составлении корпуса, например [cicura, CP: 51.401.15.2743] – «Пастырское попечение» (Cura Pastoralis). В данной работе мы следуем периодизации древнеанглийского языка и принадлежности текстов к определенным периодам, представленным в корпусе древнеанглийской прозы, где выделяются следующие четыре периода: 1. – 850 гг., 2. 850–950 гг., 3. 950–1050 гг., 4. 1050–1150 гг.

2. Морфосинтаксические свойства конструкции *habban* + причастие II

Одним из аргументов в пользу того, что конструкция с посессивным глаголом претерпевает изменения в ходе процесса грамматикализации и утрачивает свое лексическое значение, является использование с конструкцией подлежащих, выраженных неодушевленными существительными и / или абстрактными понятиями (ср. [Denison, 1993: 349–350]). В соответствии с предложенной П. Хоппером и Э. Трауготт «шкалой одушевленности» (*animacy hierarchy*) ее крайние точки занимают, с одной стороны, одушевленные подлежащие, связанные с человеком (*human*), а с другой – неодушевленные, выраженные абстрактными понятиями [Hopper, Traugott, 1993: 157]. И хотя данный критерий важен при рассмотрении семантики конструкции, он тем не менее не может являться исключительным и единственным доказательством ее перфектности: в процессе утраты посессивным глаголом лексического значения («семантическое обесцвечивание») на определенном этапе семантика *have* может обозначать нахождение дополнения в сфере влияния подлежащего. В таком случае *have* еще не является полностью грамматикализированным вспомогательным глаголом, но занимает на шкале грамматикализации промежуточное положение между глаголом *have* с полным лексическим значением «обладания» (*I have a letter*) и вспомогательным глаголом (*I have written a letter*) (ср. [Fischer, 1994: 156], [Heine, 1993: 15–16]). Такое положение, как мы полагаем, может объяснить тот факт, что, несмотря на употребление конструкции с неодушевленными существительными, в корпусе древнеанглийских текстов нет примеров использования *habban* + причастие II с «пустым» подлежащим (*dummy subject*), выраженным местоимением *it*.

Применяя все вышесказанное к анализу типов подлежащих, мы приходим к выводу, что примеры из «Беовульфа» не отличаются от аналогичных примеров из прозаических произведений. В сочетании с конструкцией *habban*+причастие II в «Беовульфе» преобладают одушевленные подлежащие. Лишь два подлежащих выражены неодушевленными существительными: 975–976. *ac hyne sār hafað // in nīðgripe / nearwe befongen* «но *боль* его объяла крепкой хваткой» и 219–220. *ōþres dōgores // wundenstefna / gewaden hæfde* «к следующему дню *корабль* прошел».

В прозе доминируют одушевленные подлежащие, в основном выраженные местоимениями. Так, в ранних текстах IX в. из 451 подлежащего 281 выражено личными местоимениями. В выборе типа подлежащего

свою роль играют и жанровые характеристики текста: в переводе текста Боэция «Об утешении философией» частотными являются абстрактные понятия *mōd*² «разум» и *gesceādwiſnes* «мудрость», которые выступают как персонификации, отражающие человеческие качества. При этом существует определенная тенденция в использовании неодушевленных подлежащих с конструкцией *habban* + причастие II: в ранних текстах IX в., например в переводе «Истории» Орозия, нами обнаружено два неодушевленных подлежащих: *Wendelsæ* «Средиземное море», *hæte* «жара», – в то время как в поздних текстах, например в рукописи С «Диалогов Григория», датируемых XI в., количество таких подлежащих возрастает: *wundor* «чудо», *wæter* «вода», *mynstres abbudes lichama* «тело аббата монастыря», *beorhtnes* «величественность», «слава». В тексте «Евангелия от Никодима» в качестве агентивных представлены такие неодушевленные подлежащие как *būtan* «трубы». Значимым при этом является не только употребление неодушевленных подлежащих, но и семантика глаголов, выступающих в форме причастий. Сочетание данных критериев, как мы покажем далее, является важным показателем грамматикализации конструкции и перехода посессивного глагола в статус вспомогательного, что ведет к появлению у конструкции темпорально-перфектного значения.

Рассмотрим теперь употребление дополнений с *habban* + причастие II. Из прозы мы возьмем несколько произведений, относящихся к разным периодам: перевод текста Григория Великого «Пастырское попечение» IX в. и «Гомилии», а также «Жития святых» аббата Эльфрика, написанные в конце X в. – начале XI в. Поэзия представлена примерами из «Беовульфа». Мы выделяем несколько видов дополнений: прямое дополнение, сентенциальное дополнение (выраженное союзом, вводящим придаточное предложение), а также двойное дополнение (прямое и косвенное одновременно).

Таблица 1. Дополнения с *habban* + причастие II в поэзии

Текст	Количество	Без дополнения	Двойное дополнение	Прямое дополнение	Сентенциальное дополнение
Беовульф	48	6 (12,5%)	7 (14,6%)	25 (52,1%)	10 (20,8%)

Слова с долготами в примерах из «Беовульфа» приводятся по изданию текста под редакцией Ф. Клэбера. Примеры со словами без долгот взяты из синтаксически размеченных корпусов, в которых долготы отсутствуют. Долготы в отдельных взятых словах проставлены в соответствии с примерами из словаря Bosworth-Toller: <http://www.bosworthtoller.com>.

Таблица 2. Дополнения с *habban*+причастие II в прозаических текстах

Текст	Количество	Без дополнения	Двойное дополнение	Прямое дополнение	Сентенциальное дополнение
Текст раннего периода (IX в.)					
Пастырское попечение	83	5 (6%)	7 (8,4%)	61 (73,5%)	13 (15,7%)
Тексты позднего периода (X-XI вв.)					
Гомилии и Жития Святых	90	7 (7,7%)	16 (17,7%)	42 (46,7%)	25 (27,7%)

Данные в таблицах указывают на то, что синтаксические характеристики конструкции в «Беовульфе» аналогичны тем, которые мы наблюдаем в поздних текстах: по сравнению с ранними текстами возрастает частотность примеров без дополнений, с двойными и сентенциальными дополнениями. Отсутствие дополнений, особенно с глаголами говорения и глаголами ментальной деятельности, явно указывает на высокую степень грамматикализации конструкции и переход посессивного глагола в разряд вспомогательных:

(1) Sum forðþegn wæs ða welig on þam lande, Florus gehaten, and se **hæfde gemynt** mynster to arærenne «В той стране был один богатый знатный человек по имени Флор, и он **задумал** возвести монастырь» [coaelive, ÆLS [Maur]: 125.1566]

Напротив, большое количество примеров с прямыми дополнениями свидетельствует в пользу того, что глагол функционирует в предельном контексте, что увеличивает шансы интерпретации семантики конструкции как результативно-статальной с сохранением *habban* своей глагольной семантики:

(2) Ða wæs on Iudea lande an geleafful witega, Abbacuc gehaten, se **hæfde rifteras abedene** to his corne «Был в Иудее один набожный мудрец по имени Аббакук, который **пригласил** к себе на обед жнецов» [coaelhom, ÆNom 22: 464.3580]

Таким образом, данные таблиц указывают на то, что в плане употребления дополнений мы можем говорить о диахроническом изменении в рамках древнеанглийского периода, а также об идентичности синтаксических характеристик *habban* + причастие II в «Беовульфе» и позднедревнеанглийских прозаических произведениях.

Отдельно стоит упомянуть об использовании с анализируемой конструкцией прямых дополнений, выраженных рефлексивными местоиме-

ниями. По мнению А. Харрис, употребление таких дополнений говорит о том, что посессивный глагол теряет свое лексическое значение обладания, так как фраза ‘обладать собой / иметь себя’ в определенном состоянии лишена смысла, а появление рефлексивов с посессивным глаголом говорит о постепенной замене результативной конструкции перфектом [Harris, 2003: 543]; ср., например, в древневерхненемецком у Ноткера (X–XI вв.): *si habet sih erretet* «они спаслись» – и в древнеанглийском «Евангелии от Никодима» (XI в.): *se hyne sylfne gewuldrod hæfd* «который себя превозвысил». В этом плане «Беовульф» также не отличается от прозаических произведений:

(3) 1471–1472. *ne wæs þæm ððrum swā, // syðþan hē hine tō gūðe / gegyred hæfde*

«но не так было тому другому, когда он на войну снаряжился».

При этом в прозе мы наблюдаем тенденцию увеличения частотности рефлексивов в поздних текстах (3 примера в «Гомилиях» Вульфстана), в то время как в «Беовульфе» нами зафиксирован всего один пример.

Еще одним критерием, который считается показателем степени грамматикализации конструкции, является наличие согласования причастия с дополнением по числу, роду и падежу [Lusky, 1922: 67]. Согласование справедливо рассматривается как исходная черта результата на его начальном этапе развития, что подтверждается примером из готского языка (Лк. 19: 20): *sa skatts þeins þanei habaida galagidana* – «вот твоя мина, которую я хранил» (дословно: имел хранимой), где причастие, стоящее в винительном падеже мужского рода, выполняет адъективную функцию и согласуется через относительное местоимение *þanei* с существительным мужского рода *skatts*. Дальнейшее исчезновение согласования говорит о семантических изменениях, происходивших с конструкцией [Смирницкая, 1977: 47–48]. Рассмотрим данные из нашего корпуса. В прозаических произведениях количество примеров разнится в зависимости от периода фиксации текстов: в переводах «Церковной истории» Беда Достопочтенного и «Утешении философией» Боэция, выполненных в IX в., – 5 (12,8%) и 21 (11,2%) соответственно, в то время как в таких произведениях Эльфрика, написанных в конце X в. – начале XI в., как «Гомилии». – 1 пример (3,3%), «Жития святых» – 3 примера (5%), в «Гомилиях» Вульфстана – 3 примера (9,3%). Данная статистика указывает на постепенное снижение частотности в употреблении согласования причастия II с дополнением по мере развития конструкции до минимального количества в позднедревнеанглийских текстах (XI–XII вв.): даже, по всей види-

мости, архаизируемые гомилии Вульфстана не столь последовательны в употреблении согласованных причастий по сравнению с ранними текстами. В «Беовульфе» мы находим 2 примера согласованных причастий (4,2%), что очевидно ближе к тенденции, которую мы наблюдаем в поздних текстах:

- (4) 205–206. **Hæfde** se gōða / Gēata lēoda // cernpan **gecorone**
«Сей достойный из людей гаутских **выбрал** себе воинов»;
- (5) 939–940. Nū scealc **hafað** // þurh Drihtnes miht / dæd **gefremede**
«И вот воин с помощью силы господней **свершил** подвиг».

Еще одним важным синтаксическим параметром является употребление темпоральных наречий. Так, например, наречия nū «сейчас», þonne «тогда» говорят в пользу результативно-статальной семантики, а наречие ær «ранее» указывает на темпорально-перфектное значение. Как убедительно показано в работе К. Кэри, большинство примеров habban + причастие II как в ранних, так и в поздних текстах употребляется с наречиями nū, þonne [Carey, 1994: 26–28]. Но поскольку вышеупомянутая работа не была основана на корпусном исследовании, из поля зрения исследователя ускользнули примеры habban + причастие II с наречием ær. В целом количество таких примеров крайне низко – 4 примера в ранних текстах (850–950 гг.) и 1 в поздних текстах (1050–1150 гг.), что, скорее всего, объясняется спонтанной темпоральной интерпретацией результативной конструкции, т. е. данные примеры следует рассматривать как разговорные импликатуры, но не конвенциональное употребление. В «Беовульфе» примеров с наречием ær не обнаружено, но в целом в корпусе поэтических текстов такие примеры присутствуют, например в Maxim I: 20–21. sibbe gelærað, // þa ær wonsælge / *awegen habbað* – «будут учить миру, который лишённые благословения ранее отобрали». Следовательно, и в отношении данного критерия тенденции в прозе и поэзии не показывают расхождений или несовместимых характеристик.

Немаловажным для определения свойств конструкции habban + причастие II является использование именных групп, функционирующих в качестве модификаторов глагольных действий:

- (6) 953–955. Þū þē self *hafast* // **dædum** gefremed / þæt þīn dōm lyfað āwa tō aldre

«Ты сам **делами** добился того, чтобы твоя слава жила из века в век».

Существительное в дат. п. мн. ч. «делами» в примере (6) указывает на способ достижения результата: при этом спорным остается вопрос относительно того, распространяется ли модификация действия на всю ситу-

ацию или ограничивается описанием самого действия при сохранении у посессивного глагола лексической семантики. В первом случае мы можем говорить о перфекте, во втором – о результате. При результативной интерпретации причастие в примере (6) функционирует как элемент вторичной предикации, определяемый именной группой в функции инструмента, указывающего на способ достижения результирующего состояния. При этом показательными являются статистические данные: контекстов, аналогичных примеру (6), в «Беовульфе» 10 (20,8%), а в ранних прозаических текстах «Утешения философией» – 3,2%, «Пастырском наставлении» – 7,2% и в «Церковной истории» – 10,5%, при 2,2% в «Гомилиях» и «Житиях святых», а также 8,5% в «Католических гомилиях I и II» аббата Эльфрика. Статистика показывает, что в прозе глагольная модификация находилась практически без изменений на протяжении всего периода и на достаточно низком уровне, в отличие от «Беовульфы», где около четверти примеров используются с глагольными модификаторами. В рамках общей тенденции к грамматикализации и темпорализации конструкции *habban* + причастие II с результативно-статальной семантикой рост частотности данных примеров может являться косвенным свидетельством сдвига конструкции к темпоральной семантике.

3. Семантика глаголов в конструкции *habban*+причастие II

Прежде чем перейти непосредственно к анализу глагольной семантики причастий, посмотрим, все ли глаголы, представленные причастной формой в «Беовульфе», прослеживаются в корпусе прозаических произведений. Мы выделили следующие две категории: (1) глаголы, используемые в «Беовульфе» и в прозаических произведениях, – 27 примеров и (2) глаголы, используемые только в «Беовульфе», – 21 пример. Причем 19 лексем из 2-й группы имеют эквиваленты в прозе и лишь 2 их не имеют. Относительно семантики глаголов, употребляемых с конструкцией в прозаических произведениях, исследователи неоднократно отмечали, что конструкция *habban* + причастие II в подавляющем большинстве примеров используется с предельными глаголами (*telic verbs*) (см. [Carey, 1994], [Wischer, 2004]). И. Вишер, однако, отмечает, что такие неопредельные глаголы, как *(ge)healdan* «держат», «хранить», также встречаются с анализируемой конструкцией [Wischer, 2004: 252]. Действительно, в корпусе зафиксирован 21 пример с данным глаголом, но все без исключения используются с прямыми или сентенциальными дополнениями, что создает предельную ситуацию с обозначением результирующего состоя-

ния, в котором находится объект или субъект действия. Это относится и к другим неопределённым глаголам. Например, *lifian* «жить», который не предполагает конечной точки развития действия (end-point) и который в современном английском при употреблении с перфектом зачастую придает ему континуативное значение, в древнеанглийском в конструкции с посессивным глаголом используется исключительно с прямым дополнением:

(7) *Alexander fulne ende þines lifes þu hæfst gelifd* «Александр, всю жизнь до конца ты **прожил**» [coalex, Alex: 38.2.484]

В примере (7) дополнение *fulne ende þines lifes* создает предельную ситуацию завершения процесса, действие рассматривается как имеющее определенную конечную цель, результат. Примеров, аналогичных современному *I have lived in Paris for five years*, не существует. Это, в свою очередь, скорее способствует рассмотрению семантики конструкции как аспектуально-результативной, чем темпорально-перфектной, которая характерна для многих контекстов с данным глаголом в современном английском языке. Другими словами, в древнеанглийском мы не находим примеров с неопределёнными глаголами в тех контекстах, которые бы допускали иную, нерезультативную интерпретацию семантики конструкции. При этом частотность таких глаголов низка, встречаются они, как правило, в поздних текстах и употребляются и в прозе, и в поэзии. Например, семантически близкий к *lifian* глагол *gebuan* «жить», «населять» в прозаическом корпусе используется с прямым дополнением в предельных контекстах: *hira land* «свою землю», *þa lond* «ту землю». Аналогично примеру (7), как мы полагаем, можно интерпретировать и нижеприведенный контекст из «Беовульфа» с предельным глаголом *gebidan* «жить»:

(8) 1927–1928. *ƿeah ðe wintra lȳt // under burhlocan / gebiden hæbbe //*
«хотя мало зим в укрепленном городе **прожила**».

В примере (8) предельная ситуация создается за счет указания продолжительности проживания, выраженного в виде прямого дополнения *wintra lȳt* «мало зим». Более того, как отмечает К. Кэри, такие неопределённые глаголы, как *restan* «отдыхать», фиксируются в контекстах с обозначением промежутка времени, что влечет за собой создание предельности в выражении действия, как в следующем отрывке из текста «Семь спящих» (XI в.):

(9) *þe on ðam scræfe tile hwile gereste hæfdon* «которые *некоторое время отдыхали* на холме» [cosevensl, LS 34 [Seven Sleepers]: 390.284] (пример взят из [Carey, 1994: 74]).

Теперь обратимся к глаголам, которые зафиксированы в «Беовульф», но не встречаются в прозе. Они представлены такими глаголами, как *(ge)sittan* «сидеть», *(ge)nesan* «выжить», «спастись», *forſīdian* «погибнуть». Сразу стоит отметить, что эти глаголы, подобно многим другим, могли использоваться как с приставкой *ge-*, так и без нее. Полифункциональность и неопределенный статус данной приставки вызывает споры среди исследователей. Как показано в ряде работ, приставка *ge-* могла наряду с привнесением семантики предельности глагольного действия указывать на результативность и обладать сукцессивным значением (см. [McFadden, 2012: 3–8], [McFadden, 2015: 24–29], [Смирницкая, 2016: 101–108]). Тем не менее мы полагаем, что наличие данной приставки в причастных формах неопределенных глаголов, используемых с анализируемой конструкцией, автоматически не привносит предельность в их семантику. Как мы уже показали, такого рода глаголы, в отличие от их аналогов в современном английском языке, не употребляются в своей неопределенной семантике с конструкцией *habban* + причастие II. Предельность в их семантике возникает за счет особенностей контекста, в частности в сочетании с прямыми дополнениями; ср. [Comrie, 1976: 44–45].

Относительно употребления вышеуказанных глаголов в прозе, в переводе «Истории» Орозия используется глагол *forſittan*, но в значении «перегородить», «блокировать» и с прямым дополнением: *hæfdon <...> þone weg forſeten* «перегородили тот путь». Из трех приведенных выше глаголов *forſīdian* и *(ge)sittan* употребляются без дополнений, с *(ge)nesan* употреблено прямое дополнение *nīða gehwane* «каждую из стычек». Примечательно, что *(ge)sittan*, как и упоминаемый ранее неопределенный глагол *restan*, используется с модификатором глагольного действия, но только с обстоятельством места *to ſymble* «за пиршеский стол». Использование данного обстоятельства также способствует усилению предельной ситуации. Глагол *forſīdian*, который семантически связан с глаголом движения *ſīdian* «идти», «путешествовать», а также глагол *gan* «идти» используются интранзитивно без модификаторов глагольного действия. Однако интранзитивный глагол движения *gewadan* «идти», «продвигаться» используется с модификатором времени *ymb āntīd* «ко времени». В прозе употребление аналогичных глаголов ограничивается использованием прямого дополнения, как, например, *þone cræfigestan dæl* «самую мощную часть», или такими модификаторами направления движения, как *feor* «далеко», *to ðære niwan byrig* «в новый город». При этом встречаются и интранзитивные глаголы, используемые без дополнений и модифи-

каторов, например *gesyngian* «грешить»: из 8 примеров только 1 используется в ранний период. Более того, в поздних текстах фиксируются примеры интранзитивных глаголов с неодушевленными подлежащими:

(10) *Bonne siþan þa byman geblawen habbad...* «Затем, когда **прозвучали трубы...**» [conicodD, Nic [D]: 62.53].

Пример (10) соответствует аналогичному контексту, который находим в «Беовульфе», где также используется неодушевленное подлежащее и интранзитивный глагол:

(11) 219–220. *ðþres dōgores // wundenstefna / gewaden hæfde*

«к следующему дню **корабль пошел**».

В поздний период увеличивается количество употреблений глаголов ментальной деятельности, а также глаголов говорения, что свидетельствует о процессе грамматикализации конструкции. Данного рода примеры распространены как в прозе, так и в поэзии. Но даже эти примеры, как показано в работе К. Кэри, следует интерпретировать скорее как результативно-статальные процессные конструкции (Resultant State Process) [Carey, 1994: 38–45]. С такой интерпретацией, как мы полагаем, соотносится и большинство примеров из «Беовульфа».

4. Обсуждение результатов анализа и выводы

Анализ морфосинтаксических свойств конструкции, а также семантики глаголов в целом показывает, что по ряду параметров примеры употребления *habban* + причастие II в «Беовульфе» совпадают с аналогичными контекстами из поздних прозаических произведений: сюда относятся сочетания неодушевленных подлежащих с интранзитивными глаголами, динамика в употреблении типов дополнений, частотность флексивных причастий, а также различных видов обстоятельств, модифицирующих глагольное действие. Многие из перечисленных критериев недвусмысленно указывают на то, что посессивный глагол теряет свое лексическое значение и находится на стадии перехода в разряд вспомогательных глаголов. Однако мы полагаем, что даже при достижении данного статуса конструкция автоматически не становилась перфектом. Какова же была общая семантика анализируемой конструкции? У. Детгес, сравнивая примеры *habban* + причастие II из «Беовульфа» с употреблением испанской результативной конструкцией *tener* + причастие II, утверждает, что древнеанглийская конструкция функционировала как результатив, или, в терминологии У. Детгеса, Результатив II [Detges, 2000: 351 et passim]. В отличие от собственно результатива, в котором подлежащее не совпадает с

агенсом и причастие зачастую согласуется с дополнением, второй тип результата указывает на состояние, в котором находится кореферентное агенсу подлежащее. Это подтверждается и глагольной семантикой причастий от глаголов достижения (*achievement*), а также глаголов ментальной деятельности и говорения. Данное наблюдение перекликается с идеей, высказанной Б. М. Задорожным, согласно которой именно в более абстрактном значении нахождения после выполненного действия «глагол *haben* был как бы предрасположен для употребления его в сочетании с причастием II других глаголов» [Задорожный, 1960: 77].

Таким образом, *habban* + причастие II могло выполнять несколько функций: с одной стороны, в определенных контекстах посессивный глагол сохранял свое значение и конструкция выражала изменение состояния объекта, находящегося в сфере влияния подлежащего (собственно результатив); с другой стороны, она могла указывать на состояние субъекта, в котором он находился в результате им же осуществленного действия. Рассмотрим некоторые примеры. Приведенный пример (4) воспроизведем еще раз, обозначив его для удобства анализа как пример (12).

(12) 205–206. **Hæfde** se gōða / Gēata lēoda // *cempan gecorone*

«Сей достойный из людей гутских **выбрал** себе воинов»;

(13) 2725–2726. *wisse hē gearwe* // *þæt hē dæghwīla* / **gedrogen hæfde**

«знал он точно, что **исчерпал** дни своей жизни».

В примере (12), даже если подлежащее кореферентно агенсу, нет никаких препятствий к тому, чтобы интерпретировать конструкцию как результатив: «у него были отобраны ратники», т. е. с акцентом на состоянии объекта. При этом пример (13), вероятно, фокусирует внимание на состоянии субъекта действия – он находился в состоянии, когда все его дни были исчерпаны. Таким образом, предельность, создаваемая различными способами в контексте с *habban* + причастие II, а также семантика глаголов свидетельствуют в пользу результативно-статального значения конструкции. Но, как мы видели, и в прозе, и в поэзии с конструкцией употреблялись и некоторые дуративные глаголы. Возьмем упоминавшийся глагол *sittan*. Наряду с контекстом, в котором данный глагол употребляется с анализируемой конструкцией, встречаются также примеры, в которых используются претеритные варианты глагола: с перфективирующей приставкой *ge-* (*gesæt*) и симплексный претерит (*sæt*). Контексты употребления данных форм глагола говорят о том, что в их семантике на первый план выдвигается аспектуальный оттенок, что позволяет использовать данные глаголы для различения характера протекания дейст-

вия. Симплексная форма использовалась в ситуациях, когда необходимо было подчеркнуть длительность события: 130. *unblīðe sæt* «печальный сидел», 2894. *mōdgiðmor sæt* «сидел с опечаленным духом». Форма глагола с перфективирующей приставкой указывала на предельность ситуации, завершения действия, его частотного выполнения, ограниченного определенными модификаторами действия: 2417. *Gesæt ðā on næsse* «Воссел на утесе»; 171–172. *Monig oft gesæt // rīce tō rūne* «Многие часто восседали в совете знатном». В ряде подобных контекстов, как показано в работе О.А. Смирницкой, аспектуальные характеристики таких глаголов проявляются наряду с их сукцессивным значением, играющим важную роль в развертывании эпического повествования [Смирницкая, 2016: 104–105].

Аналогичным образом ведет себя и глагол *(ge)sittan* с конструкцией *habban* + причастие II; иными словами, конструкция при определенной степени грамматикализации достигает того этапа, когда в ней развиваются аспектуальные характеристики, что позволяет ее использовать в контекстах для передачи особенностей протекания действия, с одной стороны, и подчеркивать результирующее состояние, с другой. При этом конструкция не несла в себе характеристик презентного перфекта, так как в контекстах не прослеживается одно из его базовых значений, выделяемое для современного английского перфекта, а именно связь с ситуативным моментом (*up-to-the-present temporality*); ср., например, [Vermant, 1983]. В свою очередь, как отмечает Й. Линдстедт, наличие результитивной семантики у анализируемой конструкции в качестве центрального, единственного значения, скорее всего, говорит о том, что перед нами еще (или уже) не перфект [Lindstedt, 2000: 378].

Конструкция используется не для передачи действия, которое является прагматически важным для всей ситуации, но лишь определяет характеристику действия, а именно его предельность и завершенность. Однако уже с интранзитивными дуративными глаголами, употребляемыми без дополнения, на первый план может выдвигаться темпорально-перфектная семантика, подчеркивается значимое для говорящего действие, связанное с ситуативным моментом различными контекстными импликациями. Как отмечает О. А. Смирницкая, «слабая синтаксическая опора конструкции», а также «большой очаг обособления» контекстов употребления безобъектных сочетаний способствуют «их интенсивному и полному включению в парадигму» [Смирницкая, 1977: 49].

- (14) 1550–1551. *Hæfde ðā forsiðod / sunu Ecgbēowes // under gynne grund*
«**Погиб** бы сын Эггетеова в зияющей пучине».

Действительно, в примере (14) в фокусе скорее темпоральная, чем результативно-статальная семантика. В пользу данной трактовки говорит использование конструкции в сослагательном наклонении, в рамках которого проявляется тенденция подчеркивать действия, но не состояния. При этом в придаточных предложениях в отличие от независимых предложений, по мнению О.А. Смирницкой, остается трудность в разграничении идиоматического перфекта и свободных словосочетаний [Смирницкая, 1965: 17], что прослеживается как в примерах с прямым дополнением из «Беовульфа», так и во многих прозаических текстах.

Таким образом, в «Беовульфе» мы фиксируем целый спектр значений конструкции *habban* + причастие II: от результата до перфекта, – хотя результативно-статальная семантика превалирует. Как мы показали, такая ситуация характерна и для позднедревнеанглийской прозы (ср. пример 10 выше). В связи с этим возникает вопрос: каким образом семантические характеристики анализируемой конструкции соотносятся с датировкой древнеанглийской поэмы? Если считать, что поэма отражает язык VII–VIII вв., мы должны признать большую вариативность и разрыв между семантикой конструкции в поэзии и прозе, так как ранние прозаические тексты не демонстрируют аналогичного употребления. Исходя из этого, Ю.С. Маслов предложил гипотезу, в соответствии с которой в народном языке, фиксируемом в поэзии, в анализируемой конструкции быстрее рвется связь с исходной результативной семантикой, чем в языке образованных слоев общества [Маслов, 2004: 271–277]. При этом превалирование результативной конструкции в прозе рассматривается как консервативная черта древнеанглийских писцов, ориентировавшихся на классическую латынь, в которой конструкция *habere* + причастие II сохраняет результативно-статальную семантику. На особенности древнеанглийских прозаических текстов указывает и О. Тимофеева, которая на основании анализа контактов древнеанглийского с латинским приходит к выводу, что язык (в частности, синтаксис) древнеанглийской прозы мог являться вариантом древнеанглийского языка, «который, обладая лексической и синтаксической сложностью незнакомой для обычного древнеанглийского, развивался в направлении к социальному диалекту» [Timofeeva, 2010: 32]. Н.Л. Огуречникова приводит аргументы в пользу первичности поэтического языка, что «означает его нормативность, наибольшую приближенность к требованиям языковой структуры» [Огуречникова, 2014: 397–398].

С другой стороны, такие исследователи, как Х. Момма, полагают, что язык древнеанглийской поэзии был для англосаксов чем-то наподобие ино-

странного языка или второго родного (a second native language), который им приходилось учить отдельно от «первого языка» [Momma, 1997: 193]. Такое кардинальное различие особенно четко прослеживается на уровне синтаксиса, в частности порядка слов. Несомненно, различия в синтаксисе языка прозы и поэзии существовали и имели явно выраженный характер; ср. [Pintzuk, 2001]. Однако, исходя из результатов нашего анализа, можно утверждать, что примеры употребления *habban* + причастие II в «Беовульфе», по сути, не имели никаких расхождений с использованием конструкции в прозе, если сравнивать не отдельные тексты, а целые корпуса. Разрозненность и малая частотность грамматикализированных примеров с темпорально-перфектной характеристикой говорит о том, что конструкция находилась в процессе выработки данного значения, которое из разговорных импликатур переходило в область конвенционального использования, а конструкция все больше и больше приобретала категориальные черты, которые в значительной степени разовьются в среднеанглийский период. Подтверждением данной мысли может служить мнение К.Кириана, который, проведя всестороннее исследование рукописи и текста поэмы, датирует «Беовульф» XI в. [Kiernan, 1997: 277–278]. Но даже если исключить вопрос датировки, мы все же вправе говорить о синхронном варьировании конструкции, при котором контексты с темпорально-перфектным значением следует интерпретировать как верхний предел варьирования: наличие примеров конструкции с темпорально-перфектной семантикой в прозе и поэзии (пусть даже на разных этапах ее формирования) свидетельствует о конце синхронного среза и переходе конструкции на новый этап развития.

Список литературы

Источники

- Bosworth J., Toller T.N.* Anglo-Saxon Dictionary. <http://www.bosworthtoller.com/> (дата обращения: 08.09.2016)
- Klaeber Fr.* Beowulf and the Fight at Finnsburg. Boston, 1922.
- Pintzuk S. and Leendert P.* The York-Helsinki Parsed Corpus of Old English Poetry. York, 2002.
- Taylor A., Warner A.R., Pintzuk S., Beths F.* The York-Toronto-Helsinki Parsed Corpus of Old English Prose (YCOE). York, 2003.

Исследования

- Задорожный Б.М.* Первичное значение конструкции «причастие II + глагол иметь» в древнегерманских языках // Вопросы языкознания. 1960. № 6. С. 74–82.

- Маслов Ю.С. Избр. труды: Аспектология. Общее языкознание / Сост. и ред. А.В. Бондарко, Т.А. Майсак, В. А. Плунгян; Вступ. ст. А.В. Бондарко, Н.А. Козинцевой, Т. А. Майсака, В. А. Плунгяна. М., 2004.
- Огуречникова Н.Л. Просодико-позиционный синтаксис и фразовые частицы в речи англосаксов (к вопросу о соотношении поэтического языка и прозы) // *Acta Linguistica Petropolitana: Труды Института лингвистических исследований*. 2014. Т. X. Ч. I. С. 377–402.
- Смирницкая О.А. Происхождение аналитической формы перфекта в древних германских языках: Автореферат дисс. ... канд. филол. наук. М., 1965.
- Смирницкая О.А. Эволюция видо-временной системы в германских языках // *Историко-типологическая морфология германских языков. Категория глагола*. М., 1977. С. 5–127.
- Смирницкая О.А. Сукцессивные глаголы в «Беовульфе»: к постановке проблемы // *Синхрония, диахрония, текстология: Сб. науч. статей и переводов: К юбилею Е.М. Чекалиной*. М., 2016. С. 101–108.
- Brinton L. *The Development of English Aspectual Systems*. Cambridge, 1988.
- Carey K. *Pragmatics, Subjectivity and the Grammaticalization of the English Perfect*. PhD dissertation. San Diego, 1994.
- Comrie B. *Aspect*. Cambridge, 1976.
- Denison D. *English Historical Syntax: Verbal Constructions*. London, 1993.
- Detges U. Time and truth: The grammaticalization of resultatives and perfects within a theory of subjectification. *Studies in Language* 24, 2. 2000. P. 348–350.
- Fischer O. The Development of Quasi-Auxiliaries in English and Changes in Word Order. *Neophilologus* 78, 1. 1994. P. 137–164.
- Harris A.C. Cross-Linguistic Perspectives on Syntactic Change // Joseph B.D., Janda R.D. (eds.) *The Handbook of Historical Linguistics*. Blackwell, 2003.
- Heine B. *Auxiliaries: Cognitive Forces and Grammaticalization*. New York, 1993.
- Hopper P.J., Traugott E.C. *Grammaticalization*. Cambridge, 1993.
- Kiernan K. S. *Beowulf and the Beowulf Manuscript*. Ann Arbor, 1997.
- Larsson I. *Participles in Time. The Development of the Perfect Tense in Swedish: A Dissertation*. Göteborg, 2009.
- Lindstedt J. The perfect – aspectual, temporal and evidential // *Tense and Aspect in the Languages of Europe* / Ed. O. Dahl. Berlin; New York. P. 365–383.
- Łęcki A. *Grammaticalisation Paths of Have in English* // *Studies in English Medieval Language and Literature*. 24. Frankfurt am Main, 2010.

- Lussy G.F.* The Verb Forms Circumscribed with the Perfect Participle in the Beowulf // The Journal of English and Germanic Philology. 21, 1. 1922. P. 32–69.
- McFadden Th.* The Syntax of Preverbal ge- in Old English / Prefix Verbs: The Impact of Preposition-like Elements on the Syntax and Semantics of Verbs. http://www.ims.uni-stuttgart.de/events/events-vergangen/P-Workshop2012/mcfadden_ho.pdf (дата обращения: 27.06.2016).
- McFadden Th.* Preverbal ge- in Old and Middle English. http://www.zas.gwz-berlin.de/fileadmin/mitarbeiter/mcfadden/ge_writeup.pdf (дата обращения: 27.06.2016).
- Momma H.* The Composition of Old English Poetry. Cambridge Studies in Anglo-Saxon England. 20. Cambridge, 1997.
- Pintzuk S.* The Syntax of Old English Poetry: Full Report of Research Activities and Results. URL: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/esrc-files/outputs/nwRajbM-YUKz_QntxTehtw/QMtILT0K9UenO5Z4p9-kkA.pdf (дата обращения: 14.03.2016).
- Timofeeva O.* Anglo-Latin Bilingualism before 1066: Prospects and Limitations // Interfaces between Language and Culture in Medieval England: A Festschrift for Matti Kilpiö / A. Hall, O. Timofeeva, Á. Kiricsi, B. Fox (eds.). Leiden, 2010. P. 1–36.
- Vermant S.* The English present perfect: A dynamic-synchronic approach // Antwerp Papers in Linguistics. 32. Antwerpen, 1983.
- Wischer I.* The HAVE-‘perfect’ in Old English // Kay Ch. (ed.). New Perspectives on English Historical Linguistics: Selected Papers from 12 ICEHL, Glasgow, 21–26 August 2002. Vol. 1: Syntax and Morphology. Philadelphia, 2004. P. 243–255.

Сведения об авторе: Бондарь Владимир Анатольевич, канд. филол. наук, доцент кафедры делового иностранного языка филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. E-mail: alstar@inbox.ru.

С.И.Пискунова

СМЕХ СЕРВАНТЕСА И РИТОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЕГО ВРЕМЕНИ

Статья посвящена особому месту «Дон Кихота» и его «благожелательной» иронии в культуре испанского барокко, в которой доминировали «готовое» слово и шутовской смех насилия и жестокости. Сосуществование на страницах «Дон Кихота» разных по происхождению и по модусу типов смеха (не шутовского, но карнавального, риторико-гуманистического, «личностного») создают в границах художественного мира романа атмосферу свободы и диалогического общения автора, героев и читателя.

Ключевые слова: Сервантес, барокко, «готовое» слово, смех, риторика, поэтика романа, карнавал, шутовской смех, личностный смех, свобода, ирония.

The purpose of the article is to analyze the place of “Don Quixote” and Cervantes’ benevolent irony in the Spanish baroque culture, where the clownish laughter of violence and brutality dominated. The coexistence of various types of laughter (not clownish, but carnival, rhetorical, philological, personal), different by their origin and modes, creates within the fictional world of “Don Quixote” the atmosphere of liberty and dialogical communication between the author, his heroes and the implied reader.

Key words: Cervantes, the baroque, “finished word”; laughter, rhetoric, poetic of the novel, carnival, the clownish laughter, personal laughter, liberty, irony.

Решение проблемы, сформулированной в названии этой статьи, непосредственно зависит от того, как мы трактуем смех Сервантеса и что понимаем под «риторической культурой». Если смех, составляющий самую суть поэтики и эстетики «Дон Кихота», «Назидательных новелл», комедий и интермедий Сервантеса, его бурлескной лирики, – это пусть и редуцированный, но тем не менее образцовый карнавальный смех в интерпретации Бахтина, смех, рожденный в недрах многовековой народной культуры, насыщенной – используем бахтинскую характеристику художественного мира Рабле – «образами, враждебными всякой законченности и устойчивости, всякой ограниченной серьезности, всякой готовности и решенности в области мысли и мировоззрения» [Бахтин, 1965: 4], а риторическая культура, в соответствии с формулой А.В. Михайлова [Михайлов, 2000: 28], – это культура «готового слова», то перед нами два совпавших во времени и пространстве явления, либо вообще не зависящие друг от друга, либо по отношению друг к другу антагонистичные.

Вместе с тем историко-культурная и историко-литературная реальность Испании XVII в. свидетельствует об обратном. Большинство сервантистов, увлеченно трактовавших «Дон Кихота» в русле бахтинской теории карнавального смеха¹, сходятся и на том, что смех Сервантеса, безусловно генетически связанный с карнавалом кануна Великого Поста (исп. Antruejo)², а также с карнавализованными ритуалами календарного цикла, в том числе с аграрными праздниками сельской Испании³, отнюдь не сводим к хохоту толпы на карнавальном пространстве. Отголосков последнего на страницах «Дон Кихота» не так уж много: он не заглушен, а вытеснен на обочину сервантесовского повествования «благожелательной» (М. Менендес-и-Пелайо) авторской иронией и «смехом, порожденным симпатией и человеческим теплом» [Trueblood, 1984: 21]. В то же время этот многоракурсный полифонический смех – иронический и дружески-юмористический, карнавальный и «внутренний», личностный [Пискунова, 1995: 202], – соседствует на страницах «Дон Кихота» с риторическим «готовым» словом, прежде всего как обрамление знаменитых «речей» Рыцаря Печального Образа: о Золотом веке, о предназначении странствующего рыцарства, о «словесности и воинском искусстве» (*las letras y las armas*), о «новой» комедии и «идеальном» рыцарском романе... (если обратиться только к «Дон Кихоту» 1605 г.). При этом сервантесовская пародия, нацеленная на «книжки о рыцарстве» (*libros de caballerías*), точнее, на массовые образцы этого жанра, а также на эпическую традицию в целом – от «Энеиды» Вергилия до испанских романсов и псевдонациональных эпических поэм второй половины XVI в., – не затрагивает «речей» идалго⁴. Именно трудноуловимое сочетание авторской иронии и велеречивой риторики речей и сентенций героя⁵, которую Сервантес не

¹ См., например, труды А.Редондо [Redondo, 1997] и Дж. Иффланда [Iffland, 1999].

² Испанский карнавал в более широком значении слова включает в себя также празднества, приуроченные к двум, максимум трем месяцам: с начала декабря до конца февраля; см.: [Caro Baroja, 1979].

³ См.: [Пискунова, 2009: 218–227].

⁴ Не пародирует Сервантес и пастораль (бурлескный образец жанра не равнозначен пародии на жанр). В письмах Санчо или в его пересказе утерянного письма Дон Кихота Дульсинее источник комизма – речь Санчо, гротескно сплавленная с обломками «высокого» речевого узуса, но не собственно жанр любовной эпистолы.

⁵ См., например, описание ситуации, в которой Дон Кихот произносит речь о Золотом веке, когда, «для того, чтобы добыть себе пропитание, человеку стоило лишь вытянуть руку и протянуть ее к могучим дубам...» (I, 131) (здесь и далее

пародирует, а остраниет, создает – в числе других художественных приемов – перспективистский, стереоскопический эффект сервантесовского повествования.

В свою очередь, большинство современников Сервантеса, в том числе создатели так называемых «плутовских романов» – пикаресок (*las picarescas*) – и близких к ним по жанровому строю менипповых и нраво-описательных сатир, такие, как Матео Алеман, Б. де Наваррете, – согласно новейшим изысканиям⁶, он был автором «Плутовки Хустины» (*La pícara Justina*, 1605) и, по нашему мнению, по меньшей мере половины «Лже-Кихота»⁷, – Ф. де Кеведо, использовали карнавальные сцены и мотивы, карнавальное площадное слово не реже, а значительно чаще, чем автор «Дон Кихота». Гротескно сопрягая образы материально-телесного низа (скатологические мотивы, мотивы обжорства и заголения) с этическими размышлениями и житейскими наблюдениями пикаро-рассказчика, Матео Алеман – автор «Гусмана де Альфараче» – создает классический образец плутовского романа, в котором миметическое и дискурсивное начала находятся в напряженном динамическом противоборстве. С другой стороны, сопровождающие исповедь Гусмана риторические «отступления» – вкупе с предваряющими первую часть (1599) романа Алемана обращениями автора «К черни» и «К разумному читателю» – отслаиваются от основного повествования, как сливки от молока. Сливки могут быть сняты и... выброшены, что и делали французские переводчики и публикаторы «Гусмана»⁸.

Однако «Гусман де Альфараче» не является пародией на какой-либо из жанров испанской прозы предшествовавших столетий, тем самым сразу оказываясь вне сферы глобальной зависимости от смеховой культуры. Процесс «карнавализации» если и затрагивает роман Алемана, то

«Дон Кихот» в пер. Н.М. Любимова цитируется по подготовленному нами изданию [Сервантес, 2010], в скобках римской цифрой указывается номер тома, арабской – страница); «...они (козопасы. – С. П.) молча ели и поглядывали на гостей, с превеликой охотой и смаком засовывавших в рот куски козлятины величиной с кулак (а ведь Дон Кихот в предыдущей главе внушал Санчо, что странствующие рыцари питаются сушеными плодами и полевыми травами! – С. П.). После того как с мясным блюдом было покончено, хозяева высыпали на овчины уйму желудей... Наевшись досыта, Дон Кихот взял пригоршню желудей и, внимательно их разглядывая (он ведь был сыт по горло! – С. П.), пустился в рассуждения...» (I, 130–131)

⁶ См.: [Blasco, 2005]

⁷ См. подробнее: [Пискунова, 2016: 5–39].

⁸ См. [Cros, 1967].

на уровне отдельных сюжетных ситуаций, образов и мотивов, хотя в вышедшей почти на полвека ранее без указания имени автора повести «Жизнь Ласарильо с Тормеса» (1553)⁹ – прообразе пикарески – обильно пародируются исповедь и житие, текст Священного Писания и католическая литургия.

Демонстрируя, что он, а не Алеман, является подлинным продолжателем творца «Ласарильо де Тормес»¹⁰, построенного, однако, не только на пародии, но и на ироническом дистанцировании Автора от Ласаро – автора письма-исповеди, адресованного некоему весьма уважаемому лицу – Вашей Милости («Ласарильо» – это «рассказанное письмо» [Guillen, 1957: 261]), – Ф. де Кеведо ориентирует свой единственный роман, «Историю жизни пройдохи по имени дон Паблос» против романа Алемана. Ведь пародирование разного рода серьезных текстов – от Священного Писания до жанров деловой прозы – завещаний, указов, реляций и других, – любимое занятие Кеведо-прозаика, во многом определившее карнавальную стихию и образность «Бускона» (как сокращенно именуют «Историю...»)¹¹, первая редакция которого относится к 1604–1606 гг. и связана с воспоминаниями писателя о студенческой молодости.

Вместе с тем, воспроизводя карнавальный антураж и карнавальные типажы, в том числе широко использовавшиеся студентами при организации разного рода корпоративных празднеств, автор «Бускона», а также «Сновидений» и «Часа воздаяния...»¹², образцовых менипповых сатир, Кеведо лишает своих персонажей какой-либо свободы, даже свободы движения, оставляя ее для одного лишь участника дискурсивного ритуала – Автора (хозяина кукольного театра!), сполна распоряжающегося ею на уровне словесной игры, изобретающего невиданные метафоры, сравнения, эпитеты, наименования. В сатирах Кеведо все образы и сюжеты

⁹ О времени и месте издания «Ласарильо» и о его авторе Диего Уртадо де Мендоса см. [Пискунова, 2017].

¹⁰ Речь идет именно о «Ласарильо» 1553 г., а не о его «Второй части» (1555), в которой и стиль, и образ героя-повествователя претерпевают существенные изменения и которая, как теперь признано критикой (см. [Cavillac, 2001]), оказала несомненное влияние на «Гусмана де Альфараче».

¹¹ См.: [Cros, 1975], [Egido, 1978], [Пискунова, 2009: 322–324] (впервые – в комментарии к изданию «Бускона» на русском языке в кн.: [Плутовской роман, 1975]).

¹² «Час воздаяния и Разумная Фортуна» (*La hora de todos, y la Fortuna con seso*, 1630-е гг.) – сатира, пародирующая сюжет Страшного Суда, перенесенного в «олимпийский» хронотоп, населенный персонажами классической греческой мифологии

сугубо традиционны и поэтому сами по себе не могут вызвать «удивления» (*admiratio*), то есть смеха. Все, что смешит и поражает в них читателя-зрителя, — их словесное воплощение, так как «готовых» слов, за исключением разве что местоимений и предлогов, для писателя просто не существует. Как, впрочем, и внетекстовой реальности. Все сущностные размышления Кеведо-прозаика о мире и человеке, об испанце-современнике и испанском государстве, о жизни и смерти сложены в совершенно особый «отсек» его прозы, который издатели именуют «серьезной» или «философско-этической» прозой (она составляет четыре пятых прозаического наследия писателя). «Смеховая» же проза автора «Бускона» самоценна и самоцельна. Она — чистая риторическая игра.

Полемизируя с Алеманом, Кеведо тем не менее сохраняет структурную основу плутовского повествования — фиктивный автобиографический дискурс, в центре которого образ героя-писателя, плута и шута в одном лице. Карнавальные образы, жесты и речь персонажей-пикаро встраиваются не только в жанр «фиктивного» послания, но и в традицию так называемого шутовского смеха, сложившуюся в испанской литературе еще во второй половине XIV в., питавшуюся источниками народного смеха, но ни карнавалльно-ритуальному, ни фольклорно-речевому смеху не равнозначную¹³. Этот смех изначально звучал не на карнавалльной площади, а в придворных покоях и лишь с конца XV столетия начал вливаться в формирующуюся общенациональную литературную традицию¹⁴. Но в XIV–XV столетиях его адресатом был феодал (сеньор) и его окружение. Субъектом же (а нередко и объектом) — шут.

Шут-интеллектуал, человек, которого его происхождение и социальный статус изначально ставят в положение униженного, — не столько изобретение романтической мифологии, сколько реальность истории культуры, в том числе и испанской. А возможно, именно в Испании особенно проявленная.

¹³ О шутовской литературе см.: [Marquez Villanueva, 1985–1986], [Roncero Lopez, 2010], [Зеленина, 2013].

¹⁴ Через посредство площадного театра и зарождающихся профессиональной драмы и театра начала XVI в., шутовскую прозу А. де Гевара (см. о нем: [Пискунова, 1998]), Ф. Лопеса де Вильялобос, ставшего автором первого испанского трактата о смехе — «Трактат о трех грандах» (*Un tratado de tres grandes*) из «Книги, именуемой «О чем думает Вильялобос» (*Libro intitulado Los problemas de Villalobos*, Zaragoza, 1543), — а главное, благодаря огромному влиянию на испанскую словесность последующих столетий самого значительного литературного памятника эпохи «королей-католиков» — «Селестины» Ф. де Рохас (1502).

Если обратиться к особой разновидности шутовской «профессии» – к поэтам-шутам, сочинения которых широко представлены в первом из рукописных сводов кастильской письменной поэзии – «Кансьонеро де Баэна» (1425–1430), то дату рождения шутовской словесности в Испании нужно сдвинуть к 1370-м гг. (время, когда было создано большинство стихотворений, вошедших в «Кансьонеро»). Ведь самые значительные поэты-шуты из «Песенника» Альфонсо де Баэна, как и его составитель, принадлежали к особому слою формирующейся испанской нации – так называемым «обращенным» (конверсос) или «новым христианам», которых в числе подданных кастильской короны с середины XIV в., когда по Кастилии прокатилась первая волна еврейских погромов, становилось все больше.

Но и крещение не давало еврею-испанцу чувства гарантированной принадлежности к «старохристианскому», преимущественно крестьянскому миру. Оставалось апеллировать к сильным мира сего и тешить себя горделивым сознанием своей тайной избранности. Оставалось... смеяться над собой, издеваться над поэтом-соперником (того же, что и ты, происхождения), выставлять напоказ его физические недостатки, а заодно – обличать пороки окружающего мира, мысленно возвышаясь над злосчастной участью человека на грешной земле¹⁵.

Заложенная поэтами-шутами традиция прослеживается в испанской литературе вплоть до середины XVI в. (захватывая области прозы и драматургии), то есть – и вряд ли это простое совпадение – до момента появления плутовского романа: В. Ронсеро Лопес¹⁶ – не без оснований – считает, что именно из шутовского смеха и шутовской словесности и родилась пикареска, хотя автор «Ласарильо» (его безуспешно долго искали среди эразмистов – «новых христиан»), дон Диего Уртадо де Мендоса, принадлежал к древнейшему влиятельнейшему дворянскому роду «Мендоса»¹⁷.

Шутовская литература и литература карнавализованная – явления близкие, но далеко не тождественные. Ни испанский придворный социум, ни испанский средневековый карнавал вплоть до Нового времени не знают шута-буффона (*bufón*), который объединял бы в себе шута-при-

¹⁵ Вершина поэтического развертывания этой темы – сонет Луиса де Камозэна «Будь проклят день, в который я рожден!» (пер. В. Левика).

¹⁶ См. [Roncero Lopez, 2010].

¹⁷ О Диего Уртадо де Мендоса как наиболее очевидном авторе «Ласарильо» см. [Пискунова, 2017].

дворного (исп. truhán, albardán, chocarrero) и шута карнавального, именовавшегося bojiganga (варианты: botarga, mojarilla, moharracho). Бохиганга-задира¹⁸, вооруженный палкой с бычьими пузырями, которыми он бьет прохожих, еще не включившихся в карнавальную круговерть, как бы зазывая их в игру, и придворный шут, оружие которого – слово (что делать ему на карнавале?!), – два разных персонажа смеховой культуры.

Бохиганга на карнавале выступал как носитель хаоса и безумия, нередко играя роль Глупости (Locura). В ней он значительно ближе к фольклорному Дураку-простецу (bobo, tonto). Поэтому словом «locos» (сумасшедшими, безумными, а точнее, «свихнувшимися», «чокнутыми») именовались и хулиган бохиганга, и дурак, и «святой олух» – el santo inocente (блаженненский).

Но подлинный шут-остроумец – отнюдь не «дурак». «Дурак» или безумец (это уже романтическая сублимация) – роль, неглупым шутком сознательно разыгрываемая. И если «безумец» (loco) и дурак-«простец» (bobo) у Сервантеса и оказываются в роли шутов (как Дон Кихот и Санчо в замке герцогов или в доме дона Антонио Морено в Барселоне в «Дон Кихоте» 1615 г.), то случается это с ними отнюдь не по их воле.

Конечно же, «дурак» сам по себе – фигура амбивалентная, двусоставная: его «дурость» на поверку часто оказывается «мудростью». Но эта «мудрость» – не благоразумие или рассудительность: она в первую очередь свойство самой жизни, стихийность, дионисийское, иррациональное начало бытия (такова первая ипостась Глупости у Эразма – автора «Похвального слова Глупости»). «Дурак» – в отличие от шута – «мировой человек» [Айрапетян, 2003: 85], метонимическое воплощение гротескного «народного тела» толпы на карнавальной площади, истинного героя карнавального действия, по Бахтину. А вот шут, которого Бахтин

¹⁸ Во Второй части «Дон Кихота» бохиганга появляется в XI главе в эпизоде встречи Дон Кихота и Санчо с труппой странствующих актеров, представляющих ауто сакраменталь на праздновании Дня Тела Господня (этот День растягивался на неделю). Тогда-то и происходит столкновение ряженого Рыцаря и актеров (также не снявших свои сценические одеяния, чтобы сэкономить время на переезде), спровоцированное выходкой бохиганги (в переводе Н.М. Любимова он именуется «Чертом» (да еще с большой буквы). «El Diablo» «de las vejigas» [Cervantes, 1998: 715–716] – «чертяка с пузырями»: так бохигангу называет разозленный Санчо, хотя Дьявол (Demonio) в труппе один (актер, управляющий повозкой, он же директор труппы). В ауто бохиганга исполнял роль Глупости, правящей миром, хотя позднее мог перерядиться и в Черта» (подручного Дьявола).

наряду с дураком в герои своего утопического карнавала записывает¹⁹, в испанской историко-культурной реальности, напротив, индивид-маргинал, личность, наделенная острым умом (шуты нередко были советниками королей!), самосознанием и скрытым чувством собственного достоинства, но при этом ломающая комедию самоуничижения – того самого, которое «паче гордости».

Когда ученые²⁰ описывают параметры шутовского смеха, выделяя его сквозные темы, они в первую очередь подчеркивают его связь с насилием и унижением: объект жестокого смеха – человек, ставший «козлом отпущения», а его физические страдания (подобные тем, что причиняют Ласарильо издевательства слепца), его увечья, его мучения от голода и / или жажды, веселят наблюдающего за ними зрителя.

Такого рода смех звучит и в романе Алемана, «смех... невеселый», по определению Л.Е. Пинского [Пинский, 1963: I, 41]. «В “Гусмане де Альфараче”, – пишет русский ученый, – даже осуждается веселый смех во всех его видах: уже легкий смех свидетельствует о некоем легкомыслии; громкий смех – о неразумии, а безудержный хохот... – признак безнадежных, отпетых дураков (I–I, 4). Субъективный источник комического у Алемана – не избыток жизненных сил, не их игра... а недостаток сил, бессилие перед жизнью... По общему характеру комическое у Алемана тяготеет к сарказму, жестокому, «терзающему» смеху... сплошное глумление под видом восхваленья» [Пинский, 1963: I, 41].

Совершенно по-иному (и об этом нам уже приходилось писать²¹) звучит смех, пусть и связанный с разного рода сценами физического насилия и жестокости (которые так шокировали Владимира Набокова!), в «Дон Кихоте». В карнавальном – ритуальном по своей природе – смехе

¹⁹ В исследованиях о смехе и смеховой культуре (включая труды М. Бахтина!) эти персонажи также перечисляются через запятую, а то и прямо отождествляются. Представляется, что источник этой путаницы – отсутствие не только в испанском, но также в английском и в других европейских языках, в первую очередь в немецком, лексического разграничения «шута» и «дурака»: и тот, и другой – или fool (в английском есть реже употребляемый синоним jester), или Narr (в немецком). А поскольку у истоков изучения смеховой культуры лежат труды немецких филологов и английских антропологов, то это смешение распространилось и на их последователей в других странах; например, в ценной русской книге, посвященной испанским шутам, глава о «Бурлескной хронике» Франсеса де Суньиги (Crónica burlesca de Frances de Zúñiga) именуется «Антихроника, или испанский придворный Narrenschiff». См. [Arellano, 2010], [Roncero Lopez, 2010].

²⁰ См. [Arellano, 2010], [Roncero Lopez, 2010].

²¹ См.: [Пискунова, 2009: 195].

нет и не может быть насилия в прямом значении слова, реальных увечий и смертей, так как смех карнавальный и смех шутовской кардинально отличны. Субъект шутовского смеха – ущемленный своим положением индивид, личность, наделенная самосознанием и смеющаяся над другими и над собой как над другим. В то время как субъект карнавального смеха, который одновременно является его предметом, его объектом, – народ, «гротескное тело толпы на карнавальной площади» (М. Бахтин). Поэтому и сервантесовский Рыцарь, и его жертвы (начиная с его слуги, которому более всех достается) – это не отдельные тела отдельных людей, рожденных и обреченных умереть в свой день и час, а метафорические части единого бессмертного народного целого. Ни от Дон Кихота, ни от его жертв, сколько их ни молоти, в конечном счете не убудет. Чем лучше зерно будет обмолочено, тем пышнее будет хлеб Нового урожая, тем чище будет хлебец – облатка, который верующий (или – у католиков – священник от лица паствы) вкусит во время причастия... Ведь никто же не считает, что христианин, участвующий в таинстве причастия, впрямь поедает плоть Бога и (причащаясь вином) пьет его кровь! По этой же логике разворачивается и основной сюжет «Дон Кихота», превращающий кровавые поединки рыцарских романов в ритуально-пародийное действо, где кровь воплощена в вине, которое хлещет из распоротых Дон Кихотом на постоялом дворе винных бурдюков.

В «Дон Кихоте» 1605 г. не так уж много персонажей-зрителей, и появляются они преимущественно ближе к концу повествования: так, наблюдающие ритуальную по своей сути схватку Дон Кихота с козопасом, в которой смешиваются хлеб, кровь и вино, а на бедного рыцаря (обмолачиваемое зерно) сыплется град колотушек, священник и цирюльник «покатываются» со смеху» (I, 625). Однако самые запоминающиеся приключения рыцаря и оруженосца в Первой части, такие, как сражение с ветряными мельницами, битва со стадами овец, приключение с сукновальными молотами, «покаяние» рыцаря в Сьерра-Морене, его сражение с бурдюками на постоялом дворе Хуана Паломеке, происходят вообще без свидетелей, не считая единственного – Санчо (погонщики стад здесь не в счет).

Смех Дон Кихота над Санчо, подбрасываемым на одеяле хозяином постоялого двора и его постояльцами (известное карнавальное развлечение – подбрасывали собаку или куклу), или смех священника и цирюльника, наблюдающих за дракой Дон Кихота с козопасом, – одних персонажей романа над другими, человека над своим ближним, объектом

карнавального осмеяния, – трансформируется на протяжении Первой части «Дон Кихота» во «внутренний», личностный смех автора и его друга-читателя не только и не столько над Рыцарем Печального Образа, сколько над самими собой, открывающими в себе комические и трагические бездны донкихотизма.

Напротив, в «Лже-Кихоте» Авельянеды²² смех зрителей, направленный на главных героев (на первый план в подложном «продолжении» Первой части выдвигается Санчо), звучит значительно чаще, чем в «Дон Кихоте» подлинном, смех жестокий и унижающий объект осмеяния (козла отпущения), смех толпы над кем-то, кто резко из нее выделяется, над шутом-изгоем. Поэтому (за исключением редких случаев, например приключения на дынной бахче) Лже-Кихот и Санчо неизменно оказываются в поле зрения знатных кабалеро или городских зевак, студентов или ретивых альгвасилов, уличных девок или злых мальчишек.

«Конфискованный» (*confiscado*) – отобранный у народа, присвоенный сильными мира сего, «узурпированный» карнавал – так определяет комическую стихию романа Авельянеды Дж. Иффланд [Iffland, 1999: 267–304]. Ф. Лопес Эстрада [Lopez Estrada, 1982] описывает испанский карнавал второй половины XVI и последующих столетий как «городской праздник», организуемый властями с помощью профессиональных поэтов и художников-декораторов, использующих образы народного карнавала для увеселения земных властей и прославления их деяний.

В центре «конфискованного» карнавала в «Лже-Кихоте» находится светское застолье, на котором речи Лже-Кихота и Санчо подаются как истинно «королевское блюдо». А появляющийся в романе во время этих застолий великан (персонаж шествия в День Тела Христова) или спутника Дон Кихота и Санчо – торговка требухой из Алькала-де-Энарес (далеко не главное ее занятие!) Барбара, напоминающая уродливую старуху, восседающую в том же шествии на драконе-Тараске (самый важный, наряду с головастыми великанами, персонаж Дня Тела Христова), никак не

²² «Дон Кихот» 1615 г. в значительной своей части – особенно начиная с XXX главы – создавался в полемике с подложным продолжением Первой части – так называемым «Лже-Кихотом» Авельянеды, созданном окончательно не установленной «группой лиц» под руководством и при непосредственном участии Лопе де Вега (см. подробнее: [Пискунова, 2015]). Эта полемика во многом повлияла и на трансформацию «донкихотской ситуации» во Второй части, и на переориентацию праздничного смеха Сервантеса на театрализованный комизм «конфискованного» карнавала – придворного празднества, на котором особую роль играют «постановщики» увеселения – шутники (*burladores*).

соотносятся ни с таинством евхаристии, ни с мыслью о жертве и жертвенности.

И если пристальнее проанализировать смех всех упоминавшихся прозаиков – недругов Сервантеса, то следует признать, что карнавализованная риторика пикарески порождала то, что Л. Е. Пинский в исследовании, посвященном «Критикону» Бальтасара Грасиана, назвал «барочным злоречивым антикарнавалом» [Пинский, 1981: 563]. Так что современники Сервантеса (в пределах столетия) могли смех карнавальный и смех шутовской уже и не различать.

На закате Золотого века Бальтасар Грасиан, великий прозаик и моралист, образцовый представитель риторической культуры, спешит отречься и от карнавального хохота веселящейся на площади толпы – «черни»²³, и от шутовского смеха пикарески, и от смеха как такового.

«...Не ищите веселья на лице мудреца, зато найдете смех на лице безумца» [Пинский, 1981: 563] – в этих словах квинтэссенция грасиановской философии смеха. И когда среди персонажей мениппеи-эпопеи Грасиана оказывается шут Мом (II, XI), высказывающий, невзирая на свое отталкивающее обличье, весьма глубокие суждения, обнаруживается, что двуликий смех Мома в конечном счете также не несет в себе никакого созидательного начала: «Такая идет в мире игра. Всесветное поношение – одна половина поносит другую, один другого позорит, и все запятнаны. В глаза и за глаза издеваются – кругом смех, злословие. Презрение, тщеславие, невежество и глупость. А гадкому шуту раздолье» [Пинский, 1981: 307].

В грасиановском отрицании смеха присутствует и платоновское высокомерное отрицание культуры «низов» как чего-то постыдно-непристойного (Платон, VII книга Законов), и преобладавшее в Византии и в восточном христианстве неприятие смеха как гордыни и способа унижения плачущего нагого «человечка».

Однако в западноевропейской схоластике «высокого» Средневековья (достаточно назвать «Сумму философии» Фомы Аквинского) возникла тенденция к реабилитации смеха, восходящая к иной, нежели платоновская, античной традиции, связанной с риторикой и опирающейся на авторитет Аристотеля.

²³ См. эпизод посещения героями «Критикона» – странствующими в поисках Истины мудрым Критило и наивным Андренио «всечеловеческого театра» (I, VII), на сцене которого появляется плачущий нагой «человечек», чья жизнь – от рождения до смерти – проходит перед глазами «веселящихся зрителей подлого сего театра» [Грасиан, 1981: 124-126], а также описание «дворца Веселья» (III, II).

Аристотелевская риторическая «философия смеха» различала смех плебейский, предназначенный для увеселения городских низов, рабов и женщин, которые и являются предметом осмеяния, и смех людей свободных (воплощение их этических идеалов – Аристофан, правда, не чуравшийся использования и опыта смеха низового). Смех свободных, образованных горожан, в отличие от смеха плебейского, выставя напоказ недостатки, уродства, телесные и иные отклонения от благого и правильного, не должен ни разрушать, ни причинять боли. Не должен быть агрессивным. Задевать чью-либо честь, самолюбие... То есть в нем не должно было быть ничего, что так возмущало в смехе Грасиана, заменившего смех остроумием (остроумие может быть и несмешным) – искусством изобретать и удивлять.

Аристотелевскую традицию, как известно, подхватили римские ораторы – Квинтиллиан (кажется, он первый писал о смехе и как о способе унижения ближнего), Цицерон (см. его диалог «Об ораторе» в кн. [Цицерон, 1994: 277–297]), на которых позднее основывались авторы итальянских гуманистических трактатов (главный из них – «О придворном» Б. Кастильоне), риторик и поэт второй половины XVI в., таких, как «О смешном» Виченцо Маджи (Vicenzo Maggi, *De ridiculis*, 1550), «Поэтика Аристотеля...» Лудовико Кастельветро (Ludovico Castelvetro, *Poetica D Aristotele vulgirizzata e sposta*, 1570), «О комическом в учении Аристотеля» Антонио Риккобони (Antonio Riccoboni, *De re comica ex Aristoteles doctrina*, 1579).

Испанская философия комического эпохи Контрреформации, в свою очередь, во многом опиралась на итальянскую позднеренессансную риторику и поэтику, хотя имела и собственные истоки, например медицинский подход к трактовке смеха у уже упоминавшегося Ф. Лопеса де Вильялобос, придворного врача испанских монархов. Но у Вильялобоса речь шла именно о шутовском смехе (и сама его проза воплощает дух и стиль шутовского мироощущения), в то время как смех, который пытаются описать авторы итальянских трактатов, следовало бы, скорее, определить как смех риторико-гуманистической направленности, смех, которым должен смеяться и на который только и может реагировать образованный клирик и образцовый придворный – гуманистическая элита, придворный мир (независимо от размера Двора), городские и церковные верхи: им и были адресованы собрания фаций и новелл, бурлескных стихотворений и придворных комедий.

К этой – риторико-гуманистической – смеховой традиции возводит смех Сервантеса Энтони Клоуз (1938–2010), один из ведущих английских

сервантистов последней трети XX – начала XXI в., автор многих трудов, в том числе и самой значимой для нашей темы книги – «Сервантес и комическое сознание его времени» (Cervantes and the Comic Mind of his Time, 2000), – а также статей, которыми (в числе работ других сервантистов) открывается «академическое» издание «Дон Кихота» под редакцией Ф. Рико²⁴.

В «Дон Кихоте», убежден Клоуз, не надо искать ответы ни на вечные вопросы человеческого бытия, ни на запросы своего времени, следуя романтической и постромантической критике, сторонники которой приспособливали роман Сервантеса то к романтическому бунту, то к политическому либерализму, то к экзистенциалистскому скептицизму, то к эразмистскому «новому» христианству, то к карнавальной утопии... «Дон Кихота», считал кембриджский профессор, нужно читать, не преследуя никаких «идеологических» целей, просто как смешную книгу²⁵, как сочинение, написанное исключительно для того, чтобы развеселить и развлечь читателей-современников, расстающихся на рубеже Средневековья и эпохи Модерна (граница – 1600 г.) с карнавальным бесстыдством и жестокостью, с карнавальной антиличностной стихией, поглощающей индивидуальность.

При этом Клоуз не отрицает значения трудов Бахтина и того, что Сервантес широко пользуется языком карнавальной культуры, но он четко различает смех карнавальный – безрассудный, смех «безумцев» – locos, и смех «благоразумный», исходящий от тех, кто – в отличие от участников карнавала – знает, где проходит граница между высоким и низким, разумным и безрассудным, порядком и хаосом, между смеющимися (насмешником – el burlador) и его «жертвой». Клоуз ищет и находит в романе Сервантеса «цивилизованный» (в духе Норберта Элиаса) смех европейцев раннего Нового времени, соблюдающих приличия и декорум, смех придворного общества (эпицентра цивилизационного процесса²⁶), но не шутовской (самоуничижительно-ернический или плебейско-жестокый), а шуточный, или шутливый, предназначенный для невинного увеселения праздной знати²⁷.

²⁴ См.: [Rico, 1998] (это – первое издание не раз переиздававшегося труда международного коллектива ученых; последнее – под грифом Испанской Королевской академии – опубликовано в 2015 г.).

²⁵ Заявленная Э. Ауэрбахом [Ауэрбах, 1976], но утвержденная П. Расселом [Russel, 1969] традиция сервантистики второй половины XX столетия.

²⁶ См. [Элиас, 2002].

²⁷ Характерно, что Э.Клоуз, рассуждая о сервантесовском смехе, опирается

Никакого жанрового новаторства в «Дон Кихоте» Клоуз не видит. Поэтому Клоуз замыкает сочинение Сервантеса в границы риторической игры, комбинаторики готовых форм и мотивов, столь присущей веку Барокко и риторической культуре в целом, включая и искусство классицизма, в орбиту которого он настоятельно стремится включить Сервантеса²⁸.

Поэтому фабула «комического эпоса» Сервантеса (отнюдь не романа Нового времени и даже не предтечи этого жанра!) сплетается из заимствованных из фольклорной и литературной традиции варьирующихся мотивов, а само линейное повествование строится в согласии с архаической моделью нанизывания комических ситуаций, сгруппированных вокруг трех выездов Дон Кихота. При этом автор помещает в центр читательского внимания образы Рыцаря и его Оруженосца, которые именует «характерами»²⁹, хотя на самом деле они – своего рода трансформеры, основные детали которых взяты из ритуала и из площадного театра. В основе «характеров» Дон Кихота и Санчо – и с этим не стал бы спорить никто из современных ученых (А. Редондо и другие), наблюдениями которых Клоуз пользуется, – лежат комические типы-маски: масленичного Поста (в Испании это женский персонаж, донья Куаресма – Cuaresma), хвастливого Капитана итальянской Комедии масок, слуги-тупицы (el bobo) и слуги-пройдохи (gracioso). Но суть не в основе, а в методе использования писателем унаследованных образов. Для «сборки» своих героев – ведь они не имеют практически ничего общего с героями европейского романа Нового времени, чьи судьбы и внутренний мир социально и психологически мотивированы, вписаны в правдиво воссозданную историческую и повседневную реальность, – Сервантес использует отдельные черты и жесты традиционных персонажей-масок, подгоняя их

прежде всего на Вторую часть «Дон Кихота», расценивая все происходящее с Дон Кихотом и Санчо в загородном доме герцогов как проявление образцового цивилизованного смеха, субъекты коего стремятся никак не ущемить самолюбия и достоинства объекта розыгрышей – ламанчского идальго (правда, при этом сполна отыгрываясь на его слуге-крестьянине).

²⁸ См. [Клоуз, 1998]. Основа мировоззрения Сервантеса, по мысли английского сервантиста, – «вера в разум и тяготение к гармонии и пропорции» [Клоуз, 1998: LXXV] – выводы, базирующиеся на многочисленных цитатах из различных сочинений Сервантеса – от «Галатеи» и «Путешествия на Парнас», парадоксально несовместимые – это Клоуз вынужден признать! – со «странным» тяготением автора «Дон Кихота» к изображению разного рода безумцев, чудаков, маргиналов, в общем, к гротеску – слово, которое Клоуз, кажется, боится выговорить.

²⁹ См. цитируемый далее доклад Клоуза на международном коллоквиуме сервантистов (Овьедо, 2004), опубликованный в [Cervantes y el Quijote, 2007].

друг к другу по принципу игрового причудливого нагромождения деталей – бриколажа. Отсюда – непоследовательность и противоречивость поступков и высказываний Дон Кихота, веселящая читателя, но и не позволяющая ему составить о хитроумном идальго определенного представления, увидеть в нем развивающийся – в согласии с некой сюжетной логикой и «серьезным» авторским замыслом – образ. Но у Сервантеса такового не только изначально, но и на протяжении всех этапов создания обеих частей «Дон Кихота», по мысли Клоуза, не было.

Однако с «незаинтересованным» смехом Сервантеса-весельчака Клоузу приходится расстаться, заменив смех «католического» толка, основанный на вере в свободу выбора человека между добром и злом, смехом благочестивого пуританина, предоставляющего и свою земную судьбу, и посмертную участь воле Провидения. Единственное, что объединяет людей в художественном мире Сервантеса, в том числе автора и читателя, автора и героя, – считает Клоуз, – это сознание своей слабости и обреченности своих «высоких» замыслов, хотя создатель «Дон Кихота» все еще верит в «потенциальное благородство человека, при условии, что оно подчинено божественному провидению, разуму, согласовано с гармонией природы, опытом и требованиями социума – за исключением тех, что противоречат установленным нормам» [Close, 1998: LXXVI].

Поэтому сугубо развлекательный смех у Сервантеса постепенно превращается в сатирический, нацеленный на то, чтобы продемонстрировать греховность человеческой природы, ограниченность человеческих возможностей и царящий в мире провиденциализм.

Характерно, что Клоуз трактует известное, не раз повторяющееся высказывание Сервантеса о человеке, творящем свою участь (судьбу), как покаянное признание писателя – да и его главного героя, Дон Кихота, – в том, что все неудачи человека на его жизненном пути порождены его стремлением самому чего-то в жизни достичь. При этом вслед за некогда разоблаченными им романтиками³⁰ Клоуз практически полностью отождествляет Сервантеса с его героем: оба склонны к полетам фантазии, сосредоточены на себе, жаждут славы (если не тщеславны)... Устами Аполлона (Клоуз еще и еще раз цитирует аллегорическую поэму Сервантеса «Путешествие на Парнас» – *Viaje del Paenaso*, 1615, – в которой поэт подводит итоги своего творческого пути) Сервантес порицает себя за это, считая свою житейскую незадачливость следствием этих своих качеств... В конце концов Сервантес, особенно в последнее десятилетие жизни (с

³⁰ См.: [Close, 1978].

1606 по 1616 г.), предстает у Клоуза раскаявшимся идеалистом³¹ и антиутопистом, сатирически высмеивающим донкихотизм и демонстрирующим полную готовность к компромиссу с окружающим его миром ценой отказа от себя и от своего героя, творящего не просто свою судьбу, но свое «я».

Предложенный Клоузом (не им первым!) пересмотр основных положений знаменитого труда А. Кастро «Мировоззрение Сервантеса» (см. [Castro, 1974]; первое издание – 1925), в котором создатель первого романа Нового времени предстает творцом, превыше всего ценящим свободу – и изначальную физическую, от теремных и иных уз³², и свободу полета творческого воображения, и свободу выбора человеком супруга или супруги, и свободу следовать своему призванию (предназначению), наконец, свободу выбора веры и образа мыслей, – непосредственно связан с вновь возродившейся тенденцией англо-саксонской сервантистики лишить Сервантеса звания творца европейского романа Нового времени. Ведь роман – подлинный плод постриторической культуры, «культуры, – обратимся опять к А.В. Михайлову, – свободного Я» [Михайлов, 2000: 28]. Исторический маршрут утверждения романа как жанра в странах Европы (Англия – Франция – Германия – Россия...) следует за линией утверждения в культурах этих стран, в их политическом устройстве и в экономической жизни, в умах национальных элит представления о взаимосвязанности таких понятий, как личность, свобода и ответственность.

М. Бахтин также не случайно живописал карнавал – историко-культурное лоно формирования романа – как пространство свободы («освобождающая сила смеха»), но не столько от закабаленности человека своим социально-природным статутом, сколько от страха смерти («освобождающая» и «возрождающая сила смеха»), страха, которого лишен человек, ощущающий себя частицей бессмертного (вечно умирающего и чреватого новыми рождениями) естественно-природного целого, – а на карнавале участник ритуала воистину неотделим от «тела толпы», являющейся гением празднества, субъектом и объектом карнавального смеха.

Но и страх смерти, и уничтожение мысли о смерти обессмысливают главную идею, на основе которой и сложилась христианская религия Спасения и христианская концепция «человека внутреннего», воплотившаяся

³¹ В разоблачении идеализма Дон Кихота Клоуз не так уж неожиданно сближается с Бахтиным!

³² Достаточно вспомнить знаменитое рассуждение Дон Кихота о свободе в начале LVIII главы Второй части, обращенное к Санчо сразу после того, как рыцарь и оруженосец покинули замок герцога.

в средневековом «исповедально-житийном типе личности» [Библер, 1991: 149]. Вместе с тем ренессансная своеобразная «надличностная индивидуальность» (Л.М. Баткин), прообраз личности Нового времени, начала определяться именно в тот момент, когда европеец стал вполне осознавать свою индивидуальную конечность³³. Очевидно, что мысль о своем приближающемся конце не могла не посетить и пятидесятилетнего идадьго из Ла Манчи, проводящего значительную часть оставшейся жизни за чтением книг, герои которых пребывают в состоянии вечной молодости, а если и погибают неожиданной геройской смертью³⁴, то остаются жить на страницах написанных о них романов. Нарастающее сознание своей смертности, так контрастирующее с «бессмертием» загадочной красоты печатного слова и книжной славы, и стало источником его безумия, воплощенного прежде всего в утрате связи с реальностью. Но при этом личностью, творцом своего «я» (пусть книжно-мифического), «сыном своих дел», берущим на себя ответственность за положение вещей в несправедном мире, Алонсо Кихано остается. А на ком лежит большая ответственность за успех всего мероприятия – на нем или на Санчо Пансе, – ответить трудно.

Поэтому герои романа Сервантеса – не просто схематически набросанные характеры-типы, персонажи карнавального действия, но и – индивидуальности, ощущающие и осознающий свое особое предназначение, свою личностную неповторимость, мотивированную, однако, не столько социально-психологически (как то свойственно героям романов XIX столетия), сколько логикой становления и развития авторского замысла, связанного с осмыслением того, что такое человек, что он смог за отведенный ему срок «узнать о себе» (Ф.М. Достоевский). Именно этот, не сразу осознанный автором замысел превратил комическую новеллу о «хитроумном идадьго из Ла Манчи» в прообраз «романа сознания» [Пискунова, 2013] и «самосознания» [Alter, 1975]. Конечно, воплотить его в 700-страничный двухчастный роман Сервантес не смог бы без оглядки на рекомендации того же Алонсо Лопеса «Пинсьяно», автора «Философии поэтики древних» (A. López Pinciano, *Philosophía antigua poética*, 1596), без создания – параллельно с работой над «Дон Кихотом» – своей «теории романа», тщательно реконструированной учителем Клоуза Э. Райли [Riley, 1962], с которым Кло-

³³ См. [Баткин, 1995: 321–332].

³⁴ Не случайно при осмотре библиотеки Дон Кихота (I, VI) достойной особого внимания чертой рыцарско-бюргерского (если быть точными) романа «Тирант Белый» счел то обстоятельство, что его герои «умирают на своей постеле», – в общем, то, что словами Хосе Мариа Мерино [Merino, 2007: 37] можно было бы называть «риторикой естественности» или «повседневности» (*retórica de naturalidad*).

уз, собственно говоря, и пытается спорить. Конечно, никакая из «теорий» в сервантесовской практике (и жизни) почти никогда не опережала творчества и поступка, свободы вымысла и спонтанности выбора (замысел последнего романа Сервантеса, аллегорического «Персилеса», скорее, исключение³⁵). Все вычитанные из «Философии поэзии древних» соображения о художественном целом повествования, о составляющих его частях, о вымысле и правдоподобию, о фантазии и подражании, отразившиеся, в частности, в знаменитом диалоге Дон Кихота и толедского каноника из XLVII главы Первой части, как правило, посещали Сервантеса после или одновременно с решением той или иной конкретной творческой задачи. Например, когда настало время решать, что делать с Дон Кихотом после того, как сюжетные линии почти всех «вставных» любовных историй, завязавшиеся накануне его прибытия на постоянный двор Хуана де Паломеке, благополучно развязались и перед социально-ответственными персонажами (доном Фернандо, священником и цирюльником) осталась единственная задача – вернуть больного идалго домой? Или что делать со столь привлекательным для писателя замыслом создания «образцового» рыцарского романа, почти что начатого?.. Сервантес умел легко и естественно начать повествование, но как его продолжить и завершить, когда речь шла о многостраничной и многолюдной истории?.. В случае с «Дон Кихотом», воистину первым романом Нового времени, Эль Пинсьяно и его рассуждения о художественном единстве «эпической поэмы в прозе» и способах его создания вряд ли могли помочь...

Роман Нового времени возник и сложился под пером Сервантеса на границе риторики и карнавала, друг с другом сосуществовавшими, но и конфликтовавшими, когда речь шла о мере и безмерности, форме и бесформенности, порядке и хаосе, слове и нечленораздельности. Риторика в рождении «Дон Кихота» играла роль строительных лесов, в то время как смех создавал ту атмосферу, без которой его творец, герои и читатель романа – хотя бы в пределах сотворенного автором художественного мира – не могли бы ощутить себя свободными.

Список литературы

Айрапетян В. Русские толкования. М., 2003.

Ауэрбах Э. Мимесис. М., 1976.

³⁵ О роли трактата-диалога «Пинсьяно» в создании последнего романа Сервантеса «Странствия Персилеса и Сихизмунды» (*Los Trabajos de Persiles y Sigismunda*, 1617) см. [Forcione, 1970].

- Баткин Л.М.* Итальянское Возрождение: Проблемы и люди. М., 1995.
- Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
- Библер В.С.* Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры. М., 1991.
- Зеленина Г.С.* От скипетра Иуды к жезлу шута: Придворные шуты в средневековой Испании. М.; Иерусалим, 2013.
- Михайлов А.В.* Судьба классического наследия и рубеже XVIII–XIX веков // Михайлов А.В. Обратный перевод. М., 2000.
- Пинский Л.Е.* «Гусман де Альфараче» и испанский плутовской роман // Алеман М. Гусман де Альфараче: Роман в двух частях: В 2 т. Т. I. М., 1963.
- Пинский Л.Е.* Бальтасар Грасиан и его произведения // Грасиан Б. Карманый оракул. Критикон / Изд. подг. Е.М. Лысенко и Л.Е. Пинский. М., 1981.
- Пискунова С.И.* Истоки и смысл смеха Сервантеса // Вопросы литературы. 1995. № 2.
- Пискунова С.И.* «Дон Кихот» Сервантеса и жанры испанской прозы XVI–XVII веков. М., 1998.
- Пискунова С.И.* Испанская и португальская литература XII–XIX веков. М., 2009.
- Пискунова С.И.* От Пушкина до «Пушкинского Дома»: Очерки исторической поэтики русского романа. М., 2013.
- Пискунова С.И.* «Дон Кихот» 1615 versus «Дон Кихот» 1605 // Литературоведческий журнал. 2015. № 38.
- Пискунова С.И.* Превращения Ласаро де Тормес и метаморфозы плутовского жанра // Книга о Ласаро де Тормес. М., 2017 (в печати).
- Плутовской роман. М., 1975.
- Сервантес Сааведра М. де.* Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский: В 2 т. М., 2010.
- Элиас Н. Придворное общество. М, 2002.
- Alter R.* Partial Magic: The Novel as a Self-Conscious Genre. Berkley; Los Angeles; London, 1975
- Arellano I.* *Prólogo* // Roncero López V. De bufones y pícaros en la novela picaresca. Madrid; Frankfurt am Main, 2010.
- Blasco J.* Baltasar Navarrete, posible autor del Quijote apócrifo (1614) // Bel-tenebros Menor. Avances, 2. 2005.
- Caro Baroja J.* El carnaval: Análisis histórico-cultural. Madrid, 1979.
- Castro A.* El pensamiento de Cervantes. Madrid, 1925 (facs.: Barcelona, 1974).

- Cavillac M.* El “Guzmán de Alfarache” y la “Segunda parte” antverpiense del “Lazarillo” (Amberes, 1555) // Prosa y poesía. Homenaje a Gonzalo Sobejano. Madrid, 2001.
- Close A.* The Romantic Approach to “Don Quijote”. Cambridge, 1978.
- Close A.* Cervantes: pensamiento, personalidad, cultura // [Rico, 1998: LXVL–XXXVI].
- Close A.* Cervantes and the Comic Mind of his Time. Cambridge, 2000.
- Close A.* La composición de los personajes de don Quijote y Sancho // Cervantes y el Quijote: Actas del Coloquio internacional. Madrid, 2007.
- Cros E.* Protée et le gueux. Recherches sur les origines et nature du récit picaresque dans “Guzmán de Alfarache”. Paris, 1967.
- Cros E.* L’aristocrate et le Carnaval des gueux. Paris, 1975.
- Egido A.* Retablo carnavalesco del Buscón don Pablos // Hispanic Review. 1978. V. 46. №2.
- Forcione A.K.* Cervantes, Aristotle and the Persiles. Princeton, 1970.
- Guillén C.* La disposición temporal del Lazarillo // Hispanic Review. 1957. V. XXV. P. 268.
- Iffland J.* De fiestas y aquafiestas: risa, locura e ideología en Cervantes y Avellaneda. Madrid, 1999.
- López Estrada F.* Fiestas y literatura en los Siglos de Oro: la Edad Media como asunto “festivo” (el caso del “Quijote”) // Bulletin Hispanique. Vol. 84. 1982. N. 3–4.
- Marquez Villanueva F.* Literatura bufonesca o del loco // Nueva Revista de Filología Hispánica. XXXIV. 1985–1986.
- Merino J.M.* El narrador del Quijote y la voz de la novela // Cervantes y el Quijote: Actas del Coloquio internacional. Madrid, 2007.
- Redondo A.* Otra manera de leer el Quijote. Madrid, 1997.
- Rico F.* (ed.). Cervantes Saavedra Miguel de Don Quijote de la Mancha / Edición del Instituto Cervantes dirigida por Francisco Rico con la colaboración de Joaquín Forradellas. Barcelona, 1998 (v. II – complementario).
- Roncero López V.* De bufones y pícaros en la novela picaresca. Madrid; Frankfurt am Main, 2010.
- Russel P.E.* “Don Quijote” as a funny book // Modern Language Review (1969). LXIV. P. 312–326.
- Trueblood A.* La risa de Cervantes y la risa de don Quijote // Cervantes. 1984. N. 4. P. 3–23.

Сведения об авторе: Пискунова Светлана Ильинична, докт. филол. наук, профессор. E-mail: claraluz@inbox.ru.

О.В.Кукушкина

ЯЗЫК ПУШКИНА: ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ II («ОН УВАЖАТЬ СЕБЯ ЗАСТАВИЛ...»)¹

В статье рассматриваются проблемы понимания начальных строк романа «Евгений Онегин». Ключевым для решения возникающих вопросов признается значение глагола уважать в языке Пушкина. Исследование этого значения проводится с помощью создаваемого в ЛОКЛЛ филологического факультета МГУ корпуса текстов А.С. Пушкина. На основе проведенного анализа предлагается семантическая интерпретация начальных строк романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», вызывающих споры.

Ключевые слова: русский язык первой половины XIX в., значения глаголов, корпус текстов, смысловая интерпретация текста.

The paper deals with the interpretation of the first lines of “Eugene Onegin”. The meaning of the verb *to respect* is considered as the key to the existing questions. The research is based on the electronic corpus of Pushkin’s texts created in the Laboratory of General and Computational Lexicology and Lexicography at the Faculty of Philology of MSU. The semantic interpretation of the debatable lines of Pushkin’s novel is suggested as the result of our analysis.

Key words: Russian Language of the first half of the 19th century, meaning of the verbs, text corpus, semantic interpretation of the text.

Первые строки романа «Евгения Онегина» знакомы всем:

Мой дядя, самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил,
И лучше выдумать не мог.
Его пример – другим наука...²

Это начало вызывает, как известно, у вдумчивого читателя вопросы. Так, В.С. Непомнящий считал, что «...или Пушкин построил первую фразу романа, мягко говоря, не совсем удачно, или – или мы ее неверно

¹ Статья продолжает серию работ, посвященных результатам исследования корпуса Пушкина в Лаборатории общей и компьютерной лексикологии и лексикографии филологического факультета МГУ (см.: Кукушкина О. В., Варламов А. А. Язык Пушкина: Лексикографические этюды // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2015. №6).

² Здесь и далее при отсутствии специальных указаний цитаты даются по изд.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 19 т. М., 1994–1997 (переизд.). Римской цифрой обозначается номер тома, арабской – страница.

читаем и понимаем» [Непомнящий, 1996: 158]. Основная сложность понимания начальных строк романа заключается в том, что нам приходится самим восстанавливать некоторые смысловые связи между описываемыми событиями. Главная из этих связей – связь между *болезнью дяди и возникновением уважения* к нему. Эта связь далеко не тривиальна и не очевидна, поскольку болезнь обычно вызывает чувство жалости, сочувствия, но отнюдь не уважения. В результате возникает ощущение, что под *уважением* здесь понимается нечто иное, более конкретное, чем изменение отношения.

Потребность восполнить недостающее смысловое звено породила распространенную версию о том, что *уважать себя заставить* означало в пушкинскую эпоху ‘умереть’. Эта вполне логичная версия (смерть требует уважения) является, однако, абсолютно неверной, что известно любому, знающему текст первой главы. В строфе LII этой главы Пушкин прямо говорит о том, что Онегин едет к дяде, чтобы выполнить его просьбу и проститься с ним. О смерти дяди герой еще не знает. Напомним эти строки:

Вдруг получил он в самом деле
От управителя доклад,
Что дядя при смерти в постеле
И с ним проститься был бы рад.
Прочтя печальное посланье,
Евгений тотчас на свиданье
Стремглав по почте поскакал...

Можно было бы, конечно, предположить, что сам Пушкин забыл о том, что было в начале романа. Для этого поэт, кажется, сам дает основания, говоря в строфе LX:

Я кончил первую главу:
Пересмотрел все это строго;
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу...

Однако в нашем случае противоречие исключено, так как в строфе LII Пушкин делает прямую отсылку к началу романа, еще раз напоминая нам, с чего он начинается:

Евгений тотчас на свиданье
Стремглав по почте поскакал
И уж заранее зевал,
Приготовляясь, денег ради,

На вздохи, скуку и обман
(И тем я начал мой роман);

Итак, дядя в начале романа еще жив, а его смерть выступает только как будущее, ожидаемое событие. Поэтому знающий текст читатель вынужден выстраивать прямую причинную связь между отношением (уважение) и серьезной болезнью: дядя серьезно заболел и тем самым вызвал одобрение и уважение циничного племянника. Такого понимания придерживается и В.С. Непомнящий. Сама семантика оборота *уважать себя заставил* не вызывает у исследователя сомнения, но начальные строки романа при их традиционном прочтении представляются ему странными. Он видит тавтологию в том, что Онегин называет дядю «человеком самых честных правил», а затем снова повторяет, что он «уважать себя заставил»; считает «неуклюжей и необъяснимой» инверсию «мой дядя... когда», вместо «когда мой дядя»; странным употребление *когда* при описании только что произошедших событий и др. В.С. Непомнящий полагает, что начало романа приобретает логичность и синтаксическую стройность при той расстановке знаков препинания, которая была в первом издании первой главы романа (1825), но изменилась впоследствии, – здесь, как он обнаружил, после *занемог* стоит не запятая, а точка с запятой [Непомнящий, 1996]:

«Мой дядя самых честных правил,
«Когда не в шутку занемогъ;
«Он уважать себя заставил
«И лучше выдумать не могъ;
«Его примѣръ другимъ наука:
«Но, Боже мой, какая скука...

[«Евгений Онегин», I, 1825]

По мнению В.С. Непомнящего, точка с запятой – это деталь, которая ставит все на свои места: «Как видим, после слова “занемог” – точка с запятой. Это значит, что две первые строки есть законченная фраза, содержащая определенное утверждение. В этой фразе “когда” имеет смысл вовсе не времени, а условия: “самых честных правил в том случае, когда”, “в том случае, если” или просто “если” (“коли”)». Действительно, при замене *когда* на *если* «...обнаруживаются синтаксически и семантически бесспорные основания для точки с запятой после “занемог” – знака, закрепляющего смысл: Мой дядя – человек самых честных правил в том случае, если он занемог смертельно; только этим он заставил себя уважать – и лучше выдумать не мог. <...> “Его пример – другим наука”, –

не худо, чтобы и “другие” заслужили “уважение”, последовав дядину примеру» [Непомнящий, 1996: 160]. В развитие этой трактовки можно было бы добавить, что при таком понимании оборот *не в шутку* можно понимать не только как ‘серьезно’, но и как ‘действительно’: *он самых честных правил, если только действительно заболел*.

Точка с запятой, однако, заменена на запятую в остальных прижизненных изданиях романа, что дает основание для предположений о ее ошибочности. Так, В.А. Козаровецкий, разбирая версию В.С. Непомнящего в статье «О споткнувшихся о знаки препинания», объясняет наличие точки с запятой простым отсутствием контроля со стороны Пушкина и неверным прочтением: «Первое издание Первой главы “Онегина” вышло в феврале 1825 года без контроля со стороны Пушкина, находившегося в ссылке. Издатель (Плетнёв), также не разобравшись в смысле злосчастной третьей строки, решил поставить в конце второй строки точку с запятой – видимо, исходя из тех же ложных соображений, какие впоследствии пришли в голову и Непомнящему», – пишет он [Козаровецкий, 2013].

Однако В.С. Непомнящий справедливо указывает на тот факт, что этот злополучный знак препинания снова появляется в первом посмертном издании романа (1838 г.). Это обстоятельство нельзя объяснить буквальным воспроизведением текста первого издания, поскольку расстановка других знаков препинания в этих двух изданиях не совпадает. Ср. знаки издания 1838 г.:

«Мой дядя самых честных правил,
 «Когда не в шутку занемогъ;
 «Он уважать себя заставилъ, <1825 – запятой не было>
 «И лучше выдумать не могъ: <1825 – была точка с запятой>
 «Его примѣръ другимъ наука; <1825 – было двоеточие>
 «Но, Боже мой, какая скука... [«Евгений Онегин», I, 1838]

Таким образом, точку с запятой вряд ли можно считать случайностью. Однако обозначает ли она в данном случае действительно разрыв синтаксической связи и постпозицию придаточного? Ответить на этот вопрос нужно отрицательно. Дело в том, что в первом издании тексту первой главы «Евгения Онегина» предшествует «Разговор книгопродавца с поэтом», в котором есть еще один случай постановки точки с запятой после придаточного времени. Он очень показателен, поскольку в нем препозиция придаточного и его связь не с предыдущим, а с последующим текстом не вызывает никакого сомнения. Ср.:

И, признак Бога, вдохновенье
 Для нихъ <пропуск> чуждо и смѣшно.
 Когда на память мнѣ невольно
 Придетъ внушенный ими стихъ;
 Я содрагаюсь; сердцу больно:
 Мне стыдно идоловъ моихъ.

[«Евгений Онегин», I, 1825: XVII–XVIII]

Точка с запятой разделяет здесь главное и придаточное (*Я содрагаюсь, когда мне...*) и стоит вместо запятой. Во втором прижизненном издании первой главы (1829 г.) и эта точка с запятой, как и в начальных строках романа, заменена запятой:

И, признак Бога, вдохновенье
 Для нихъ и чуждо и смѣшно.
 Когда на память мнѣ невольно
 Придетъ внушенный ими стихъ,
 Я так и вспыхну; сердцу больно:
 Мне стыдно идоловъ моихъ.

[«Евгений Онегин», I, 1829: XVII–XVIII]

В издании 1838 г. «Разговор книгопродавца с поэтом» отсутствует, но неединичность употребления точки с запятой при наличии явной синтаксической связи показывает, что мы имеем дело не с ошибкой, а с определенной функцией, ныне утраченной. Эта функция, как представляется, — обозначение длительности паузы. В.Н. Перцов справедливо указывает на важность того обстоятельства, что старая русская пунктуация отличалась гораздо больше «паузной нагруженностью» и была «гораздо более чувствительна к интонационно-мелодической стороне речи, чем современная» [Перцов, 2008: 50]. В этом отношении очень интересно мнение П.Н. Баркова, приводимое в [Перцов, Пильщиков, 2011: 24], согласно которому аномальные с современной точки зрения знаки препинания знаки долгое время играли роль «интонационно-декламационных разделителей».

В.Н. Перцов рассматривает «несочинительное употребление точки с запятой как разделителя между главным и придаточным предложением» как одну из наиболее ярких особенностей старинной русской пунктуации [Перцов, 2008: 50]. В качестве примеров им приводятся случаи постановки точки с запятой перед *потому что* и между *хотя...*; *однако*. Последнего рода случаи встречаются в текстах Пушкина достаточно регулярно. Наши два случая с придаточным времени отличаются более вы-

сокой степенью синтаксической и семантической связности между частями сложного предложения. Тем не менее и в них можно видеть проявление той же особенности. Обсуждая возможные функции точки с запятой, В.Н. Перцов обращает внимание на то, что в трудах Н.И. Греча и А.Х. Востокова описываются темповые различия между знаками препинания и приводит следующее информативное из грамматики Востокова: «запятая показывает «кратчайшую остановку голоса», точка с запятой – «остановку, вдвое долже запятой», двоеточие – «второе долже запятой», точка – «должайшую остановку, вчетверо против запятой»» [Перцов, 2008: 52]. В случаях разделения главного и придаточного точкой с запятой можно видеть стремление обозначить более долгую паузу. Препозиция придаточного времени сопровождается такой паузой («вдвое долже запятой»), что и могло отмечаться с помощью точки с запятой в наших двух случаях. Замену точки с запятой на запятую в остальных прижизненных изданиях можно объяснить тем, что в случае препозиции придаточного времени функция обозначения длительности паузы вступает в явное противоречие с функцией обозначения синтаксических связей и смыслового членения. И лишь сильная установка редактора на интонационно-декламационное членение могла способствовать ее возврату.

Итак, традиционное временное понимание *когда* в начальных строках «Дядя уважать себя заставил именно тогда, когда он не в шутку занемог», следует признать правильным. И при данном понимании, и при версии прочтения, предлагаемой В.С. Непомнящим, сохраняется семантическая связь между событиями *заболел* и *начал уважать*. Из нее делается достаточно нелицеприятный вывод о моральных качествах Онегина. В.С. Непомнящий формулирует его следующим образом: «Из всего этого следует, что “другие” люди вообще существуют для героя не сами по себе, а только в отношении к нему, к его интересу...» [Непомнящий, 1996: 161].

Несмотря на явную выраженность указанной связи, она, как уже говорилось, оставляет у читателя чувство смыслового дискомфорта и заставляет искать способы иного понимания выражения *уважать себя заставил*. И для этого есть достаточные лингвистические основания. Они связаны со спецификой употребления самого глагола *уважать*. Мы понимаем пушкинский текст через призму современного значения этого глагола. Ср.: *уважать кого* – *Питать уважение к кому-чему-н., высоко ценить за что-н., относиться с почтением..., испытывать чувство почтения...* («Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова). Это и порождает интерпретацию: *дядя заболел* → *к нему возникло чувст-*

60. Однако в языке Пушкина рассматриваемый глагол мог выражать не только отношение, но и цепь действий, через которые это отношение проявляется, то есть он мог иметь то значение, которое мы сейчас описываем с помощью конструкций *проявлять, оказывать уважение*.

Способность глагола *уважать* передавать не только отношение, но и действия, нашла имплицитное отражение в «Словаре языка Пушкина» (СЯП). В этом уникальном лексикографическом труде, базирующемся на полной росписи и семантизации контекстов, глагол *уважать* описывается не сам по себе, а через отсылку к глаголу совершенного вида *уважить*. Ср.:

УВАЖАТЬ 1. Несов. к **уважить** в 1 знач.

(УВАЖИТЬ 1. Отдавая должное достоинствам, заслугам кого-н., отнестись с почтением, уважением).

УВАЖАТЬ 2. Несов. к **уважить** во 2 знач.

(УВАЖИТЬ 2. Посчитаться с чем-н., принять во внимание, учесть что-н. // *Приняв во внимание, исполнить (волю, желание кого-л.)* (СЯП, т.4)

Пушкин использует глагол уважить гораздо реже, чем *уважать* (соотношение употреблений – 73/9, по данным пушкинского корпуса ЛОКЛЛ). Какие же основания были у создателей СЯП для подобного способа описания? Формальные основания для этого очевидны – они сохраняются и в современном русском литературном языке (СРЛЯ): на исходную производность *уважать* от *уважить* указывает морфемная структура – она такая же, как у стандартного имперфектива (ср. *ублажить* → *ублажать* и т.п.). Но в СРЛЯ *уважать кого* и *уважить кого* разошлись по значению и видовой пары не составляют. Чтобы говорить о видовой парности данных глаголов в языке Пушкина, нужны дополнительные семантические доказательства. В СЯП они не приведены, но они, тем не менее, есть. Диагностическим в отношении видовой парности можно считать следующее употребление *уважать* в неограниченно-кратном контексте, типичном для имперфективов:

- (1) Арно... Бонопарт поручал образование Ионийских островов; Бонопарт принимает Арно в своем доме... дает ему одно из первых мест в университете. Наполеон **постоянно уважал** Арно, хотя не раз мог бы жаловаться на его сатирические выходки и резкую откровенность... Тот... написал на своих табличках имя Арно; писал это же имя в своем завещании...» («Французская академия», XII, 50).

В этом контексте представлено сочетание *постоянно уважал*, указывающее на совершение Наполеоном неограниченной цепи действий. Речь идет о том, что Наполеон постоянно *отличал* Арно, оказывал ему знаки уважения, внимания. Это контекст в СЯП не приводится, но его адрес есть среди адресов употребления глагола *уважать* в 1-м значении.

Итак, мы имеем подтверждение того, что глагол *уважать* мог использоваться Пушкиным в значении *оказывать, проявлять уважение*. И в этом случае возникает иное прочтение: *дядя заболел → возникла необходимость оказывать ему уважение*.

В языке Пушкина в составе описательных оборотов с семантикой проявления чувств в качестве основных компликаторов используются *изъявлять, изъявление*, а также *оказать* и *оказывать*. Обороты с *проявить* // *проявлять* не отмечены. В сочетании с *уважением* встречается только *оказывать* (3 случая):

- (2) С своей стороны Иван Петрович оказывал уважение к моим летам («Повести Белкина», VIII, 61);
- (3) ...но наконец принуждены были с ним согласиться и сознаться, что и разбойники оказывали ему непонятное уважение («Дубровский», VIII, 186).
- (4) ...и стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее («Дубровский», VIII, 186).

Набор чувств, которые можно *оказать*, в языке Пушкина гораздо шире, чем в СРЛЯ, а вводящий их предикат обнаруживает более тесную связь глаголами внешнего проявления, демонстрации (*проявлять, показывать*), чем современный. В корпусе отмечены сочетания *оказывать* и *оказывать* со следующими существительными:

оказать бесчувственность, благоразумие, внимание, доверенность (т. е. доверие), знак горести, малодушие, множество вежливостей, мужество, неудовольствие, предпочтение, проворье, сильное чувство, слабость духа, стремление, страх, твердость, усердие, честь, храбрость;

оказывать благосклонность, внимание, доверенность (т.е. доверие), милость, наружное почтение, небрежение, нетерпение, приверженность, любопытство, любовь, равнодушие, склонность, стремление, участие, **уважение**, холодность.

Как и в СРЛЯ, данные предикаты могут вводить также действия, совершаемые по отношению к кому-л. Ср.:

оказывать благодеяние, вспоможение, большое действие, милость, неповиновение, одолжение, покровительство, помощь, пользу, пощаду, прием, протекцию, службу, услуги, мало разницы в приеме;

оказывать покровительство.

Большая употребительность в пушкинском языке оборотов с *оказывать* – *оказывать* по сравнению с СРЛЯ (ср. невозможные сейчас *оказывать* пользу, любовь, страх, превосходство, службу) еще не означает, что *уважать* кого-л. не могло выступать у Пушкина со значением *оказывать* кому-л. уважение. Описательные обороты нужны в первую очередь для того, чтобы компенсировать отсутствие видовой парности, а *уважить* – *уважать* такую пару в языке Пушкина еще могли составлять.

Связь с действиями, поведением, а не собственно отношением хорошо прослеживается в контекстах, где речь идет об объектах, явно чувства уважения не заслуживающих. Ср.:

(5) **Уважайте глупцов**, ибо должно стараться иметь большш.<инство> голосов на своей стороне. 12 (Отрывки из писем. Мысли и замечания. Черновые редакции, XI, 329);

(6) Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем **уважать пороки** своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях... (<Заметки по русской истории XVIII в.>, XI, 15);

(7) Достоинно замечания и то, что Рад.<ищев> тщательно прикрыв это намерение **уловками уважения** и обошелся со славою Ломоносова гораздо осторожнее, нежели с Верховной властью, на которую напал с такой безумной дерзостию («Путешествие из Москвы в Петербург», XI, 248).

Способность *уважать* выступать в качестве аналога современных *оказывать*, *проявлять уважение* можно называть аспектуальной особенностью данного глагола. Но этот глагол обладал в пушкинскую эпоху и номинативной спецификой, заключающейся в тесной связи *уважения*, *внимания* и *значимости* (*важности*). Эта связь проявляется прежде всего в сочетаниях с неодушевленным объектом. В текстах Пушкина и пи-

сем к нему есть достаточное количество контекстов, в которых *уважение*, *уважать* можно перевести на современный язык как *внимание*, *обращать внимание*; *признавать достойным внимания, значимым*. Ср., например:

- (8) Но молодой человек, не всегда **уважавший слова** своей матери, вышел из хижины и рассказал сон ее другим индийцам («Джон Теннер», XII, 111);

- (9) Мы все... привыкли смотреть на поэзию, как на записную прелестницу, к которой заходим иногда поврать и поповесничать, без всякой душевной привязанности и вовсе не **уважая опасных ее прелестей** (Письмо 13а, Вяземскому, XIII, 366);

- (10) ...и поруча сие справедливости, не смею в **Вашем уважении сему делу** не быть в совершенной благонадежности (Письмо 1011, Беклемишев – Пушкину, XV, 199);

- (11) и мне грустно видеть что со мною поступают, как с умершим, не **уважая ни моей воли, ни бедной собственности** (Письмо 74а, Бестужеву, XIII, 386).

Связь со *вниманием* особенно хорошо видна в обороте *принимать, принять, взять в уважение*. В словаре под ред. Д.Н. Ушакова *принимать во внимание* и *принимать в уважение* даются как синонимы. Ср.: «уважать: 2. что. Принимать во внимание, в уважение (книж. устар.)». Тексты Пушкина и письма к нему подтверждают правильность такого толкования. Ср.:

- (12) ...гордый Троекуров обещался, ибо, **взяв в уважение** княжеское достоинство, две звезды и 3000 душ родового имения, он до некоторой степени почитал князя («Дубровский», VIII, 208);

- (13) Давно расстроенное здоровье и род аневризма... служили мне достаточным предлогом. Покойному государю императору не угодно было **принять одного в уважение**. Его величество, исключив меня из службы, приказал сослать в деревню за письмо (Письмо 250, Жуковскому, XIII, 265);

- (14) Ныне В<аше> в<ысокопревосходительство>, **приняв в уважение** сии мои <пропуск> изволили приказать мне обращаться к В<ашему> в<ысокопревосходительству> с теми моими стихотв<орениями>... (Письмо 740, Бенкендорфу, XV, 13).

Судя по всему, этот оборот был характерен для официально-делового стиля, о чем свидетельствуют, например, следующие примеры из писем Пушкину:

- (15) Милостивейший государь! Александр Сергеевич! Дерзновение мое принимаю убедительнейше просить особу вашу, о милостивом и снисходительном удостоянии **принятием в уважение**, повергаемые правосудию вашему нижепомещенные обстоятельства. (Письмо 1125, Лебедев – Пушкину, XVI, 76);

- (16) Я по сие время тружусь с истинным к Вам, милостивый государь Александр Сергеевич! усердьем ни в чем не упуская пользы Вашей. При сем принужден Вас просить естли угодно будет **принять во уважение** мою просьбу о решение моей участи (Письмо 994, Пеньковский – Пушкину, XV, 186).

На *принятии во внимание* может базироваться признание чего-либо значимым, способным быть уважительной причиной. Ср. следующие примеры с оборотом *в уважение чего*, употребляющимся в причинном значении ‘из-за, ради’:

- (17) Милостивый государь, Александр Сергеевич! Надеюсь, вы простите моей докучливости **в уважение малого времени**, которое остается мне жить в Петербурге а в это малое время мне хотелось бы кончить с изданием Храповицкого Записок! (Письмо 886, Свиньин – Пушкину, XV, 113).

- (18) Милостивый государь Александр Сергеевич! Прошлого года – я имел честь принять от батюшки вашего верное обещание, – что я посредством Вас, милостивый государь! получу деньги, занятые братцом Вашим, 2.000 руб., у полковника Плещеева, родного моего племянника, который не имея никакой собственности, **в уважение просьбы** и обстоятельств его кинулся к помощи и был уверен, – что его дружеской поступок не поставит его в то трудное положение, – в каком он теперь находится (Письмо 1011, Беклемишев – Пушкину, XV, 199).

Интересно отметить, что в текстах Пушкина и письмах не найдены при этом случаи употребления слова *уважение* со значением ‘причина, основание’, достаточно распространенные в текстах первой половины XIX в. и абсолютно аномальные с точки зрения СРЛЯ. Эти случаи связаны с оборотами *в сем уважении, по другому уважению, по другим уважениям*. Ср.:

- (19) Изъяснения, кои не содержат ни того ни другого, не суть закон и, следовательно, не могут иметь места в статьях Свода; между тем они могут быть полезны к лучшему уразумению закона, и **в сем уважении** они вменены в примечаниях (Сперанский М.М. Обзорение исторических сведений о Своде законов. М., 2011);
- (20) Приказ Сибирский получал для двора огромные тюки дорогой рухляди, не мог, однако ж, не слышать о казачьих самовольствах в обширном краю **и в сем уважении испросил** (1638 г.) введения нового порядка (Словцов П.А. История Сибири: От Ермака до Екатерины II. М., 2006);
- (21) Давно собирался я написать к Вам, почтеннейший и любезнейший друг Александр Васильевич, **по многим другим уважениям**, независимо от чувства постоянной приязни (Письмо И.А. Гончарова к А.В. Дружинину от 22 июля 1858 г.);
- (22) Она сначала указала, где софизм, а потом исполнила мое желание, но по другому уважению (Письмо И.А. Гончарова к Е.В. Толстой от 26 <?> октября 1855 г.);
- (23) Само собою разумеется, что причина подобного способа давать о себе знать заключалась в нежелании автора быть известным под собственным своим именем – по скромности ли то было, или по не слишком высокому понятию о литературной арене, или по каким другим уважениям (Белинский В. Стихотворения графини Е. Ростопчиной. 1841 [Белинский, 1948]).

Здесь *уважение* явно используется как аналог слова *увага*, которое В. Даль характеризует следующим образом: «**Увага**. ж. южн. зап. повод,

причина, обстоятельства, на которые должно обратить внимание, уважить их» [Даль, 2009].

В деловых письмах к Пушкину встречается не только *принять в уважение*, но и “конверсив” *представить на уважение*, т. е. на рассмотрение. Ср.:

- (24) ...выжидая единого благотворительного время и случая, **представить** все то **на уважение** особы вашей тогда, когда с. Михайловское откроет мне свободный путь во время пребывания в нем Вашего (Письмо 1125, Лебедев – Пушкину, XVI, 77).

Значение *рассмотреть, принять решение по* реализуется, судя по всему, и в следующих контекстах с глаголом *уважить*:

- (25) Как Вам угодно будет **уважить мое распоряжение** о чем буду ожидать решительного Вашего приказания (Письмо 934, Пеньковский – Пушкину, XV, 144);

- (26) Как Вам – угодно будет **уважить о роздаче** для крестьян на хлеб и посев их полей доношу Александр Сергеевичу! что естли не дать крестья<нам> на посев, то у них пролежало бы земля незасеяна (Письмо 946, Пеньковский – Пушкину, XV, 152).

Помимо тесной связи со вниманием, *уважать* и *уважить* обнаруживают способность передавать и значение *(о)ценить, оценивать*. Ср.:

- (27) Я деньги мало люблю – но **уважаю** в них **единственный способ** благопристойной независимости (Письмо 979, Н.Н. Пушкиной, XV, 180);

- (28) Уверяю тебя, что это все сбудется: сделай только в точности по моему расписанию. Если же ты **не уважишь моего усердия** и почтешь за шутку то, что я пишу от чистого сердца, тогда бог с тобой. Я тебя отдам на съедение книгопродавцам (Письмо 209, Плетнев – Пушкину, XIII, 218);

- (29) Я сердечно полюбил и **уважил Баратынского**. Чем более растираешь его, тем он лучше и сильнее пахнет. В нем, кроме дарования, и основа плотная и прекрасная (Письмо 262, Вяземский – Пушкину, XIII, 276).

Говоря о пушкинских *уважать* и *уважить*, нельзя не отметить еще одну интересную особенность – способность этих глаголов управлять творительным падежом неодушевленного объекта: *уважать чем* наряду с *уважать что*. В СЯП это управление выделено в рамках второго значения и приведен всего один контекст:

у в а ж а т ь ч е м: пора дать вес своему мнению и заставить правительство уважать нашим [мнением] голосом – *Пс* 49.23.

Данное управление нельзя считать просто ошибкой, поскольку при анализе редакций и вариантов, а также писем Пушкину удалось найти еще два аналогичных примера. Оба они в отрицательной конструкции. Ср.:

(30) ...предавая имя его молве, ко всему равнодушной **и ничем не уважающей** (<«Байрон»>, XI, 520);

(31) Надобно было быть уверену в его уме и проницательности, чтобы осмелиться так писать. Он один сквозь некоторую досаду мог увидеть беспредельную к нему любовь и преданность: его талант поставил выше мелочей обыкновенного самолюбия. Он может **не уважить мнением моим**, но чувства, я знаю, всегда **уважал** (Письмо 1266, Вигель – Пушкину, XVI, 170–171).

Такое управление заставляет искать связь *уважать* и *уважить* с другими пушкинскими глаголами, способными управлять творительным объекта без предлога и передавать отношение. Это *шутить*, *тревожиться*, *дорожить*, *пренебрегать*. Первые два глагола в СРЛЯ управляют предложными конструкциями, но у Пушкина они могут управлять и беспредложно. Ср.:

(32) После этого не **тревожьтесь мнением** Полевого (Письмо 927, Бантышу-Каменскому, XV, 137);

(33) ...я их будущностью и **собственностью шутить** не могу (Письмо 1243, Павлищеву, XVI, 154);

(34) Скажи ему, пожалуйста чтобы он припас деньги; **деньгами** нечего **шутить**; деньги вещь важная... (Письмо 522, Плетневу, XIV, 112).

Остальные два глагола и сейчас сохраняют беспредложное управление. При этом у Пушкина для *пренебречь* и *пренебрегать* отмечены также случаи управления винительным падежом, что усиливает возможность их влияния на *не уважать*. Ср.:

- (35) Умы, **пренебрегая цветы словесности** и благородные игры воображения, готовились к роковому предназначению XVIII века («О ничтожестве литературы русской», XI, 271);
- (36) Правительство может **пренебречь** ожесточение некоторых обличенных... (Письмо 246, Дельвигу, XIII, 262).]

Рассмотренные контексты показывают, что в языке Пушкина и его современников единицы с семантикой *уважение* обладали гораздо более широким кругом значений и употреблений, чем в СРЛЯ. Этот круг значений близок к тому, который передает польский глагол *uważać* (быть внимательным, наблюдать, уважать, *считать*), с которым этимологи связывают русский глагол *уважать*. Близкий спектр значений способен выражать французский глагол *respecter*³, употребляющийся в конструкции *Il s'est fait respecter*, буквально означающей 'заставить себя уважать'. Еще один французский эквивалент глагола *уважать* – глагол *considerer* – не только близок к первому по набору значений, но и употребляется в обороте *prendre en considération* – 'принимать во внимание', которому у Пушкина соответствует *принимать в уважение* (*принимать во внимание* не найдено), что еще раз указывает на тесную связь *уважения* и *внимания*. Однако семантическое сходство с иноязычными эквивалентами не означает, что употребление глагола *уважать* в языке Пушкина является галлицизмом или полонизмом. Это результат достаточно длительного самостоятельного существования глагола в русском языке. Так, оборот *принимать в уважение* активно употребляется в официально-деловом стиле еще в XVIII в. В тот же период в русском языке представлен ныне утраченный глагол *важить*, от которого производны *уважить* и *уважать*. В «Словаре русского языка XVIII века» семантика этого глагола описана так:

важить: 1. без доп. *Иметь вес, весить.* || *Стоить, иметь цену.* || Перен. *Иметь значение, ценность.* 2. кого-что. Перен. *Оценивать.* || что. *Обдумывать, взвешивать.*

Из описанных особенностей для понимания значения выражения *он уважать себя заставил* важны тесные синонимические отношения меж-

³ Благодарю Н. И. Голубеву-Монаткину за помощь, оказанную при анализе французских глаголов.

ду *уважением* и *вниманием*. Их наличие позволяет говорить о том, что это выражение могло иметь у Пушкина не только значение ‘оказывать уважение’, но и ‘оказывать, проявлять внимание’. Поскольку *уважать* и *уважение* в большинстве случаев все же выражают у Пушкина чувство почтения, а уважение и внимание неразрывно связаны – уважения нет без проявления внимания, – есть смысл говорить о своего рода синкретизме значения глагола *уважать* и о вероятном наличии у него способности нерасчлененно обозначать проявление уважения и внимания. С учетом этого значение выражения *он уважать себя заставил* можно описать как *он заставил оказывать себе внимание и уважение*.

Есть ли какие-либо основания для еще большей конкретизации значения этого выражения? В «Школьном словаре крылатых выражений Пушкина» это значение определяется так: «он уважать себя заставил (одобрительно) – о выдвижении своих условий, требований, нарушающих сложившееся положение вещей» [Мокиенко, Сидоренко, 2005]. Это толкование явно опирается на современное значение глагола *уважить*. Кроме того, данный словарь описывает те значения, которое пушкинские выражения получили уже в послепушкинскую эпоху. А при анализе смысла текста нужно устанавливать исходное, текстовое значение.

Очень заманчивым кажется предположение, что *уважать себя заставить* могло иметь устойчивое значение ‘заботиться, ухаживать за кем-либо’ или какое-то иное сходное значение. Однако у Пушкина это сочетание употребляется всего один раз, а его французский аналог в корпусе не найден, поэтому пушкинский материал обнаружить это «тайное» значение не позволяет. В других русскоязычных текстах следов его также до сих пор найти не удалось. Не выявляется оно и на польском, украинском, белорусском, а также французском материале. Современный польский глагол *uważać* может передавать значение ‘*следить за кем-л., заботиться о ком-то*’, но только в конструкциях с предлогом *na* (*na kogo*). Возможно, работа с историческими словарями соответствующих языков может в дальнейшем дать какие-то интересные результаты. Но и данное выше толкование рассматриваемого выражения (‘оказывать уважение и внимание’) позволяет восстановить недостающее семантическое звено между *болезнью* и *уважением* и превращает связь между этими двумя событиями из аномальной в нормальную, предсказуемую: болезнь требует оказания уважения и внимания больному.

Исходное положение дел, начинающее роман, выглядит, с учетом сказанного, следующим образом: *дядя, серьезно заболел, заставил Онегина*

оказывать ему знаки внимания и уважения. Однако на этом проблемы понимания начала романа не заканчиваются. Здесь есть еще один важный смысловой пробел, требующий от читателя самостоятельного осмысления. И он тоже требует знания последующего текста. Чего хотел дядя от Онегина? Чтобы тот оказывал ему знаки внимания? Чтобы делал все то, к чему «приготавливается» Онегин? При дальнейшем прочтении оказывается, что умирающий дядя всего лишь попросил наследника приехать и проститься с ним. Но как же тогда быть с намерением Онегина «с большим сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь...»?

Сам ли возлагает Онегин на себя такие обязанности или таковы были общепринятые нормы поведения при прощании с умирающим – это предмет особого обсуждения. Здесь можно отметить только, что защищавший Онегина В. Г. Белинский писал о том, что дядю нельзя считать благодетелем Онегина, поскольку Евгений был единственным законным наследником его имения («Тут благодетель – не дядя, а право наследства») и что «играть роль огорченного, состраждущего и нежного родственника при смерти совершенно чужого и постороннего ему человека» обязывали Онегина не деньги, а «чувство деликатности и человечности» [Белинский, 1948].

Как бы то ни было, очевидно, что Онегин намерен свои обязанности выполнять и играть ту роль, на которую обрекает его просьба дяди. При этом он не считает эту просьбу чем-то нормальным и общепринятым. На это указывает фраза «Его пример другим наука», говорящая о том, что далеко не все умирающие родственники приглашали наследников «проститься с ними». Негативные чувства, которые он испытывает по отношению к просьбе дяди, выражены достаточно явно – с помощью глаголов *заставил* и *выдумал*. Особенно показателен здесь глагол *выдумать*. У Пушкина этот глагол в большинстве контекстов употребляется негативно. Ср., например:

- (37) Засмеялся Балда лукаво: «что это ты выдумал, право?»
(«Сказка о попе...», III, 499);
- (38) Бранились долго; наконец Уловку выдумал хитрец...
(«Руслан и Людмила», IV, 48);
- (39) Чего не выдумает злоба! («Руслан и Людмила», IV, 48);
- (40) Уж эти мне грамотеи! что еще выдумал! («Борис Годунов», VII, 24);
- (41) Вот выдумали штуку! («Насилу выехать решились...», VII, 249);

- (42) Да что еще выдумал! Поймает, и ну целовать...
(«Барышня-Крестьянка», VIII, 112).

В связи с этим выражение *И лучше выдумать не мог* нужно понимать не как одобрение, а как проявление недовольства просьбой дяди приехать проститься: *Ишь что выдумал! Не мог придумать ничего лучше, чем...* Таким образом, Онегин не выражает в этой фразе никакой похвалы ни дяде, ни его болезни. И это полностью противоречит традиционному восприятию этих строк, которое В.Г. Белинский описывает следующим образом: «Мы помним, как горячо многие читатели изъясляли свое негодование на то, что Онегин радуется болезни своего дяди...» [Белинский, 1948]. Онегин в начале романа злится на дядю, а не хвалит его за болезнь. И в свете этого приобретает осмысленность знаменитая характеристика дяди как человека «самых честных правил», сближающая его с крыловским ослом.

Ю.М. Лотман высказывал сомнение в том, что здесь имеет место цитата из басни И.А. Крылова «Осел и мужик», и полагал, что Пушкин просто использовал живой фразеологизм устной речи той поры. Он писал о том, что «современники вряд ли воспринимали это как литературную цитату» [Лотман, 1980: 121]. В пользу этого могло бы свидетельствовать то, что обороты *человек таких-то правил, с правилами, без правил* у Пушкина встречаются и вне рассматриваемого контекста. Ср.:

- (43) Фальстаф совсем не глуп, напротив. Он имеет и некоторые привычки человека, изредка выдавшего хорошее общество. Правил нет у него никаких. Он слаб, как баба («Table-Talk», XII, 160);

- (44) В молодости моей сблизил меня с человеком, в коем при- рода, казалось, желая подражать Шекспиру, повторила его гениальное создание. [***] был второй Фальстаф: сласто- любив, трус, хвастлив, не глуп, забавен, без всяких правил, слезлив и толст («Table-Talk», XII, 160);

- (45) Я уверен, что те, которые приписывают новую сатиру Ар- кадию Родзянке, ошибаются. Он человек благородных пра- вил и не станет воскрешать времена слова и дела. (Письмо 53, Бестужеву, XIII, 65);

- (46) усердно задушить старался просвещение.
Благочестивая, смиренная душа

Карала чистых муз, спасая Бантыша,
И помогал ему Магницкий благородный,
Муж твердый в правилах, душою превосходный
(«Второе послание к цензору», II, 327].

Однако о том, что здесь все же с наибольшей вероятностью имеет место цитирование, говорит тот факт, что *самых честных правил* у Пушкина нигде более не встречается. Еще более весомым аргументом в пользу того, что современники все же должны были воспринимать это выражение как литературную цитату, является то, что басня Крылова не могла не быть хорошо известна читателям романа. Она была написана задолго до выхода первой главы (в 1819 г.) и принадлежала перу того, кого сам Пушкин в 1825 г. характеризует как «русского Лафонтена», «любимца своих единоверцев» («О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А. Крылова», XI, 31). Все это говорит о том, что басня Крылова была прецедентным текстом. Употребление оборота *самых честных правил* в той же синтаксической позиции, что и в прецедентном тексте, делает неизбежной для читателя ассоциацию с ослом.

Но что общего между этими двумя персонажами? Обычно принято считать, что их роднит глупость. И у Пушкина *осел* действительно может обозначать глупца. Ср.:

(47) Тимковский царствовал – и все твердили вслух,

Что в свете не найдешь ослов подобных двух.

Явился Бруков, за ним вослед Карасовский:

Ну право, их умней покойный был Тимковский (II, 328).

Однако здесь принципиально важна не глупость, а наличие у осла правил и стремления их соблюдать. Осел, как и дядя, простодушен и честен. Он не виноват в том, что его представления о должном конфликтуют с реальным положением дел, входит с ним в то, что сейчас модно называть «когнитивным диссонансом». Дядя, как и осел, хочет сделать как лучше – он считает должным попрощаться перед смертью с наследником. При этом он не в состоянии понять, к чему ведет его просьба и в какое положение она ставит племянника.

Именно это положение и является предметом размышлений и переживаний Онегина в начале романа. Оно описано очень подробно, причем в черновой редакции первой строфы еще ярче и подробнее, чем в окончательной. Интересно, что если в беловой редакции имеет место обобщение, общереферентный контекст (речь идет вообще о любом, оказавшем-

ся в таком положении), то в черновой редакции есть и определенно-личный вариант, в котором Онегин предвидит, что придется делать у постели дяди лично ему. Характерно также, что здесь вместо *скуки* появляется гораздо более сильная негативная эмоция – *мука*. Ниже приведены варианты черновых рукописей:

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог
 Он лучше выдумать не мог
 Он уважать себя заставил
 Когда не в шутку занемог
Его пример - другим наука
 его пример и мне наука
Но боже мой какая мука
Над ним сидеть и день и ночь
 А) С больным сидеть и день и ночь
 Б) смотреть за ним и день и ночь
Какое скучное коварство
 Какое глупое коварство
Больного дядю /забавлять]
 А) Вздыхать, печалиться над ним
 Б) над ним заботливо
 В) за ним заботливо
 Г) его услугой забавлять
 Д) Других услугой забавлять
Ему подушки поправлять
 А) подушки поправлять ему
 Б) подушки молча поправлять
Печально подносить лекарство,
 А) И подавать ему лекарство
 Б) со вздохом подавать лекарство
Вздыхать и думать про себя
 А) Как глупо унижать себя
 Б) притворством унижать себя
 В) Смирять и унижать себя
 Г) Тревожить унижать себя

Ну скороль чорт возьмет тебя –

А) Как глупо чорт бы взял тебя

Б) Ах

В) когда же

Так мыслил молодой повеса

Так думал молодой наследник...

(Глава 1. Варианты черновых рукописей, VI, 213–214).

Все сказанное дает основание понимать первые строки романа следующим образом:

Мой простодушный, как крыловский осел, дядя,
Когда серьезно заболел,
Не придумал ничего лучше,
Как заставить меня оказывать ему внимание и уважение.
Рекомендую другим брать с него пример! (в его положении)
Но, боже мой, мне-то каково...

Если «переводить» описываемую ситуацию на современный и более грубый язык, то можно было бы заменить *уважать себя заставил* на *ублажать себя заставил*. Однако Пушкин глагол *ублажать* в своих текстах не использует. Кроме того, этот глагол слишком бы усиливал негативное отношение героя к действиям дяди, которое и так уже передано с помощью предикатов *заставил* и *выдумал*.

Итак, все сказанное позволяет оценивать состояние, в котором мы застаем героя в начале романа, отнюдь не как радость по поводу наследства и тем более смерти дяди (о которой герой еще ничего не знает), а как негативные переживания по поводу того, что придется ходить за больным, притворяясь и утруждая себя. Как личность высокоразвитая, Онегин не только испытывает чувства, но и оценивает их. Он характеризует свое поведение по отношению к дяде очень жестко – как «низкое коварство». Он заранее переживает из-за того, что будет исполнять свои обязанности неискренне и желая дяде скорой смерти («Когда же черт возьмет тебя»). Положение, в которое ставит Онегина просьба дядя, унижительно для героя прежде всего в силу необходимости притворяться.

Таким образом, Онегин вовсе не тот циник, каким представляет его версия *заболеть* → *испытывать уважение*. Он злится, раздражен, но он все же мчится к дяде, к которому не испытывает теплых чувств и с которым вряд ли много общался до этого. Он готов честно, не жалея сил и време-

ни оказывать знаки внимания родственнику, оставляющему ему наследство («уважать» его). Если учесть это, а также то, что он единственный наследник («наследник всех своих родных») и мог бы сказаться больным или не особенно торопиться, то нельзя не признать, что Онегин ведет себя как человек «с правилами», знающий, что такое моральные обязательства, и готовый их выполнять.

Правомерность такого понимания ситуации, описанной в начале романа, доказывается не только лингвистическим анализом, но и характеристиками, даваемыми герою самим автором. Здесь сразу вспоминается «Онегин, добрый мой приятель», однако нужно учитывать, что это выражение далеко не столь однозначно, как представляется с точки зрения современного языка. На это указывает следующее высказывание П.А. Вяземского, относящееся к 1827 г.: «Въ свѣтскомъ словарѣ выраженія: добрый малый и добрый человекъ совершенно поддаются злоупотребленію. Добрый малый обыкновенно называется товарищъ, всегда готовый участвовать съ вами во всякой пирушкѣ и шалости и обращающійся къ вамъ спиною при первомъ предложеніи участвовать съ вами въ добромъ дѣлѣ. Добрый человекъ, по свѣтскому понятію, есть человекъ, въ коемъ не достаетъ ни духа на злое, ни души на доброе дѣло. Сказано о свѣтскихъ друзьяхъ:

Въ ихъ ласкахъ лезть, коварство вижу,
Ихъ клятвы – звукъ пустыхъ рѣчей!
О! какъ сердечно ненавижу
Большую часть моихъ друзей!

Можно почти тоже сказать о добрыхъ малыхъ и добрыхъ людяхъ: честному человеку позволительно ненавидѣть ихъ чистосердечно» [Вяземский, 1827]⁴.

Поэтому гораздо показательнее другой фрагмент романа, в котором поведение Онегина, пусть и в отношении другого эпизода, характеризуется абсолютно однозначно:

Не в первый раз он тут явил
Души прямое благородство...

⁴ Судя по всему, такое употребление сохранялось и в светском языке конце XIX в. Ср.: «Товарищ брата, студент весельчак, так называемый *добрый малый*, т. е. самый большой негодяй... уговорил после попойки ехать туда...» (Л.Н. Толстой, «Крейцера соната»).

Источники и словари

- Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2009.
- Мокиенко В.М., Сидоренко К.П.* Школьный словарь крылатых выражений Пушкина. СПб., 2005.
- Пушкин А.С.* «Евгений Онегин». Глава первая (1825) // Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН. <http://lib.pushkinskijdom.ru>.
- Пушкин А.С.* «Евгений Онегин». Глава первая. 2-е изд. (1829) // Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН. <http://lib.pushkinskijdom.ru>.
- Пушкин А.С.* «Евгений Онегин» (1838). Сочинения Александра Пушкина. Том I. СПб., 1838 // Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН. <http://lib.pushkinskijdom.ru>.
- Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: В 19 т. М., 1994–1997 (переизд.).
- Словарь русского языка XVIII века. Вып. 2. Л., 1985.

Список литературы

- Белинский В.Г.* Сочинения Александра Пушкина. Статья восьмая // *Белинский В.Г.* Собр. соч.: В 3 т. М., 1948.
- Вяземский П.А.* О употреблении слов // *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. / Изд. графа С.Д. Шереметева. Т. 1. СПб., 1878.
- Лотман Ю.М.* Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий: Пособие для учителя. Л., 1980.
- Непомнящий В.С.* Из наблюдений над текстом «Евгения Онегина» // Московский пушкинист. Вып. II. М., 1996.
- Козаровецкий В.А.* О споткнувшихся о знаки препинания // Литературная Россия. 2013. № 1.
- Перцов Н.В.* О соотношении письменной и устной форм поэтического языка: (К вопросу о функциональной нагруженности старого русского правописания) // Вопросы языкознания. 2008. №2.
- Перцов Н.В., Пильщиков И.А.* О лингвистических аспектах текстологии // Вопросы языкознания. 2011. № 5.

Сведения об авторе: Ольга Владимировна Кукушкина, докт. филол. наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. E-mail: kukush@orc.ru.

Д.В.Федосеева

КОГНИТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ, ОБОЗНАЧАЮЩЕЙ ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К СОБСТВЕННОСТИ

В данной работе представлен когнитивно-семантический анализ лексем, обозначающих человека по его отношению к собственности. Для характерологических предикатов, принадлежащих данной группе, предложены шаблоны поведения, представляющие собой обобщенную схему эмоциональных состояний человека и переходов от одного состояния к другому, а также толкования, основанные на полученных шаблонах.

Ключевые слова: лексическая семантика, прагматика, когнитивно-семантический анализ, шаблон поведения, характерологические предикаты.

In this paper, we present a cognitive-semantic analysis of lexemes, which denote a person by his relation to property. For characterological predicates belonging to this group, templates of behavior are proposed; they represent a generalized scheme of emotional states of a person and transitions from one state to another, as well as interpretations based on the obtained patterns.

Key words: lexical semantics, pragmatics, cognitive-semantic analysis, pattern of behavior, characterological predicates.

Данная работа посвящена когнитивно-семантическому анализу лексики, обозначающей человека по его отношению к собственности, а именно лексем *алчный, бережливый, бескорыстный, жадный, корыстный, корыстолюбивый, меркантильный, прижимистый, расчетливый, скупой, щедрый, экономный*. Данный анализ основывается на понятии «шаблон поведения», предложенном Ю.С. Мартемьяновым [Мартемьянов, Дорофеев, 1969]. Шаблон поведения – это обобщенная схема, содержательной основой которой является небольшое число исходных определяемых и неопределяемых понятий (*желает, знает, стремится* и пр.) В шаблоне описываются эмоциональные состояния человека, а также условия перехода от одного состояния к другому. Например, для слова *жадный* в работе [Мартемьянов, Дорофеев, 1969] приводится следующий шаблон: $\forall D \forall B [(Возм.: В пользуется D или не - Возм.: А пользуется D) \rightarrow (А желает: В не пользоваться D \& А желает: А пользоваться D)]$. Таким образом, из любой ситуации, в которой D пользуется B (посылка), всегда следует желание А (жадного человека) пользоваться данным B (кроме того, он желает, чтобы D им не

пользовался). Для часто использующихся шаблонов поведения в естественном языке существуют специальные обозначения (например, для *жадного*).

В нашем подходе шаблоны поведения строятся на базе обобщения содержания многочисленных примеров, в которых содержится описание поведения человека, охарактеризованного словом, обозначающим определенную черту характера. Данные примеры поведения могут быть получены различными способами (см. [Лукашевич, 2004]), в частности при помощи психолингвистических экспериментов, проводимых с носителями языка, например при помощи эксперимента, предложенного в работе Пинто де Лимы [Pinto de Lima, 1993]: носителю предлагается описать поступок человека, названного определенным словом, обозначающим черту характера человека (см. применение данной методики в работах [Лукашевич, 2004] и [Федосеева, 2014]).

Необходимые для получения шаблонов примеры были извлечены из Национального корпуса русского языка и корпусов Leeds. В ряде случаев отрывок, представленный в корпусе, содержит только наименование человека, при этом не объясняется, почему он назван таковым: «Но обладая множеством достоинств, князь имел и немало пороков: был *груб*, *беспрдельно алчен*, *бескрайне тщеславен* (что в конце концов и прервало его карьеру ссылкой в Березов)» (Павленко Н. Был ли А. Д Меншиков грамотным? // Наука и жизнь. 2006). Описание же поведения извлекается из примеров, содержащих пояснение к определенному именованию человека, зачастую оно содержится в следующей клаузе, например: «Тот, кто здесь жил до Германа Генриховича, был очень *бережливым* человеком, *ничего не выбрасывал*, *все аккуратно складывал для будущих поколений*» (Гордеевы Е. и В. Не все мы умрем. 2002), но может содержаться и в другой части текста.

Для каждого релевантного примера (содержащего описание поведения) формулируется его «краткий пересказ», например «дарит жене дорогой подарок». Все полученные «пересказы» группируются по схожести ситуаций, описанных в них: вначале они образуют небольшие формирования, в которых представлены абсолютно аналогичные ситуации, незначительно отличающиеся друг от друга, например, ситуации «дарит дорогой подарок близкому человеку / родственнику». После этого самые близкие подгруппы объединяются в более обширные группировки, описание ситуаций становятся более обобщенным, например «дарит дорогой подарок». В результате последовательного объединения

всех подгрупп, описывающих аналогичные поступки, образуются группы, на основании описаний которых и строятся шаблоны поведения.

Описание поступка человека, содержащееся в названии группы, обычно попадает (в более формальном виде) в **консеквент** шаблона, являющийся следствием **антецедента**. В **антецедент** шаблона поведения включаются все предпосылки, без которых осуществление описанной в **консеквенте** ситуации было бы невозможно. Поступки, содержащиеся в **консеквенте**, являются следствием предпосылок **антецедента**, однако это не логическое, а вероятностное следствие: при наличии предпосылок, содержащихся в **антецеденте**, человек, названный данной чертой характера, с большой вероятностью (но не обязательно) совершит поступок, описанный в **консеквенте**. В шаблон также включается обобщенная мотивировка поступка и оценка такого поведения говорящим.

Оценка говорящего базируется прежде всего на его знаниях о мире, нормах и ценностях, принятых в нем, поэтому нами было решено ввести аксиомы, описывающие внеязыковую действительность. Аксиомы являются частью когнитивной модели, которую мы строим при помощи шаблонов поведения. Аксиомы используются для описания внеязыковой действительности также в работах [Мартемьянов, Дорофеев, 1983], [Падучева, 2004], например: «Человеку неприятно отсутствие приятного», «Человек желает или стремится воспринимать приятное» [Мартемьянов, Дорофеев, 1983: 45], «Человеку свойственно стремиться избежать того, что ему неприятно» [Падучева, 2004: 131].

В аксиомах, предложенных нами, фигурируют следующие понятия, ключевые для данной сферы опыта: ресурс, отношения, рациональность, норма и ценности. Под ресурсами мы понимаем все то, чем обладает человек в широком смысле отношения обладания и что он может потратить. Если это не оговорено отдельно, под ресурсами подразумеваются материальные ресурсы. Под отношениями в нашей работе понимаются дружба, любовь, родство, соседство, знакомство и др. – то есть любые взаимоотношения, где стороны испытывают друг к другу некую приязнь, которая способна мотивировать любую из сторон на действие в пользу другой. Рациональность в нашей работе характеризует любое действие, при котором затрачено не больше усилий и ресурсов, нежели необходимо. Под нормой мы понимаем «обычный, признанный обязательным порядок, состояние» (Ушаков) и выделяем **морально-этические нормы** – нормы морали, принятые в обществе; **юридические нормы** – нормы, прописанные в законе, их нарушение влечет за

собой наказание уполномоченными органами; **нормы этикета; корпоративные (= профессиональные) нормы – нормы**, принятые в определенной сфере профессиональной деятельности. Под ценностями мы понимаем «явление, предмет, имеющий то или иное значение, важный, существенный в каком-н. отношении» (Ушаков), ценности подразделяются на материальные и нематериальные. В нашем обществе принято ставить нематериальные ценности выше материальных, поэтому система ценностей, обратная данной, оценивается негативно (см.: Аксиома 5).

Итак, нами были введены следующие аксиомы, описывающие интересующую нас часть внеязыковой действительности (в основном связанную с отношением к ресурсам):

- 1) Иметь ресурсы – хорошо. (Следовательно, 1.1 Терять ресурсы – плохо; 1.2 Увеличивать ресурсы – хорошо; 1.3 Сохранять ресурсы – хорошо.)
- 2) Тратить ресурсы на человека, с которым состоишь в некоторых отношениях, – хорошо.
- 3) Если тратить ограниченный ресурс R и не восполнять его, то R рано или поздно закончится или останется в недостаточном количестве.
- 4) Нарушать нормы, принятые в обществе, – плохо.
- 5) Ставить материальные ценности выше нематериальных – плохо.
- 6) Поступать рационально – хорошо.
- 7) Человеку приятно находиться в контакте с тем, что он любит.
- 8) Z – относится к высшим ценностям для X-а и Z материален $\rightarrow$ X-у приятно находиться в контакте с Z .

Пример шаблона, полученного для слова **жадный**:

Антецедент: (X хочет обладать ресурсом R [в большом количестве]);

Консеквент: (X совершает действие N, направленное на увеличение ресурса R/получение ресурса R) & (X знает, что своим действием N он нарушает нормы, принятые в обществе);

Мотивация: X хочет увеличить / заполнить ресурс R;

Оценка: Г оценивает поведение X отрицательно, так как своим действием X сознательно нарушает нормы, принятые в обществе¹.

Применение данного метода позволяет выделить тонкие семантические различия между характерологическими предикатами и дать им эксплицитные толкования. Данный метод описания характерологических предикатов был также применен Н.Ю. Лукашевич в работах [Лукашевич, 2002] [Лукашевич, 2004].

¹ См.: Аксиома 4. Нарушать нормы, принятые в обществе, – плохо.

В данной работе мы не стремимся сопоставить каждой черте характера только один шаблон поведения. В результате анализа корпусного материала выяснилось, что не во всех случаях удастся естественным образом свести разнообразие ситуаций и поступков, в которых проявляется некая черта характера, к одной имплицативной схеме, поэтому, как правило, каждая черта характера представляется набором из нескольких шаблонов, которые не являются взаимоисключающими. Ввиду нечеткости границ изучаемых лексических категорий были получены шаблоны, являющиеся более характерными, прототипическими для некоторой черты характера, обозначаемой лексемой L_1 , и периферийными для лексем $L_2 \dots L_n$. Таким образом, один и тот же шаблон поведения может дать основания для приписывания субъекту характеристик $L_1, L_2 \dots L_n$, но эти лексические категории будут различаться степенью ономаσιологической пригодности данного шаблона. Например, в результате анализа было выявлено, что слова *бескорыстный* и *щедрый* имеют один общий шаблон поведения, который для слова *щедрый* является прототипическим, а для слова *бескорыстный* периферийным.

Наш подход, основывающийся на понятии **шаблона поведения**, включает также элементы теории прототипов: в работе Пинто де Лимы «Новый подход к прототипам: прагматический взгляд» предлагается в качестве описания значения слова предъявлять «центральный» или «лучший» пример (прототип) [Пинто де Лима, 1995: 121], так как прототипы способствуют коммуникации, свободной от недопонимания, поэтому после шаблона поведения, описывающего поведение человека, обладающего определенной чертой характера, в нашей работе приводятся «лучшие примеры» – конкретные ситуации, демонстрирующие, как именно ведет себя человек.

Например, шаблон для *скупого*:

Шаблон №10. Антецедент: (X является собственником ресурса R) & (от X ожидается, что он потратит свой ресурс R на Y^2);

Консеквент: X не тратит свой ресурс на Y или тратит по минимуму;

Мотивация: X не желает тратить ресурс R на другого человека;

Оценка: Г оценивает поведение X отрицательно³.

«Лучший пример» для данного шаблона: скупой человек угощает гостей не самым лучшим из того, что имеет.

² Так как X и Y состоят в отношениях, которые предполагают, что X по собственному желанию будет отдавать часть ресурсов Y-ку.

³ См.: Аксиома 5. Ставить материальные ценности выше нематериальных – плохо.

В результате анализа данных шаблонов были получены следующие результаты. Прилагательные, обозначающие черты характера, которые проявляются в стремлении сохранить свои ресурсы (*бережливый, экономный, расчетливый, скупой, прижимистый, жадный*⁴), характеризуют человека, стремящегося не тратить собственные ресурсы. При этом *бережливый* и *экономный* не нарушают норм, принятых в обществе, в отличие от *скупого, жадного* и *прижимистого*, чье поведение в ряде случаев затрагивает интересы другого человека (скупой, жадный и прижимистый не тратят свои ресурсы на других людей, при этом жадный не дает свои ресурсы другому человеку даже на время). И бережливый, и экономный стараются тратить свои ресурсы по минимуму, постепенно, однако бережливый человек, в отличие от экономного, также накапливает свои ресурсы, увеличивает их (такой человек копит ресурсы, собирает потенциально полезные ресурсы, возвращает себе утраченные им ресурсы). Причина такого различия заключается во внутренней форме исследуемых слов: прилагательное *экономный* образовано от глагола *экономить*, который означает, по Ожегову, «1. Расходовать экономно. 2. Расходуя бережно, выгадывать на чем-нибудь», то есть тратить по минимуму имеющиеся ресурсы, но не обязательно увеличивать. При этом прилагательное *бережливый* образовано от глагола *беречь*, состоящего в деривационных отношениях с прилагательным *сберегательный*, в значении которого содержится не только идея хранения ресурса, но и его накопления.

Прилагательное *расчетливый* имеет сходные шаблоны поведения как с прилагательными, имеющими явно положительную оценку, так и с прилагательными, имеющими явно отрицательную оценку. Необходимо отметить, что в интересующем нас значении данное прилагательное употребляется достаточно редко (26 релевантных ситуаций на 500 примеров употребления лексемы), так как может быть заменено более специфицированными предикатами *бережливый, экономный, прижимистый, скупой, жадный* и др., использующимися только для обозначения отношения человека к собственности.

Прилагательные *прижимистый, скупой* и *жадный*⁵ имеют практически идентичный набор шаблонов, однако *прижимистый* отличается от остальных «степенью проявления» нежелания тратить ресурсы: если *скупой* и *жадный* отличаются любовью к деньгам и ресурсам, то

⁴ В первом значении.

⁵ В первом значении.

прижимистый только старается тратить минимальное количество ресурсов, не испытывая к ним столь сильной привязанности. Группы прилагательных *бережливый, экономный* и *прижимистый, скупой, жадный* имеют противоположную оценку, так как действия *бережливого* и *экономного* оцениваются положительно, а действия *прижимистого, скупого* и *жадного* – отрицательно. Бережливый и экономный своими действиями не нарушают никаких норм, принятых в обществе, и не наносят своими действиями ущерб ни себе, ни окружающим, а значит, тратя минимальное количество ресурсов, поступают рационально, что оценивается говорящим положительно.

Предикат *жадный* имеет два значения, соответственно две группы шаблонов, одна из которых почти целиком совпадает с шаблонами, полученными для слова *алчный*. При этом данные шаблоны также имеют пересечения с шаблонами, полученными для *корыстолюбивого* и *корыстного*. Действия алчного и жадного⁶ человека направлены на неумеренное увеличение собственных ресурсов. Само по себе увеличение ресурсов не получает негативной оценки со стороны общества, даже наоборот, поощряется им (см.: Аксиома 1.2. Увеличивать ресурсы – хорошо). Однако те методы, которыми пользуются алчный и жадный человек для увеличения собственных ресурсов, а также неумеренность их действий, получают однозначно негативную оценку со стороны окружающих.

Прилагательные *корыстолюбивый* и *корыстный* имеют практически идентичный набор шаблонов. Прилагательное *корыстолюбивый* чаще употребляется для обозначения характера человека, а прилагательное *корыстный* – для обозначения его действий, мыслей и намерений. Шаблоны, предложенные для прилагательных *корыстолюбивый* и *корыстный*, в большинстве своем совпадают с шаблонами, полученными для *жадного* и *меркантильного*, именно поэтому предикат *корыстолюбивый*, употребляющийся в основном для характеристики человека, постепенно выходит из употребления. Прилагательное же *меркантильный*, обозначающее человека, придающего большое значение материальным ценностям, наоборот, употребляется все чаще. Данные прилагательные содержат в себе однозначную негативную оценку, так как человек, обозначенный одним из вышеупомянутых слов, увеличивает свои ресурсы неумеренно, зачастую нарушая при этом нормы, принятые в обществе, либо ставит материальные ценности выше нематериальных, что также осуждается в нашем обществе.

⁶ Во втором значении.

Бескорыстный человек делает что-либо для других вне зависимости от того, последует ли за этим вознаграждение, в отличие от корыстолюбивого человека, который не будет совершать действие в пользу кого-либо, если это не принесет ему выгоды:

Консеквент шаблона для *бескорыстного*: (X совершает действие N) & (X не ожидает от Y-а ни материального, ни морального возмещения затраченных усилий на совершение N);

Консеквент шаблона для *корыстолюбивого*: (Y отдает X-у R) → (X совершает действие N).

Расточительный человек, как и щедрый, в большинстве случаев тратит свои ресурсы в большом количестве, однако щедрый человек действует в интересах других людей, тогда как расточительный тратит все свои средства на себя. Основной мотивацией щедрого человека является стремление сделать добро другим людям (альтруизм), тогда как расточительный удовлетворяет только собственные потребности (эгоизм). При этом расточительный человек не следит за своими ресурсами, уничтожает их, хотя они могут пригодиться, и не увеличивает их, когда у него появляется такая возможность, в отличие от бережливого.

Несколько полученных шаблонов являются прототипичными сразу для нескольких лексем. Например, шаблон № 1 является прототипичным для лексем *бережливый, экономный, расчетливый*:

Шаблон №1. Антецедент: (X, являющийся собственником или распорядителем ресурса R, в частности денег, хочет или должен реализовать ситуацию P) & (X знает или считает, что затрата R является необходимым условием реализации P);

Консеквент: X думает о том, сколько R было бы минимально достаточно для P, и о том, сколько R у него остается (на другие цели) & в соответствии с этим X тратит на реализацию P минимально необходимое количество R;

Мотивация: X стремится потратить как можно меньше ресурсов;

Оценка: Г оценивает поведение X положительно⁷, так как X поступает рационально⁸.

Шаблон № 17 является прототипичным для лексем *жадный2, корыстолюбивый, корыстный, меркантильный*:

Антецедент: (X хочет обладать ресурсом R [в большом количестве]);

⁷ См.: Аксиома 6. Поступать рационально – хорошо.

⁸ X поступает рационально в ситуации P = ‘осуществляя P, X затрачивает не больше усилий и ресурсов, чем это необходимо’.

Консеквент: (X совершает действие N, направленное на увеличение ресурса R / получение ресурса R) & (X знает, что своим действием N он нарушает нормы, принятые в обществе);

Мотивация: X хочет увеличить / заполучить ресурс R;

Оценка: Г оценивает поведение X отрицательно, так как своим действием X сознательно нарушает нормы, принятые в обществе⁹.

В таком случае для обозначения человека может быть выбрана любая лексическая категория, однако в языке со временем могут сформироваться определенные предпочтения, например, слово *корыстолюбивый* постепенно выходит из употребления и почти не используется для обозначения человека, ведущего себя так, как описано в шаблоне № 17.

Полученные шаблоны эксплицируют основание для установления антонимичных отношений в парах *бережливый, экономный – расточительный; скупой – расточительный; бережливый – скупой; бескорыстный – корыстный, корыстолюбивый; скупой, жадный, корыстолюбивый – щедрый* и квазисинонимичных отношений в парах *экономный – бережливый, скупой – прижимистый, скупой – жадный¹, корыстолюбивый – жадный, алчный – жадный², корыстный – корыстолюбивый, корыстолюбивый – меркантильный*.

Для каждой лексемы, помимо шаблона поведения, также было выработано толкование, приближенное к словарным:

Алчный 'X – алчный' = 'X стремится увеличить свои ресурсы любым путем, зачастую за счет ресурсов других людей, нарушая при этом нормы, принятые в обществе. В ситуации выбора такой человек предпочтет вариант, который принесет ему больше ресурсов'.

Бережливый 'X – бережливый' = 'X тратит минимальное количество ресурсов, необходимое для осуществления чего-либо или не тратит их совсем, если не испытывает необходимости в этих тратах. Он не уничтожает имеющиеся ресурсы и делает все для того, чтобы они прослужили как можно дольше и были использованы полностью. При любой удобной возможности он увеличивает их количество'.

Бескорыстный 'X – бескорыстный' = 'X выполняет действие, необходимое другому человеку, и не требует возмещения затраченных им усилий'.

Жадный 1 'X – жадный' = 'в ситуации траты ресурсов X предпочтет сохранить их, не тратить их ни на удовлетворение собственных потребностей, ни на других людей, несмотря на то что эти траты признаются

⁹ См.: Аксиома 4. Нарушать нормы, принятые в обществе, – плохо.

обществом в большинстве случаев необходимыми, а потому их отсутствие порицается окружающими’.

Жадный 2 ‘Х – жадный’ = ‘Жадный человек придает большое значение материальным ценностям и в любой ситуации и любыми способами стремится заполучить как можно больше ресурсов, несмотря на то что это может нанести ущерб ему или окружающим либо ведет к нарушению норм, принятых в данном сообществе’.

Корыстный, корыстолюбивый ‘Х – корыстолюбивый/корыстный’ = ‘в любой ситуации Х руководствуется только собственной выгодой, предпочитая материальные блага всем остальным ценностям; он стремится использовать любую возможность, чтобы добыть или преумножить их, несмотря на то, что такое поведение может нанести ущерб окружающим и нарушает имеющиеся в данном обществе нормы’.

Меркантильный ‘Х – меркантильный’ = ‘Х в любой ситуации думает прежде всего о материальных ресурсах; при выборе курса действий он руководствуется тем, сколько материальных ресурсов он может получить при той или иной альтернативе; он стремится увеличивать свои ресурсы, нередко при этом нарушая нормы, принятые в обществе’.

Прижимистый ‘Х – прижимистый’ = ‘Х тратит минимальное количество ресурсов как на себя, так и на других, несмотря на то что это нарушает нормы, принятые в обществе, он не тратит свои ресурсы на то, в чем не нуждается, и стремится выручить за то, что ему принадлежит, как можно больше ресурсов’.

Расточительный ‘Х – расточительный’ = ‘Х не проявляет заботу о том, чтобы в его собственности или в его распоряжении всегда имелось достаточное количество ресурсов, он легко тратит свой ресурс, не думая о том, сколько ресурсов было бы минимально достаточно для данной траты, легко расстаётся со своим ресурсом’.

Расчётливый ‘Х – расчётливый’ = ‘Х тратит минимальное количество ресурсов, необходимое для осуществления чего-либо, или не тратит их совсем, если не испытывает в этом необходимости, в любой ситуации думает прежде всего о материальных ресурсах’.

Скупой ‘Х – скупой’ = ‘Х тратит минимальное количество ресурсов (либо не тратит их совсем) как на себя, так и на других, несмотря на то что это может привести к негативным последствиям для него самого либо нарушает нормы, принятые в обществе’.

Щедрый ‘Х – щедрый’ = ‘Х тратит свои ресурсы на других людей в большом количестве (в том числе на общество в целом), не преследуя при этом собственных эгоистических целей’.

Экономный ‘Х – экономный’ = ‘Х тратит минимальное количество ресурсов, необходимое для осуществления чего-либо, или не тратит их совсем, если не испытывает в этом необходимости’.

Список литературы:

- Лукашевич Н.Ю.* Когнитивно-семантический анализ предикатов, обозначающих черты характер человека: Дисс. ... канд. филол. наук. М., 2004. 208 с.
- Лукашевич Н.Ю.* Характерологические предикаты и шаблоны поведения. // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2002. № 5. С. 131–140.
- Мартемьянов Ю.С., Дорофеев Г.В.* Логический вывод и выявление связей между предложениями в тексте. // Машинный перевод и прикладная лингвистика. М., 1969. Вып.12. С. 36–60.
- Мартемьянов Ю.С., Дорофеев Г.В.* Опыт терминологизации общелитературной лексики (о мире тщеславия по Ф. де Ларошфуко) // Вопросы кибернетики: Логика рассуждений и ее моделирование. М., 1983. С. 43–98.
- Падучева Е.В.* Динамические модели в семантике лексики. М., 2004. 609 с.
- Пинто де Лима Ж.* Новый подход к прототипам: прагматический взгляд. // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1995. № 5. С. 117–125.
- Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1935.
- Федосеева Д.В.* Сопоставительный когнитивно-семантический анализ прилагательных группы жадный (на материале русского и немецкого языков): Курсовая работа. М., 2014.
- Pinto de Lima J.* Exploring the Concept of Paradigm in Lexical Semantics: An Experiment on Portuguese and German Evaluative Words. Duisburg, 1993.

Сведения об авторе: Федосеева Диана Владимировна, аспирант кафедры теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: dia1214@yandex.ru

П.В.Гращенков

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РУССКИХ СЛОЖНЫХ СЛОВ¹

В проектах, связанных с автоматической обработкой текста, мы регулярно сталкиваемся с проблемой анализа неизвестных слов, до 75% которых приходится на сложные слова. Правила образования сложных слов в русском языке прозрачны и более чем продуктивны. В статье описываются основные морф(он)ологические правила образования сложных слов в русском языке и описан алгоритм обработки сложных слов на основе установленных правил. Мы также предлагаем прототип такого алгоритма, реализованный автором на языке Питон и имеющий на данный момент значения полноты и точности 0,52 и 0,87 соответственно. Статья завершается описанием дальнейшей работы по компьютерной реализации предложенного алгоритма анализа сложных слов.

Ключевые слова: автоматическая обработка текста, морфологический разбор, сложные слова; системы анализа текста, основанные на правилах.

Text processing projects regularly face a problem of unknown word analysis. Up to 75% of unknown words in Russian are compounds. In Russian, the rules of compound derivation are clear and very productive. The paper first proposes the list of base morpho(n)ological rules underlying compound formation in Russian. Then we develop the rule-based algorithm that capture all the main types of Russian adjectival compounds. We also developed a Python-based prototype of such algorithm having approximately 0.52 recall and 0.87 precision for the moment. We end up with the roadmap of the full implementation of rule-based analysis of compounds for Russian.

Key words: text processing, morphological parsing, compounds, rule-based algorithms.

1. Актуальность задачи²

Все системы автоматического анализа текста сталкиваются с проблемой неизвестных слов (т. е. слов, которых нет в морфологических словарях и которые вследствие этого препятствуют корректному автоматическому анализу) [Segalovich, 2003]. Каждому поступившему на вход токену³ (словоформе, числовой последовательности, знаку препинания и т. д.)

¹ Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 16-18-02003.

² Ряд идей на начальных этапах разработки был обсужден с А. А. Оленевым (МГТУ им. Баумана).

³ Токен – «слово» в автоматическом анализе текста, наряду со словами естественного языка может соответствовать также цифрам, спец. символам и т.д.

должна быть приписана релевантная морфологическая информация. Это объясняется не только потребностью в анализе данного конкретного токена, но и тем, что один токен, лишенный (корректно приписанных) тегов⁴, может быть причиной неправильного разбора всего предложения в целом.

По некоторым оценкам сложные слова составляют около 75% всех известных слов⁵. Они появляются в современном русском языке более чем регулярно:

(1)⁶

А вот по мне среднескоростной и ритмичный, что аж я под него танцую и при этом не устаю, так это вот этот альбомчик: Merlin – Brutal Constructor.

В порывах нервных всплесков, и в связи с кучей недавних событий, я решил написать негодующе-гневный текст.

Мне повыписывали витаминов, железо и йодосодержащий препарат.

Подобная продуктивность приводит к проблемам при автоматическом анализе сложных слов. Для того чтобы адекватно анализировать сложные неологизмы, можно применять несколько подходов. Один из них – словарный: при нем однажды встреченные неизвестные слова, опознанные как сложные, вносятся в словарь наряду с уже имеющимися там элементами. Подобный подход применяется в ряде систем; его минусом, однако, является «запоздалое реагирование»: новое слово не может быть правильно проанализировано сходу.

Существует и другой метод, при котором система заранее «обучается» распознаванию неологизмов на имеющемся корпусе, содержащем сложные слова. Обучение проводится при помощи стандартных статистических моделей, на вход которым подаются релевантные (с точки зрения разработчиков) признаки: длина слова, его буквенный состав, окружение и т. д.

Чрезвычайная продуктивность процесса образования сложных слов приводит к чрезмерному увеличению размера словаря при использовании словарного метода анализа морфологии либо к непропорциональному росту корпуса при статистическом корпусном подходе.

⁴ Теги – служебная информация, маркирующая словоформы при автоматическом анализе, передает сведения о части речи, грамматических признаках словоформы и т.д.

⁵ Данные предоставлены разработчиками компании InfoQubes.

⁶ Примеры собраны при помощи поисковых систем Яндекс и Google.

2. Языковой материал

Сделаем несколько оговорок о терминологии и языковом материале, для автоматического анализа которого создана описываемая нами система.

Под сложными словами мы будем понимать далее такие дериваты, в состав которых входит более одного корня – независимо от (наличия и способов) дальнейшего маркирования словообразовательными единицами, ср.: «Словоформы со сложной основой обладают разнообразным морфным строением; количество их типов потенциально не ограничено... R-i-R-f (*ярк-о-син-ий...*); R-s-i-R-f (*свет-л-о-зелен-ый*); R-s-i-R-s-f (*желез-н-о-дорож-н-ый*); R-i-R-s-f (*быстр-о-ход-н-ый...*); ...pr-R-i-R-s-s-f (*о-плод-о-твор-я-ви-ий...*); ...(сам-о-опыл-я-ви-ий-ся); R-i-R-i-pr-pr-R-s-s-s-f (*пыл-е-благо-не-про-ниц-а|]-ем-ость-...*)» [АГ-80: §189]. «Словоформы со сложной основой» (сложные слова в нашей терминологии) будут интересовать нас именно потому, что они являются регулярным источником новых (неизвестных морфологическому парсеру) слов.

Аналогично со сложными словами в том понимании, которое представлено выше, мы будем анализировать и дериваты, традиционно относимые к приставочным: *настенный*, *привокзальный* и т. д. Основные причины, по которым приставочные дериваты, имеющие коррелят в виде предложной группы (*на стене*, *при вокзале*), будут объединены со сложными словами, следующие. Во-первых, некоторые из интересующих нас слов имеют в качестве первого морфа единицы, чей статус отличается от *на-*, *по-*, *под-* и т. д. Так, единицы типа против (*противоатомный*, *противоболевой*) и около (*околоземный*, *окологлоточный*) могут, например, нести на себе дополнительное ударение, что невозможно даже для двусложных приставок типа *пере-*. Явно приставочные морфы типа *пере-* или *рас-* мы, напротив, не будем относить к сложным словам – они не могут быть представлены в виде предложной группы. Второй причиной нашего решения является прозрачность семантики – в интересующих нас сложных словах значение деривата всегда восходит к значению его частей (*настенный* – *тот, который на стене*, *привокзальный* – *тот, что при вокзале*).

Для начального этапа разработки были выбраны сложные прилагательные. Во-первых, для единиц с адъективными флексиями качество морфологического анализа будет наиболее высоким – адъективные флексии менее других омонимичны с флексиями иных лексических категорий в русском языке. Таким образом, на данном этапе легче всего будет

сосредоточиться непосредственно на качестве разбора сложного слова, не ставя решение проблемы парсинга сложных слов в зависимость от качества обработки флективной морфологии. Во-вторых, прилагательные демонстрируют наибольшее количество моделей образования сложных слов.

Все сказанное делает прилагательные наиболее приоритетным кандидатом для первого подхода к парсингу сложных слов по следующим причинам: а) большой охват потенциально проблемного материала; б) после доведения системы анализа прилагательных до должного уровня качества расширить алгоритм на сложные слова других категорий представляется задачей чисто технической. Образование сложных существительных ограничено по сравнению с прилагательными, глаголы – еще менее продуктивны, см. [Тагабилева, 2012], [Пазельская, 2013].

В данной работе мы предлагаем систему анализа сложных слов, основанную на правилах. Мы обсудим общие правила образования сложных слов в русском языке (на примере прилагательных), а затем опишем осуществленный нами вариант их компьютерной реализации и его преимущества по сравнению с применяемыми на сегодня алгоритмами.

3. Правила организации сложных слов в русском языке

3.1. Морфемные границы

Граница между первой и второй основой сложных слов орфографически может соответствовать интерфейсу либо, в случае его отсутствия, проходить просто по основам (полным или усеченным). Обратимся к [АГ-80: §775], где перечисляются возможные в сложных прилагательных интерфейсы, учтем также написание вариантов слитно или через дефис:

(2)

а. о / е: *долгоиграющий, древнеримский*;

б. о / е с дефисом: *бело-розовый, советско-монгольский, сине-зеленый*;

с. и (-ск, -ук): *греческиримский, иронически-оптимистический*;

д. у(х(ь)), ex, и, а: *двуплановый, двухтомный, двухъярусный, трехэтажный, десятиметровый, сорокаметровый*;

е. нулевой интерфейс: *хлоруксусный, кремнийорганический, настенный*;

ф. нулевой интерфейс с дефисом: *электронэлектронный, рязань-воронежский*.

Детальное различение границ сложного слова в нормированных (прошедших редактирование) русских текстах позволяет составить гипотезы о внутренней организации сложного слова уже на этапе разбиения на основы. Так, дефис соответствует сочинительной связи (*советско-монгольский проект, рязань-воронежский информационный портал*); интерфикс *-и*, употребленный после *-ск / -цк*, также говорит о сочинении (*самый иронически-оптимистический фильм*); специальным образом маркируется первая основа – числительное. Наиболее проблемными с точки зрения разбиения на основы представляются случаи бездефисных слов с *о / е*, так как они омонимичны между подчинительной (*долгоиграющая пластинка*) и сочинительной связью (*грекоримская борьба*), а также случаи типа *настенный* или *хлоруксусный*. Предложные сочетания тем не менее реализованы в нашем алгоритме, в то время как разбор сложных слов типа *хлоруксусный* пока не включен в алгоритм в силу его ресурсоемкости и невысокой продуктивности данного шаблона в языке.

3.2. Отношения между основами сложных слов

В отечественной лингвистике, где словообразование на определенном этапе было выделено в отдельное направление, анализу сложных слов посвящено достаточное количество исследований, см. прежде всего работы Е.А. Земской [Земская, 1992], [Земская, 2011], а также статью [Федорова, 2015], типологически ориентированное исследование И.А. Муравьевой [Муравьева, 2004] и т. д. Ниже мы будем ориентироваться на материал [АГ-80], иногда дополняя его примерами из Интернета.

Как показывают примеры в Таблице (3), в основе сложных прилагательных лежат регулярные словообразовательные модели, соответствующие основным типам синтаксических проекций: именной группе, группе глагола, группе прилагательного, сочиненным составляющим и предложной группе. Следующая таблица суммирует допустимые и недопустимые типы составляющих, на основе которых строятся сложные прилагательные:

Таблица (1). Синтаксические источники сложных прилагательных

	Тип проекции		Пример
именная группа (ИГ)			
a.	с прилагательным	ок	<i>высокогорный, равнобедренный</i>
b.	с количественным числительным	ок	<i>двухъярусный, трехэтажный</i>
c.	с порядковым числительным	ок	<i>первоклассный, второсортный,</i>

	Тип проекции		Пример
d.	с квантором	?	<i>всегодний, каждодневный</i>
e.	с генитивным зависимым	*	<i>*отцедомный, *ведководный</i>
f.	с лексическим зависимым	*	<i>*детеподарочный, *музыкострастный</i>
глагольная группа (ГГ)			
g.	с прямым объектом	ok	<i>бумагоделательный, звукоспроизводящий</i>
h.	с инструментом / средством	ok	<i>электроосветительный, газоснабжающий</i>
i.	с лексическим зависимым	*	<i>*врагогрозящий, *нищеподающий</i>
j.	с обстоятельством образа действия	ok	<i>долготерпеливый, здравомыслящий</i>
k.	с локативным участником	ok	<i>мореходный, водоплавающий</i>
группа прилагательного (ГП)			
l.	с наречием-интенсификатором	*	<i>*оченьинтересный, *совсемпустой</i>
m.	с лексическим зависимым	*	<i>*витаминобогатый, *отцепохожий</i>
n.	с предложным зависимым	*	<i>солнцестойкий, влагозависимый</i>
сочиненная группа			
o.	прилагательные, причастия	ok	<i>сдавленно-сдержанный, сиренево-желтый</i>
предложная группа (ПГ)			
p.	предлог и имя	ok	<i>околонаучный, послеполуденный</i>

Прокомментируем некоторые из не / возможных моделей. В случае именных групп наиболее продуктивны модели с прилагательными и числительными и не встречаются модели с зависимыми именами в генитиве или косвенном (лексическом падеже). В случае глагола частотны образования с прямым объектом, обстоятельством образа действия и локативными участниками. Подлежащие зависимые основы в сложных прилагательных запрещены, так как субъектом признака / состояния / действия, передаваемого прилагательным, всегда является существительное, которое им определяется. Также запрещены и лексические зависимые глагола. Запрет на лексические зависимые вообще представляется достаточно универсальным, ср. (f), (i), (m). В случае прилагательных единственная продуктивная модель – инкорпорация предложных зависимых (с опущением предлога); важно отметить, что список прилагатель-

ных в отличие от глаголов здесь достаточно ограничен. Наконец, сочиняться могут любые прилагательные и причастия (удовлетворяющие релевантным для говорящего в данной ситуации прагматическим ограничениям). Конструкция «предлог + имя» также представляется высокопродуктивной.

Если учитывать все перечисленные выше ограничения, круг возможных потенциальных слов существенно сужается. Таким образом, эксплицитно сформулированные запреты в случае автоматического анализа помогают значительно снизить количество перебираемых вариантов и, следовательно, заметно снизить время работы системы и повысить ее качество.

4. Система анализа сложных слов ReLex⁷

4.1. Альтернативные системы

Развитые системы автоматической обработки текста, используемые, например, в поисковых машинах Яндекс или Google или программе Microsoft Word, предполагают обязательную возможность разбора сложных слов. Так, в (3) ниже не предполагается поиска точной формы, встретившейся в запросе, т. е. Яндекс анализирует внутреннюю форму слова и в выдачу попадают примеры со словами *скорый* и *слепить*. В то же время в (4), при ограничении поиска точной формой (запрос с восклицательным знаком), в результаты попадают лишь примеры со словом *скорослепленный*. Результат работы морфологического анализатора можно наблюдать по различию в выдаче:

(3) (Яндекс)

Запрос: *скорослепленный*

Результат:

Развитие Деревья художественных (лепка) Тема: «Божьих коровок скорее слепите! Умений наши от тли спасите!»

...

(4) (Яндекс)

Запрос: *!скорослепленный*

Результат:

До конца досмотреть я так и не смогла. «Скорослепленный» фильм, не стоит терять на него время.

...

⁷ Recursive Lexicon, Real Lexicon, etc.

Сразу отметим, что Яндекс делает характерную для поисковых систем ошибку: по основе *скор* он восстанавливает прилагательное *скорый*, система допускает «перепроизводство» (overgeneration) вариантов. В случае применения правильного алгоритма анализа сложных слов таких ошибок можно избежать.

Платформа ABBYY Compreno⁸ также обладает развитой системой анализа сложных слов, позволяющей, в частности, устанавливать семантические роли и отношения внутри композитов и т. д.

Поскольку все известные нам на данный момент системы анализа русских сложных слов разработаны в рамках коммерческих проектов, провести относительную оценку качества работы достаточно затруднительно.

Одна из задокументированных доступных разработок представлена в [Loginova-Clouet & Daille, 2013]. Представленный алгоритм, предназначенный, по мнению авторов, для анализа сложных слов на разных языках, достигает достаточно высокой точности (до 0,93, от подсчета полноты авторы отказываются), однако использует при этом как словарь, так и корпус. Другим фактором, обычно замедляющим работу системы, является перебор всех возможных кандидатов в основы и «взвешивание» их с учетом расстояния Левенштейна относительно известных похожих слов. Утверждается также, что ряд принципов анализа сложных слов универсален; в частности, предлагается анализировать немецкие и русские композиты при помощи одних и тех же правил. Очевидно, что это верно не всегда. Направление ветвления внутри композитов (релевантное для установления семантических отношений, не производимого в цитируемой работе) в немецких и русских композитах действительно совпадает, а вот степень допустимой рекурсии – нет. Немецкие композиты с зависимой структурой ветвятся рекурсивно (*kiloelectronvolt*), в то время как русские сложные слова, в которых выделяются главная и зависимая основы, не обладают такой возможностью (**многотысячевольтный*).

Как и в случае других проблем автоматического анализа текста, большее количество подходов к проблеме сложных слов основываются на статистических и корпусных методах. Например, в [Koehn & Knight, 2003] предлагается посчитывать относительную частотность потенциальных частей сложных слов и на основании такого ранжирования определять границы внутри композитов. Для анализа немецких композитов

⁸ <http://www.abbyy.ru/isearch/compreno/>

предлагается также использовать параллельные тексты на английском языке, где переводные эквиваленты немецких основ могут быть представлены полноценными английскими словами, – это должно увеличить точность распознавания.

Привлечение данных о частотности потенциальных составных частей композитов имеет свои преимущества. Как показано в [Popović, Stein & Ney, 2006], информация о частотности отдельных частей слова помогает правильно определить границы частей сложных слов в немецком языке, где композиты могут состоять из трех и более частей. «Грубое» разбиение на максимально мелкие части немецких сложных слов часто оказывается ошибочным. Очевидно, однако, что для русского языка такая проблема не актуальна.

У чисто статистических подходов есть ряд недостатков. Во-первых, все они работают «вслепую» – например, определяют морфемные границы, не имея представления о морф(он)ологической структуре сложного слова. Во-вторых, с помощью статистических алгоритмов затруднительно производить анализ семантических отношений внутри композитов. Лишь информация о синтаксическом и семантическом устройстве композитов может помочь определить тип семантических отношений между их частями, в противном случае можно надеяться лишь правильно «нащупать» морфемную границу. Наконец, приемлемые значения полноты (recall) анализа предполагают непропорциональное увеличение обучающего корпуса.

4.2. Принципы работы системы анализа сложных слов

Полноценная система анализа композитов должна уметь извлекать следующую информацию: i) определять морфологические признаки словоформы (т. е. производить POS⁹-tagging); ii) разбивать сложное слово по частям; iii) определять семантические отношения между отдельными частями. Лишь некоторые системы анализа сложных слов (например, ABBYY Compreno) наделены этим функционалом, большинство систем ограничивается задачами 2) и 3). Представленная нами система ReLex также способна производить анализ семантических отношений.

Для автоматического определения внутренней структуры сложных слов мы используем представленный выше в таблице (1) перечень син-

⁹ Part-Of-Speech tagging, часто подразумевает также приписывание всей релевантной морфологической информации, т. е. определение значения падежа, числа и других словоизменительных признаков.

таксических отношений внутри композитов. После обнаружения составных частей сложного слова, на основании их частеречной принадлежности и таблицы (1) устанавливается тип семантических отношений между основами (определительные, обстоятельственные, аргументные и т. д.).

Полный анализ происходит по следующей схеме:

(5)

- 1) определение того, является ли словоформа прилагательным¹⁰;
- 2) поиск лексемы в словарях прилагательных;
- 3) поиск границ отдельных частей сложной лексемы;
- 4) анализ внутренней структуры сложной лексемы.

Шаги 1) и 2) достаточно тривиальны, остановимся вкратце на 3) и 4).

Анализ морф(он)ологической структуры необходим для выделения кандидатов в сложные слова. В случае числительного и существительного (*двухъярусный*) или сочиненной структуры (*бело-розовый*) граница между первой и второй основами определяется без труда.

При анализе всех других сложных слов на первом этапе выделяются пары-кандидаты на поиск первой и второй основы (*среднескоростной* → *средн*; *скорост*), а затем каждая из пар проверяется в словаре. Предварительное разбиение на основы помогает ускорить обход словаря.

Словарь при простановке морфемной границы оказывается целесообразным использовать лишь для композитов с участием предлогов (настенный), когда количество и буквенная длина первых основ незначительны.

При разбиении по соединительному гласному *о / е* в ряде случаев возникает проблема омонимии – у некоторых прилагательных (*среднескоростной*) необходимо выделять множество пар-кандидатов в первую и вторую основу (*среднескоростной* → *средн-скорост*, *среднеск-рост*). На этом же этапе применяется анализ слоговой структуры потенциальных кандидатов, что позволяет исключить из разбора фонологически невозможные единицы (**ср-скорост*, **среднескор-ст*).

Еще одной проблемой является омонимия при анализе предлогов (*по-слепростудный* → **по-слепростудный*, *после-простудный*), невозмож-

¹⁰ При распространении алгоритма на существительные необходимо будет расширить набор именных парадигм. Из-за большей омонимичности именной морфологии по сравнению с адъективной возможно потребуется усложнение логики анализа, в частности, введение «забегания вперед» (look ahead), призванного строить гипотезы о POS-тегах на основании информации о второй части сложного слова.

ные кандидаты здесь отбрасываются после поиска в словаре второй основы.

Таким образом, «нащупывание» границы слов по соединительному гласному улучшает качество и снижает время обработки. Альтернативный нашему алгоритм, используемый, например, в [Koehn & Knight, 2003], состоит в том, чтобы искать в составе сложного слова все словоформы, входящие в тестовый корпус и / или словарь. Очевидно, что время (и, возможно, качество) процессинга в этом случае снижается из-за появления лишних основ-кандидатов, ср.: *ягодосборный* → я, год, с, бор и т. п.

Еще один пример ошибок при игнорировании правил морфемной границы – система проверки орфографии программы Microsoft Word, которая для словоформы *скорослепленный* наряду со *скоро-слепленный* предлагает вариант *скор-ослепленный*.

Следующий за морф(он)ологическим разбором анализ отношений между основами реализует описанные выше модели устройства сложных прилагательных, см. Таблицу (1). В данной части системы также реализован учет ограничений на структуру русских сложных слов. Например, система сразу пытается определить, сочинительной или подчинительной связью соединяются части сложного слова. Если связь подчинительная, ищется лишь одна первая основа, при сочинении может быть более двух частей (*сине-бело-голубой* и т. п.)

Учет информации о морфонологической и морфосинтаксической организации сложных слов, таким образом, помогает улучшить качество и отсеять ненужные варианты.

4.3. Инструменты, примеры работы и оценка текущего уровня качества

Прототип системы реализован в программной среде Python версии 3.5.0 и использует встроенные библиотеки, а также модуль nltk [Bird, Loper & Klein, 2009]. В качестве лексикона используется компьютерная версия словаря [Зализняк, 1977], дополненного лексической и грамматической информацией.

Ниже мы приводим некоторые примеры разбора отсутствующих в словаре сложных прилагательных:

(6)

коротководный ==> ИГ, прилагательное «короткий» и существительного «вода»;

трехъядерный ==> ИГ, числительное «три» + существительное «ядро»;
сдавленно-угрожающий ==> сочинение определений «сдавленный» и «угрожающий»;
послепростудный ==> ПГ, предлог «после» и существительное «простуда»;
странноиграющий ==> ГГ, наречие «странно» и глагол «играть».

На данном этапе работы над системой качество простановки POS-тегов, т. е. определение того, что а) перед нами неизвестное слово и б) данное слово является прилагательным в определенном падеже, числе и роде, близко к оптимальному. Иными словами, практически все неизвестные прилагательные определяются как таковые. Этого не так сложно добиться, используя стемминг¹¹ адъективных флексий.

Для тестирования качества разбиения сложных прилагательных на основы был использован массив сложных слов, составленный из запросов пользователей в одной из коммерческих систем извлечения информации, дополненный искусственными примерами. Полнота (recall) системы на выборке, включающей около 500 таких сложных прилагательных, составила 0,4. На другой выборке, состоящей из 50 прилагательных, полнота оказалась равна 0,52.

Для оценки качества установления семантических отношений между частями сложных слов было использовано несколько десятков сложных прилагательных, составленных специально для этой задачи (предыдущая выборка страдала отсутствием разнообразия семантических отношений). Точность (precision) извлечения отношений составила 0,87¹². Полнота (recall) извлечения семантических отношений – 0,52.

5. Предварительные результаты и дальнейшее развитие системы

Реализованный нами алгоритм, как мы полагаем, позволяет говорить об эффективности систем (морфологического и синтаксического) анализа, использующих лингвистические правила. Использование лингвисти-

¹¹ Стемминг – алгоритм морфологического анализа, сводящийся к отсечению флексий. Стемминг часто используется в случае, когда словоформу невозможно найти в словаре.

¹² Правильными считались случаи, при которых для одного сложного слова среди нескольких предложенных системой вариантов основ и отношений находились верные. Отрицательным результатом (false positive) для точности, соответственно, считалось отсутствие верно распознанных семантических отношений.

ческих правил позволяет создать платформу, обладающую «универсальной сферой действия»: она демонстрирует приемлемые значения полноты (recall) на произвольном тексте без специального предварительного обучения. Более того, такая система избавляет от необходимости ресурсоемкого поиска по словарям и / или составления чрезмерно больших корпусов. Еще одним важным преимуществом разработанного алгоритма является возможность извлечения семантических отношений.

Последующая работа предполагает доведение системы до уровня промышленного использования, прежде всего дальнейшее улучшение качества и производительности. Также планируется добавление вывода эксплицитной семантической информации (что отчасти уже реализовано), а также другие работы по улучшению качества, предполагающие, в частности, учет информации об ударении и т. п.

Представляется возможным расширение функционала системы на случай «развернутого» сочинения в сложных словах (*двух- и четырехко-лесный*), хештегов (*#футбольныйматч*, *#детирешают*), а также сложных слов, состоящих из двух или более заимствованных основ (*task-менеджер*, *десижнмейкер*).

Список литературы

- АГ-80: *Шведова Н.Ю.* (отв. ред.). Грамматика современного русского литературного языка. Т. I–II, М., 1980.
- Зализняк А. А.* Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. М., 1977.
- Земская Е.А.* Словообразование как деятельность. М., 1992. 221 с.
- Земская Е.А.* Современный русский язык. Словообразование. М., 2011. 323 с.
- Муравьева И.А.* Типология инкорпорации: Дисс. ... докт. филол. наук. РГГУ. М., 2004. 286 с.
- Пазельская А.Г.* Инкорпорация в глагольных формах в русском языке // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Междунар. конф. «Диалог» (Бекасово, 29 мая – 2 июня 2013 г.) / Ред.: В.П. Селегей и др. Вып. 12 (19). Т. 1. М., 2013.
- Тагабилева М.Г.* О некоторых моделях образования сложных слов со значением *nomina agentis* в русском языке // Материалы Девятой Конференции по типологии и грамматике для молодых исследователей. СПб., 2012. С. 209–214.
- Федорова Л.Л.* Сложные прилагательные неотчуждаемой принадлежности в русском языке // Вестник РГГУ. Сер. «История. Филология.

- Культурология. Востоковедение». 2015. № 8; Московский лингвистический журнал. 2015. Т. 17. Вып. 2. С. 61–74.
- Bird S., Loper E., Klein E.* Natural Language Processing with Python. Sebastopol, etc. 2009. 504 p.
- Koehn P., Knight K.* Empirical Methods for Compound Splitting: Proceedings of EAC-2003. Budapest, 2003. P. 187-914.
- Loginova-Clouet E., Daille B.* Multilingual Compound Splitting Combining Language. Dependent and Independent Features // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии... Вып. 12 (19). М., 2013. С. 455–463.
- Popović M., Stein D., Ney H.* Statistical Machine Translation of German Compound Words // Proceedings of the 5th International Conference on Advances in Natural Language Processing. FinTAL'06. Berlin; Heidelberg, 2006. P. 616–624.
- Segalovich I.* A Fast Morphological Algorithm with Unknown Word Guessing Induced by a Dictionary for a Web Search Engine // Proceedings of the International Conference on Machine Learning; Models, Technologies and Applications. MLMTA'03. Las Vegas, 2003. P. 273–280.

Сведения об авторе: Гращенков Павел Валерьевич, канд. филол. наук, старший преподаватель отделения теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, научный сотрудник Института востоковедения РАН, старший научный сотрудник Московского педагогического государственного университета. E-mail: pavel.gra@gmail.com.

ПРОБЛЕМЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ СИТУАЦИЙ В ИНОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДА РОМАНА М.АБУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» НА ФИНСКИЙ ЯЗЫК

Прецедентные ситуации, как и прецедентные феномены в целом, являются частью картины мира и выступают маркерами социокультурной идентичности. В силу этого художественные произведения, в которых авторы апеллируют к прецедентным феноменам, представляют наибольшие сложности при переводе из-за необходимости их адаптации не только с лингвистической, но и с социокультурной точки зрения. В данной статье рассматриваются проблемы репрезентации прецедентных ситуаций в инокультурном контексте. В частности, выделяются факторы, которые влияют на выбор переводческих приемов при адаптации прецедентных феноменов, и рассматриваются конкретные примеры из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» в сопоставлении с переводом данных фрагментов на финский язык.

Ключевые слова: прецедентные феномены, прецедентная ситуация, финский язык, проблемы перевода, Булгаков.

The precedent situations, as well as precedent phenomena in general, are part of the linguistic world-image and act as markers of socio-cultural identity. Therefore novels, which appeal to precedent phenomena, are difficult for the translation because they must be adapted not only from the linguistic, but also from the socio-cultural point of view. The purpose of the article is to analyze problems of representation of the precedent situations in transcultural context. In particular, we're trying to identify factors that influence the choice of translation methods in the adaptation of precedent phenomena, and to discuss specific examples from the novel «The Master and Margarita» by M. Bulgakov in the translations of these fragments into Finnish.

Key words: precedent phenomena, precedent situation, Finnish, translation problems, Bulgakov.

Каждый человек обладает определенным набором знаний и представлений, которые носят индивидуальный характер, и эти наборы существенно отличаются у разных людей: «Носитель языка сознает, что некоторые из аспектов его памяти имеют заведомо индивидуальный, сугубо личный характер; некоторые другие – принадлежат более или менее уз-

кому и четко очерченному кругу “своих”, разделяющих тождественный опыт <...>; о третьих с уверенностью можно сказать, что они имеют хождение в широкой и неопределенной по составу среде» [Гаспаров, 1996: 99–100]. Однако у всех индивидов, воспитанных в одной культуре и являющихся носителями одного языка, есть некое общее ядро знаний и представлений, в которое входят феномены, хорошо известные каждому человеку и не требующие комментариев, – такие феномены и называются прецедентными.

Впервые определение прецедентного текста дал Ю.Н. Караулов: «Назовем прецедентными – тексты, (1) значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, (2) имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие, (3) обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [Караулов, 2010: 216]. Караулов отмечает, что к прецедентному тексту не относится, например, заявление об отпуске, которое, несмотря на принципиальную повторяемость, не является эмоционально и познавательно значимым. Также к прецедентным текстам, по мнению Караулова, нельзя относить публикации в СМИ – во-первых, из-за кратковременности жизни таких текстов в языковом сообществе, во-вторых, из-за отсутствия всеохватности: всегда найдутся носители языка, которые не знакомы с данной публикацией, что и помешает такому тексту стать прецедентным.

В.В. Красных предлагает расширить определение Ю.Н. Караулова и применить его к прецедентным феноменам в целом: «**Прецедентные феномены** – это феномены, 1) хорошо известные всем представителям национально-лингво-культурного сообщества; 2) актуальные в когнитивном (познавательном и эмоциональном) плане; 3) обращение (апелляция) к которым постоянно возобновляется в речи представителей того или иного национально-лингво-культурного сообщества» [Красных, 2002: 58].

Прецедентные феномены могут быть вербальными и невербальными: к первым относятся продукты речемыслительной деятельности, ко вторым – произведения живописи, скульптуры, архитектуры, музыкальные произведения. Невербальные прецедентные феномены являются потенциально вербализуемыми: хранящиеся в сознании человека образы «Демона» Врубеля или «Лунной сонаты» Бетховена могут быть активированы словесным упоминанием о них.

Среди вербальных прецедентных феноменов В.В. Красных выделяет *прецедентную ситуацию, прецедентный текст, прецедентное имя и прецедентное высказывание* [Красных, 2002: 60–114]. В данной статье мы хотели бы подробнее остановиться на проблеме интерпретации и репрезентации прецедентных ситуаций в инокультурном контексте.

Прецедентная ситуация – это некая эталонная ситуация, имевшая место в реальной действительности (Ледовое побоище, осада Нумансии, Ватерлоо) или изображенная в произведении искусства (бой часов в полночь, борьба с ветряными мельницами). Означающим прецедентной ситуации может быть прецедентное имя (Смутное время, Колумб) или прецедентное высказывание («Поехали!», «А все-таки она вертится!»), а также некий объект, сам по себе прецедентным феноменом не являющийся, но выступающий как атрибут прецедентной ситуации (яблоко как атрибут ситуации соблазнения Адама и Евы). Прецедентные ситуации могут быть универсально-прецедентными (30 сребреников, открытие Америки) и национально-прецедентными. На последних остановимся подробнее, вспомнив такие примеры, как *1937 год* в русском национально-лингво-культурном сообществе; *Mannerheim-linja* («линия Маннергейма») – непреодолимая линия обороны длиной в 132 километра, построенная генералом Маннергеймом в 1940 г. на Карельском перешейке от Ладожского озера до Финского залива: выражение употребляется финнами для характеристики чего-то труднопреодолимого. В годы Зимней войны эта линия стала местом кровопролитнейших сражений между СССР и Финляндией и получила известность в том числе в международной прессе. Выражение *Mainilan laukkaukset* («выстрелы под Майнилой») употребляется финнами, когда речь идет об очевидной ситуации, о которой умалчивается по ряду причин; его источником послужила прецедентная для финского национально-лингво-культурного сообщества ситуация: под Манилой прозвучали первые артиллерийские выстрелы, направленные в сторону границ Советского Союза, которые послужили официальным поводом для начала Зимней войны в 1939 году. При этом было очевидно, что финская сторона не могла произвести этих выстрелов, тем не менее ее в этом обвинили; нелепость обвинений была признана только после развала СССР.

За прецедентным феноменом, таким образом, всегда стоит некое представление о нем, которое делает все апелляции к нему коннотативно окрашенными и понятными собеседнику без дополнительных объяснений. Прецедентные феномены являются частью картины мира,

они выступают маркерами социокультурной идентичности, так как способны активизировать в сознании представителей национально-лингвокультурного сообщества комплекс связанных с ними ассоциаций. В силу этого художественные произведения, в которых происходит апелляция к прецедентным феноменам, представляют наибольшие сложности при переводе из-за необходимости их адаптации не только с лингвистической, но и с социокультурной точки зрения, так как помимо очевидной лексико-грамматической трансформации текста (обусловленной структурным несовпадением языка оригинала и языка перевода) переводчику необходимо добиться прагматического воздействия на адресата, эквивалентного авторскому замыслу. В связи с этим целесообразно выделить факторы, которые влияют на выбор переводческих приемов при адаптации прецедентных феноменов.

Во-первых, выбор переводческого решения при передаче прецедентного феномена зависит от типа прецедентного феномена. При необходимости апеллировать к *прецедентной ситуации* возможна как замена ситуации на ее аналог в языке перевода, так и формально-эквивалентный перевод данного прецедентного феномена с примечанием переводчика. Например, испанский прецедент осады Нумансии нуждается в пояснении, так как данный факт испанской истории стал символом не только мужества и стойкости, но и безрассудного упрямства, а также безвыходной ситуации – соответственно, в каждой конкретной ситуации использования данного прецедента переводчику необходимо пояснить, какая коннотация имеется в виду. Финское выражение *tulla kreivin aikaan*, означающее «оказаться в нужное время в нужном месте», буквально переводится как «оказаться во время правления графа» и также требует комментария, поскольку имеет непосредственную связь с конкретным историческим деятелем и его эпохой – генерал-губернатором Финляндии, графом Пиетари Брахе (1602–1680), оказавшим активную поддержку финскому языку и культуре, основавшему не только университет и типографию при нем в городе Турку (1640), но и десять городов. Также во времена правления графа Брахе три финских города – Турку, Выборг и Хельсинки – получили право заниматься внешнеторговой деятельностью. Для улучшения морской торговли было изменено местоположение Хельсинки: город был перенесен из устья реки Ванта на мыс Виронниemi. Благодаря активной деятельности графа в Финляндии была организована регулярная почтовая транспортировка из Стокгольма в Выборг. Таким образом, имеется в виду, что людям, которые жили

во время правления графа Брахе, повезло оказаться в нужное время и в нужном месте.

Во-вторых, выбор переводческого решения при передаче прецедентного феномена зависит от **значимости прецедентного феномена в контексте**: в некоторых случаях введение в переводной текст незнакомого потенциальному читателю прецедента способно вызвать чрезмерную семантическую перегруженность текста и затруднить восприятие читателем прагматики текста. В таких случаях целесообразно опустить упоминание прецедентного феномена в тексте перевода.

В-третьих, на выбор переводческого решения может влиять **степень освоенности прецедентного феномена** носителями языка перевода: универсально-прецедентные феномены знакомы любому среднестатистическому представителю современной цивилизации, а следовательно, их перевод не представляет особой трудности: они практически всегда имеют инвариант восприятия в иноязычных культурах, социумно-прецедентные феномены могут и не зависеть от общенациональной культуры, а национально-прецедентные феномены могут выходить за границы государства, в котором они сформировались (например, *Дядя Сэм* – ошеломительный образ США, изначально бывший национально-прецедентным феноменом, который впоследствии стал известен и за пределами Штатов).

В-четвертых, на переводческое решение при передаче прецедентного феномена могут повлиять **структурные различия между языком оригинала и языком перевода**: даже при полной освоенности носителями языка перевода определенного прецедентного феномена может наблюдаться лексико-грамматическая трансформация (например, название газетной статьи *To brick or not to brick* дословно должно переводиться как «Кладь кирпичи или не кладь кирпичи», однако очевидна апелляция к шекспировскому тексту, соответственно, для обеспечения эквивалентности перевода необходимо трансформировать фразу: «Быть или не быть плитке на тротуарах»).

В данной статье мы предлагаем рассмотреть некоторые конкретные примеры передачи прецедентных ситуаций советского времени при переводе романа М.А. Булгакова *«Мастер и Маргарита»* на финский язык.

«Мастер и Маргарита» – одно из самых знаменитых и значительных произведений в мировой литературе XX в. Роман, ставший для представителей русского национально-лингво-культурного сообщества прецедентным текстом, который цитируют даже люди, незнакомые с полным текстом произведения, представляет для исследователя несомненный

интерес как источник бесконечного числа реалий и прецедентных ситуаций того времени: «Писатель сочетает предельную точность, даже буквализм в передаче бытовых реалий, примет повседневного быта, фактов собственной жизни с крайне сложной, многоплановой и многозначной проекцией этих элементов на идеальный мистический метасюжет» [Гаспаров, 1994: 113]. А.З. Вулис, литературовед и специалист по советской сатире 1920–1930-х гг., один из главных инициаторов публикации романа, пишет о мастерской передаче Булгаковым колорита своей эпохи: «...выходцам из прошлого, из двадцатых – тридцатых годов, тем, кто знал, сколь опасно проигнорировать праздничную демонстрацию или уклониться от подписки на заем, булгаковский рассказ возвращает ощущение подлинной реальности» [Вулис, 1991: 212]. В московских сценах «Мастера и Маргариты» представлено такое количество прецедентных ситуаций раннего советского периода, что охватить их все в рамках одной статьи не представляется возможным, поэтому обратимся к нескольким примерам:

(1) *И вот два года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия: из этой квартиры люди начали бесследно исчезать. – Ja juuri kaksi vuotta sitten huoneistossa oli alkanut tapahtua selittämättömiä asioita: sen asukkaat alkoivat hävitä jäljetömiin* [Bulgakov, 2006: 91].

Здесь, как и во многих других местах романа «Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков отражает прецедентную для советского строя того периода ситуацию – арест людей, который проводился КГБ в обезличенной и молчаливой манере: люди просто исчезали из своих квартир или по дороге на работу, и об их судьбе никому ничего не было известно. Переводчик передал выражение способом прямого дословного перевода, не снабдив его никаким примечанием по поводу страшной реалии советской жизни описываемого периода. Таким образом, финский читатель не только не поймет конкретного содержания данного эпизода, но и не сможет проникнуться гнетущей атмосферой описываемой эпохи. Рассмотрим схожие примеры:

(2) *Тут он взглянул на дверь в кабинет Берлиоза, бывшую рядом с передней, и тут, как говорится, остолбенел. На ручке двери он разглядел огромнейшую сургучную печать на веревке. – Silloin hän vilkaisi eteisen vieressä olevan Berliozin työhuoneen oveen ja jähmettyi paikoilleen, kuten sanotaan. Ovenrivassa riippui narun päässä valtava lakkasinetti* [Bulgakov, 2006: 97].

Печать на дверях означала, что человек был арестован, а его имущество опечатано для проведения дальнейшего расследования. Поэтому Степа боится сомнительного разговора, который он имел с Берлиозом «на какую-то ненужную тему»: Степа предполагает, что Берлиоза арестовали, отсюда его «неприятнейшие мыслишки», что, может быть, он скомпрометировал себя и теперь ему самому угрожает опасность быть арестованным.

(3) – *С этого прямо и нужно было начинать, – заговорила она, – а не молоть черт знает что про отрезанную голову! Вы меня хотите арестовать? – No, olisitte aloittanut siitä, hän virkoi, – jauhoitte siinä kaikkea tyhjämpäiväistä, irtileikatusta päästä ja muusta! Haluatteko pidättää minut?* [Bulgakov, 2006: 275].

Реакция Маргариты опять-таки связана с прецедентной для советских граждан ситуацией ареста: несмотря на то что она не совершала преступления, она готова к аресту. При этом переводчик (на наш взгляд, напрасно) смягчил коннотацию глагола: слово *pidättää* означает «задерживать», оно является синонимом слова «арестовать» – *vangita*, использование которого в данном контексте было бы уместнее.

Помимо атмосферы всеобщего недоверия и постоянного ожидания ареста, Булгаков описывает и другие типичные для советского человека того периода ситуации, играющие немаловажную роль для понимания текста романа в целом:

(4) *В чем же было дело? В одном – в квартире. Квартира в Москве? Это серьезно. – Mistä siis oli kysymys? Vain yhdestä seikasta – asunnosta. Asunto Moskovassa oli totisesti vakava asia!* [Bulgakov, 2006: 239].

Получение квартиры в Москве для советских граждан считалось достижением большого успеха. Московскую прописку мог получить либо родившийся в семье москвичей ребенок, либо человек, заключивший брак с жителем Москвы (с разрешения прописанных на этой жилплощади родственников). Поплавский старался поменять свою квартиру в Киеве на квартиру в Москве, и его желание унаследовать квартиру племянника было прецедентной для советского времени ситуацией.

Наконец, всегда представляет собой сложную задачу для переводчика передача цветовой символики:

(5) *Тут глаза гостя широко открылись, и он продолжал шептать, глядя на луну: – Она несла в руках отворотительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но*

они *первые почему-то появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы! Нехороший цвет.* – *Vieraan silmät laajenivat ja hän jatkoi kuiskutteluaan katselleen kuuta: – Se nainen kantoi käsissään inhottavia, levottoman keltaisia kukkia. Piru tietää, miksi niitä nimitetään, mutta jostain syystä ne ilmestyvät ensimmäisinä keväällä Moskovan katukuvaan. Ne kukat erottuivat hyvin selvästi hänen mustasta kevättakistaan. Hän kantoi keltaisia kukkia! Se on paha väri* [Bulgakov, 2006: 169].

В данном случае переводчику следовало указать в примечании, во-первых, что речь идет о мимозе – первых цветах, появившихся в Москве весной, которые привозили с юга; во-вторых, что желтый цвет для русского лингвокультурного пространства является символом страданий: это цвет сумасшествия (здания, в которых располагались психиатрические больницы, снаружи окрашивались в темно-желтый цвет, отсюда закрепившийся в русском языке разговорный синоним для такого заведения – «желтый дом»), цвет зависти, ревности, измены и разлуки (в России не следует дарить любимой женщине желтые цветы), цвет увядающих осенних листьев, что делает его символом болезни и смерти.

Национальные реалии и прецедентные феномены, несомненно, представляют собой особую сложность для переводчика: для их адекватной передачи ему необходимо хорошо разбираться в лингвокультурной ситуации; понимать не только значение, но и значимость каждой подобной единицы в конкретном контексте; уметь находить соответствующие эквиваленты в родном языке. Как видно из рассмотренных примеров, при передаче прецедентных ситуаций переводчики сталкиваются с практически непреодолимыми сложностями, разрешить которые помог бы подробный комментарий, но, к сожалению, политика финских издательств такова, что комментарии переводчика признаются неправомерным расширением объема текста.

Список литературы

- Bulgakov M.* Saatana saapuu Moskovaan. Juva, 2006.
Вулис А.З. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита». М., 1991.
Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы: Очерки по русской литературе XX в. М., 1994.
Гаспаров Б.М. Язык, память, образ: Лингвистика языкового существования. М., 1996.

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. 7-е изд. М., 2010.

Красных В.В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология. М., 2002.

Сведения об авторе: Черникова Александра Сергеевна, аспирант кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: alekschernikova@yandex.ru.

Т.А.Пирусская

«ТОЧКИ РЕТРОСПЕКЦИИ» КАК СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ РОМАННОГО ДИСКУРСА У Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО И ДЖОРДЖ ЭЛИОТ

В статье предлагается сопоставительный анализ элементов ретроспекции в романной прозе Ф.М. Достоевского и Джордж Элиот (в основном на материале романов «Преступление и наказание» и «Дэниэл Деронда»). Рассматривается связь последовательного применения обоими авторами данного художественного приема с новым, формирующимся в XIX веке типом социальной рефлексии; выдвигается гипотеза об особом типе романного дискурса, предполагающего со стороны читателя параллельное отслеживание в тексте структурно-сюжетных и социальных связей.

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, Джордж Элиот, роман XIX в., ретроспекция, социальность, социальная связь.

This article attempts to compare the elements of retrospection in the novels by Fyodor Dostoyevsky and George Eliot (mainly basing on the analysis of “Crime and Punishment” and “Daniel Deronda”). It investigates the interconnection between the consistent use of this aesthetic device in both authors’ works and the new mode of social reflection emerging in the 19th century; puts forward a hypothesis about the function of this novelistic discourse – it invites the reader to follow structural connections within the text and social connections in parallel.

Key words: Fyodor Dostoyevsky, George Eliot, the 19th-century novel, retrospection, sociality, social interconnection.

«Всё в этой книге должно быть связано со всем остальным»¹.

Что общего у Ф.М. Достоевского (1821–1881) и Джордж Элиот (1819–1880), авторов, непохожих друг на друга почти во всех отношениях, за исключением разве что почти совпадающих дат рождения и смерти? Они укоренены в разных национальных культурах и тяготеют к разным манерам письма: романы Достоевского насыщены событийностью, почти не оставляющей времени на описания, – у Элиот ритм повествования неспешен, даже замедлен как раз за счет описаний. Контрастным по вектору выглядит и их мировоззренческий поиск: Элиот движется от изначальной глубиной религиозности к философскому сближению с позитив-

¹ Джордж Элиот о замысле своего романа «Дэниэл Деронда» [Cross: 209]. Перевод мой

вистами, Достоевский – от революционной, социалистической идеологии к вере. Важно, однако, что обоих можно – без малейшего преувеличения – назвать социальными философами, с той без труда замечаемой и очень существенной разницей, что для Достоевского связь между людьми немыслима вне трансцендентного измерения и лишается какого бы то ни было смысла в отсутствие «Бога и бессмертия»², в то время как для Элиот «проекция на вечность» отнюдь не является неперменным условием человеческой социальности [Cross: 179], [Haight: 230–231]. Ряд парадоксальных созвучий можно было бы продолжить – в основе их нами предполагаема соучастная чуткость обоих романистов к потенциям «современной» культуры и мысли, стремление обоих уяснить природу социальности, глубоко рефлекслируемой социальной взаимосвязи и вовлечь читателя в их обсуждение, осуществляемое в художественной форме.

Предметом нашего внимания в данной статье будет прием повествования, уже отмечавшийся в прозе обоих романистов, но требующий, на наш взгляд, дальнейшего осмысления в аспекте функциональности. Он может быть определен как «точечная ретроспекция», т. е. вкрапление в текст элементов, мобилизующих внимание читателя, побуждающих к повторному прочтению, рефлексии над прочитанным. Осмысление формальных и содержательных функций этого приема может помочь развитию сравнительного исследования в предлагаемой плоскости – способствовать пониманию взаимосвязи между развитием социального романа и обновлением социального знания во второй половине XIX столетия.

В XIX в. роман утверждается в литературе как серьезный экспериментальный жанр. Усложняется его форма, что тесно взаимосвязано с расширением социальной рефлексии, сопровождающим модернизационный процесс. Стремительное разрастание и усложнение коммуникативной структуры социума, нарастающая дифференциация индивидуального и общественного, осознание разрозненности, утраты целостности на уровне как доминирующей картины мира, так и социальных связей, способствовали зарождению и развитию социальной философии и социальных наук в целом. Меняющиеся представления о социальности – устройстве взаимоотношений между людьми в рамках сообщества как целого – прорабатывались и в меняющемся, точнее, заново рождающемся в XIX в. литературном жанре – романе.

² Именно такое словосочетание неоднократно повторяется на страницах «Братьев Карамазовых» (см.: *Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы*. М., 2007. С. 20, 40, 49, 93, 158, 429).

Из монологического, «центростремительного» роман превращается в многосюжетный, «полифонический» (М. М. Бахтин), «полицентрический» (Б. М. Гаспаров): вместо единства действия, сосредоточенного на главном герое, все чаще наблюдается одновременное развертывание двух или более сюжетных линий. Даже если писатель изображает замкнутый, камерный мир, не выходящий за пределы маленького городка, его обитатели предстают не просто эпизодическими лицами из окружения главного героя – они обладают каждый своей индивидуальной судьбой и зачастую равноценны по сюжетной значимости. В соприкосновение приходят далекие друг от друга сегменты художественного (и одновременно социального) пространства, а также временные пласты, всякий раз данные в чем-то субъективном переживании. В данном случае нас интересует снова и снова возникающий в произведениях исследуемых авторов момент взаимного наложения временных планов. Это происходит в ситуациях, когда в повествование о настоящем уже заложено знание (повествователем) или предчувствие (героем, о чем мы узнаем опять же от повествователя) будущего. В перспективе будущего настоящее осознается как уже прошедшее, а случайное, несущественное – как могущее приобрести сверхзначимость. Такие точки отсылают к целостности как самого повествования, так и развертывающейся в его рамках социальной ткани, сложных переплетений многочисленных жизненных траекторий. Намек на скрытую связь требует микроостановки в процессе чтения и с высокой степенью вероятности предполагает в дальнейшем рефлексивное возвращение к уже прочитанному, его пересмотр, переосмысление.

Само повествование может быть внешне линейно, ведется с позиций «здесь и сейчас», но отдельные, словно бы незаметные фразы намекают на другую возможность его истолкования. Например, у Достоевского мы читаем: «Молодой человек несколько раз припоминал *потом*³ это первое впечатление и даже приписывал его предчувствию» [Достоевский, 1966: 15] – такими словами предваряется первая встреча Раскольникова и Мармеладова в начале романа. Сообщение о неоднократном последующем припоминании героем происшедшего – на этот момент даже еще не происшедшего (Раскольников впервые видит Мармеладова) – явно выбивается из изложения событий, которые читатель априори воспринимает как одномоментное действие. Сама эта фраза, указание на то, что в происходящем есть нечто значимое, чему суждено надолго остаться в памяти

³ Здесь и далее курсив в цитатах мой

героя и сыграть какую-то роль в его судьбе, останавливает на себе внимание читателя, служит сложным «сигналом».

В тексте «Преступления и наказания» мы не раз сталкиваемся с так или иначе оформленными элементами ретроспекции: события настоящего момента осмысливаются, оцениваются как бы с позиций будущего, довольно неопределенного. Одновременно происходящее с героем предстает как опыт прошлого, уже пережитого и ставшего предметом воспоминаний. Например, Раскольников видит Лизавету, из разговора которой со знакомыми узнает, когда процентщицы не будет дома:

«Но зачем же, спрашивал он *всегда*... такая решительная для него и в то же время такая в высшей степени случайная встреча... подошла как раз теперь... именно к такому настроению его духа и к таким именно обстоятельствам, при которых только и могла... произвести самое решительное и самое окончательное действие *на всю судьбу* его?» [Достоевский, 1996: 61].

То, что он внезапно получает словно бы ответ на свои размышления, поражает героя («теперь»), но порождает вопрос, которым он будет задаваться позже и многократно («всегда»), уже зная о влиянии этого обстоятельства («окончательном») «на всю судьбу его».

В «Дэниэле Деронде» Элиот принцип ретроспекции организует повествование не менее последовательно и буквально с первой страницы. Роман открывается эпизодом у игорного стола в немецком курортном городе, где впервые встречаются центральные герои произведения: Деронда на некотором расстоянии наблюдает за Гвендолен и ее азартной игрой. Та, в свою очередь, замечает это пристальное внимание, как и неодобрение во взгляде незнакомца, который, как она затем с досадой думает про себя, «сглазил» ее удачу. Интрига получает продолжение в следующем эпизоде: на завтра к Гвендолен возвращается заложенное ею ожерелье, которое кто-то выкупил для нее, и с еще большим негодованием она приписывает (как читатель вскоре узнает, вполне обоснованно) этот дерзкий поступок вчерашнему «злому гению». События, предшествовавшие поездке Гвендолен за границу, излагаются уже после, и, таким образом, эта сцена вырвана из хронологической цепочки обстоятельств и перенесена в начало романа, в ударную позицию – она подготавливает почву для других точек ретроспекции, связанных с линией «Деронда – Гвендолен».

Нетрудно заметить, что ретроспекция здесь используется иначе, чем в только что приведенных отрывках из романа Достоевского: там речь шла о вкраплении в текст отдельных элементов, указывающих нам – через

призму сознания героя, — что перед нами события прошлого, изложенные как происходящие здесь и сейчас; здесь (у Элиот) мы имеем дело с намеренной перестановкой повествователем эпизодов своего рассказа, нацеленной на выделение одного из них. Значимое событие буквально выдвигается «на первый план» как точка образования связи между двумя героями, их встречи. Порядок повествования отступает от хронологии, обнажая структуру событий, поэтому роман, формально начинаясь, как подчеркивает повествователь, «*in medias res*», в действительности начинается как раз со своего «начала». Именно к этому подлинному началу в последующем тексте «Дэниэла Деронды» отсылают «точки ретроспекции», построенные уже по принципу, аналогичному разобранным примерам из романа Достоевского. Когда между Дерондой и Гвендолен завязываются доверительные отношения, начальный эпизод приобретает в глазах Гвендолен новое значение, а заложенное ожерелье, которое возвращает ей Деронда, превращается в знак, понятный только им обоим. Подчеркнуто «случайный» и одновременно судьбоносный характер в романе носят и другие эпизоды — например, мимолетный контакт главного героя с Мирой в главе XVII или с Мордекаем в главе XXXIII. И Мира, и Мордекай приписывают появление в своей жизни Деронды вмешательству свыше — возникает эффект «неслучайного совпадения», который неоднократно обсуждался и осуждался критиками романа как искусственный, немотивированный внутренне и потому нереалистичный. Однако, с нашей точки зрения, для философской концепции романа эти явные отступления от правдоподобия — в духе «самоосуществляющихся пророчеств» — тем не менее важны. «Пророчество» Гвендолен относительно роли Деронды в ее судьбе в каком-то смысле сбывается, хотя совсем не так, как она предполагала сначала.

Нельзя сказать, чтобы эта особенность повествовательной манеры Достоевского и Элиот не замечалась исследователями. В ней можно усмотреть способ производства сюжетного напряжения, характерный для сенсационного романа⁴. В связи с ретроспекциями у Достоевского (они

⁴ Барбара Харди отмечает использование ретроспективы как один из наиболее сильных формальных приемов Элиот, с самого начала соединяющий две сюжетные линии и словно бы «высвечивающий» встречу героев из ряда событий, среди которых она иначе могла бы затеряться. Обнаружение важной детали, выяснение ключевого для понимания происходящего «факта» позволяет сблизить «Дэниэла Деронду» с жанром «сенсационного романа» [Hardy: 908, 910–911]. В «Миддлмарче» также присутствуют элементы «сенсационного» характера: неожиданно открывающееся происхождение Ладислава и сопутствующая ему слож-

отмечались исследователями и в раннем его творчестве, и в зрелом⁵) ставился вопрос об их взаимообусловленности с психологическим анализом⁶ и в целом с природой взаимодействия нарративных инстанций. Многочисленные примеры «подчеркнутого перехода на ретроспективную позицию» у Достоевского Б.А. Успенский связывал с «оправданием авторского знания»: ретроспективная позиция «дает право знать то, что не может быть известно при синхронной позиции наблюдателя». Все исследователи так или иначе обращали внимание на то, как измененная, непривычная форма организации художественного времени влияет на

ная семейная история, не менее неожиданно протягивающая нить между Ладиславом и Булстродам, интрига, связанная со смертью Рафлса. Подобные же «узнавания», как и некоторое сходство с «детективным» сюжетом, требующим «расследования», мы обнаруживаем и в «Сайласе Марнере».

Связь Достоевского с сенсационным или детективным романом также неоднократно отмечалась [Frazier]. Очевидно сходство многих произведений Достоевского с детективным жанром на сюжетно-тематическом уровне, и к ретроспективному переосмыслению событий может вести ситуация, когда деталь, сначала, казалось бы, лишённая какого-то значения, становится в буквальном смысле слова «уликой», обретает свое место в общей картине. Вспомним историю с «ладонкой», в которую Митя Карамазов зашивает присвоенные им деньги Катерины Ивановны. Во время разговора с младшим братом он странным жестом бьет себя в грудь, о чем Алеша вспоминает на суде, узнав о существовании «ладонки», — теперь ему понятен жест брата, а Алешино свидетельство, несмотря на отсутствие вещественных доказательств (Митя выбросил на улице «ветхую тряпку», которой не придавал никакого значения), становится одним из самых веских аргументов в Митину пользу.

⁵ Тема совмещения временных планов и элементов ретроспективы затрагивалась М.Г. Гиголовым [Гиголов: 7–8], Т.С. Карловой [Карлова: 143], А.В. Храбровой [Храброва] — главным образом в связи с ранними произведениями писателя. Б.А. Успенский в своей работе, наоборот, в качестве примеров ретроспективы в основном приводит эпизоды из «Братьев Карамазовых» [Успенский: 119, 146, 158–159]. «Ретроспективные вкрапления в основное повествование» в романе «Братья Карамазовы» также упоминает Е.А. Иванчикова [Иванчикова: 46].

⁶ В «Преступлении и наказании» моменты ретроспекции даны «изнутри» сознания Раскольникова, но от лица повествователя, весьма неопределенного. Повествование, не отнесенное к конкретному лицу, остается внешне объективированным, но при этом пронизанным фрагментами несобственно-прямой речи, что и делает возможной неожиданную отсылку к дальнейшему развитию событий, которые описываются как происходящие в настоящий момент. По Ж. Катто, «время героя, то есть время, «прожитое изнутри», находится в сложном отношении со «временем динамики романа» — «создаваемым автором, воспринимаемым читателем и очень часто комментируемым рассказчиком» [Катто: 43].

восприятие читателя, для которого роман предстает уже не как линейная последовательность событий, а как сложно устроенное целое с множеством внутренних связей – не только явных, отчетливо очерченных, но и потенциальных, находящихся в становлении, возможных, скрытых. Однако ни в одной из известных нам работ не исследуется еще одна функция этого элемента романной формы: посредством последовательного введения в текст точечных элементов ретроспекции проблематизируется взаимосвязь субъективно воспринимаемого, объективно проявляющегося в поведении (ходе событий, сочетании обстоятельств) и сверхсмыслового, судьбоносного, провиденциального. С нашей точки зрения, такие «сигналы» указывают на постепенное разрастание по ходу действия разветвленной коммуникативной сети и апеллируют к сотворческой инициативе «обживающего» ее читателя. Каждая точка ретроспекции, предугадывания, предвосхищения будущего⁷ становится «ружьем», которое непременно должно выстрелить, и не обязательно в последнем акте. Предыстории «сбывшихся предчувствий» могут наслаиваться одна на другую, между «предчувствием» и его «осуществлением» – весь сюжет романа.

Точки ретроспекции становятся узловыми моментами повествования, будучи одновременно точками соприкосновения разных временных планов и – пересечения сюжетных линий, встреч, возникновения социальных связей. Процесс выстраивания внутритекстовых взаимосвязей по ходу чтения в романах Достоевского и Элиот и подобен, и параллелен процессу выявления социальных взаимосвязей, «реконструированию» природы социальности, что обличает и в том, и в другой острое чутье становящейся «современности»⁸.

⁷ К числу интересующих нас «точек» можно отнести и отдельные эпизоды и реплики, словно бы «проходные», но в свете последующих событий приобретающие «провидческий» смысл, – будто бы немотивированно упоминаемые детали, значительность которых проявляется постфактум. В том и другом случае читатель побуждается мысленно вернуться к началу. Это несколько более сложный вид ретроспекции, нежели непосредственно «проговариваемые» в тексте предчувствия персонажей, однако подобный уже рассмотренным примерам по функции и форме подачи.

⁸ О процессе чтения как раскрытии эвристических способностей во взаимодействии с текстом писал, в частности, Вольфганг Изер, который, однако, связывал это заложенное в тексте побуждение к рефлексии с намеренной фрагментарностью «современных» текстов (в противовес «традиционным», где, по его мнению, читатели «делали выбор» между разными возможными связями практи-

Несомненно, нарастающее значение приема «точной ретроспекции» обусловлено самой конструкцией современного субъекта, пристально исследуемой Достоевским и Элиот, – его дистанцированностью от традиции и сверхсмысла, на которые он смотрит со стороны, извне. Суеверное предчувствие коренится в замкнутости человека на собственном «я», относительно которого он выстраивает все происходящее, надевая любую черту окружающего или мимолетный жест другого человека значимостью предзнаменования. Так характеризует восприятие своей героини Элиот⁹, но это в полной мере можно отнести и к Раскольникову, чья обострившаяся мнительность заставляет его воспринимать даже самые безобидные фразы как свидетельство подозрительности окружающих. И уже само наличие такого предчувствия способствует его осуществлению – «пророчество» может исполниться просто в силу того, что было произнесено. Этот мотив важен в творчестве Элиот, где ключевые события нередко «пред-обозначаются» уже в начале романа – как чья-то случайно оброненная фраза, фантастическая догадка, смехотворная игра воображения.

И Раскольников, и Гвендолен в процитированных отрывках склонны видеть в происходящем не просто непостижимое стечение обстоятельств, но нечто объективно-принудительное, направляющее и даже подавляющее их волю. Таким образом, в роман вводится мотив судьбы – вводится, правда, пока в субъективном восприятии героя, как род фаталистического предрассудка. В этом плане симптоматичны слова Раскольникова о «предопределении» и «указании», которыми он хотя бы частично пытается снять с себя ответственность за совершенное. Такое же нивелирова-

чески бессознательно). Ср.: «Принимая свои решения, читатель имплицитно признает неисчерпаемость текста; и та же самая неисчерпаемость заставляет его принимать решения. В случае “традиционных” текстов этот процесс шел почти бессознательно, но современные тексты часто намеренно эксплуатируют его. Они зачастую настолько фрагментарны, что внимание читателя целиком поглощено поиском связей между фрагментами; цель при этом – не столько усложнить спектр взаимосвязей, сколько открыть нам глаза на нашу способность выстраивать связи» [Изер: 209]. Вопрос о том, относить ли тексты Достоевского и Элиот к «современным» или к «традиционным», по меньшей мере дискуссионный.

⁹ «Из подобных ощущений и складываются обычно суеверия – чрезмерной мнительности, из-за которой сияние вечерней звезды кажется нам угрожающим, а благословение нищего ободряет нас. А суеверия влекут за собой последствия, зачастую оправдывающие подсказанную ими надежду или дурное предчувствие» [Eliot: 356]. Здесь и далее цитаты из всех романов Элиот, кроме «Миддлмарча», даны в моем переводе.

ние собственной воли вплетается в настороженно-испуганное отношение Гвендолен к Деронде: ее возмущение и гнев уступают место «суеверному страху», подозрению в том, что «вмешательство» Деронды в ее жизнь есть предзнаменование некоего дальнейшего, будущего влияния¹⁰.

Однако само отношение случайности и необходимости в обоих романах явно выходит за рамки суеверных предчувствий персонажей, тем более что эти предчувствия сбываются неожиданно: в обоих героях (Раскольникове и Гвендолен) происходит радикальная перемена, какой ни один просто не мог предположить вначале. Эпизод, который мог стать лишь одним из мимолетных впечатлений героини, на самом деле оказывает решающее влияние на ее дальнейшую судьбу, обретает постфактум роль «предыстории». К подобной же предыстории, складывающейся из ряда «случайных совпадений», отсылают нас раздумья Раскольникова о событиях, предшествовавших убийству: «...Во всем этом деле он *всегда* потом склонен был видеть некоторую как бы странность, таинственность, как будто присутствие каких-то особых влияний и совпадений» [Достоевский, 1996: 63]. И еще позже: «Станным *всегда* казалось ему это совпадение. Этот ничтожный, трактирный разговор (разговор с приятелями, послуживший стимулом к зарождению «теории». – Т. П.) имел чрезвычайное на него влияние при дальнейшем развитии дела: как будто действительно было тут какое-то предопределение, указание...» [Достоевский, 1996: 66]. Ощущение неслучайности выходит за пределы не только конкретного момента действия, но и изложенных в романе событий в целом («всегда»).

Для нас в данном случае важно, что вопрос о случайном и необходимом составляет неотъемлемую часть динамики восприятия самого текста. Структурируя прочитанное, выявляя в романе внутритекстовые и социальные связи, читатель никогда не получает окончательного ответа на вопрос: случайны ли обнаруженные им «совпадения»? А если нет, то в чем их неслучайность? В соответствии авторскому замыслу, который всегда остается для нас отчасти непроницаемым? В субъективном восприятии персонажа, предчувствие которого сбылось? В определенном устройстве романной событийности, в рамках которого писатель по-своему моделирует событийность реальную и свое видение роли случайности в ней?

¹⁰ «Ее раздражение против Деронды обратилось в суеверный страх – возможно, из-за того, какую власть над ее мыслями он проявил, – как бы его первое вмешательство в ее жизнь ни стало предзнаменованием какого-то будущего влияния» [Eliot: 356].

Случайность – необходимая составляющая «эффекта реальности». Как писал сам Достоевский: «...Что может быть фантастичнее и неожиданнее действительности? Что может быть даже невероятнее иногда действительности? Никогда романисту не представить таких невозможностей, как те, которые действительность представляет нам каждый день тысячами, в виде самых обыкновенных вещей. Иного даже вовсе и не выдумать никакой фантазии. И какое преимущество над романом!» [Достоевский, 1984: 91] Случайность в романе парадоксальным образом указывает одновременно на непредсказуемость «сырой» жизни и внутреннюю осмысленность продукта творческой воли, хотя часто мы осознаем эту двойственность, лишь дочитав до конца. Для Элиот эстетичность восприятия внутренне родственна проникновенности социального видения, умению различать в многослойности, беспорядочности обстоятельств динамику общей судьбы: «...Тот, кто внимательно следит за незаметным сближением человеческих жребиев, тот увидит, как медленно готовится воздействие одной жизни на другую, и равнодушные или ледяные взгляды, которые мы устремляем на наших ближних, если они не имели чести быть нам представленными, нередко оборачиваются ироничной шуткой – Судьба, саркастически усмехаясь, стоит возле, держа список *dramatis personae*, включающий и их и наши имена» [Элиот: 96].

Усмотрение «неслучайности» в случайном может, как уже было сказано, принимать разные формы: это и субъективное предчувствие, это и ретроспективное опознание объективно наличествующей связи, это, наконец, и интуиция высшего смысла (Судьбы у Элиот, Промысла у Достоевского). Персонажи могут лишь предчувствовать или прозревать – задним числом – некий «узор» в сцеплении событий, могут видеть в этом узоре явленность трансцендентного начала или отрицать его. Для нас в данном случае важно, что за пределами романного мира в роли судьбы выступает автор, стоящий за плечами повествователя, и в симметричной позиции «по другую сторону» текста стоит читатель, пытающийся соотнести внутрироманную сюжетную логику с логикой формирующего сюжет авторского замысла.

В «Мельнице на Флоссе» миссис Тьюлливер в X главе («Мэгги ведет себя хуже, чем ожидала») почти карикатурно причитает, что ее дети слишком любят возиться около воды и непременно когда-нибудь потонут: эти комичные сетования читатель естественно воспринимает как штрихи к портрету незадачливой матери семейства, безуспешно пытаю-

щейся опекать своих своевольных детей. Однако трагический финал – гибель Тома и Мэгги во время наводнения – неожиданно придает причитаниям миссис Тьюлливер совершенно иное звучание. Ее страхи сбываются много лет спустя, когда и те дети уже не дети, и вода, оказавшаяся неопасной для них вблизи, сама приходит издалека. Читатель невольно задается вопросом: в чем смысл этого совпадения между трагической гибелью брата и сестры и давними тревогами их матери?¹¹

У Достоевского в «Идиоте» любопытен эпизод, когда князь Мышкин на вечере у Настасьи Филипповны неожиданно для себя и для всех делает ей предложение, на что та отвечает, что ему «теперь надо Аглаю Епанчину», а не такую, как она. Князь на тот момент едва только познакомился с Епанчиными и видел Аглаю и ее сестер всего один раз, и еще меньше знает о ней читатель. По поводу этой реплики высказывалось мнение, что здесь мы имеем дело с нарушением сюжетной логики, связанным с типичными для Достоевского высокой плотностью событий и раздвижением временных границ [Левин: 132]. Однако в данном случае «Аглая Епанчина» для Настасьи Филипповны может быть просто собирательным образом, антитезой себе самой, понятной и всем присутствующим (а она обращается не только к князю, но и к ним). Именно так – как условно-обобщенный образ, понятный собравшимся, – воспринимает здесь «Аглаю» и читатель при первом прочтении романа. Реплика Настасьи Филипповны служит первой, пока еще невинной, сюжетно не мотивированной отсылкой к будущей трагической дилемме Мышкина – невозможному «выбору» между двумя героинями. Введение Достоевским в текст смутно «пророческой» детали – способ настройки читательского восприятия на полускрытые, неявные и никогда не проявляемые до конца связи, которыми проникнута романная, равно как и социальная действительность.

Благодаря точкам ретроспекции в повествовании словно бы образуется «двойное дно»: детали несущественные и лишённые, на первый взгляд, сюжетной функциональности, оказываются «предвестиями» дальнейших событий, а нередко и поводом к их переосмыслению – как для героев, так и для читателя. Чтобы оценить этот прием, читателю тре-

¹¹ В «Миддлмарче» на первый взгляд нелепые, но почти буквально исполняющиеся домыслы миддлмарчских «кумушек» относительно «сообщничества» Булстрода и Лидгейта или «темного» происхождения Ладислава долгое время воспринимаются лишь как гротескное изображение городской молвы и враждебного ко всему новому провинциального сознания – пока опрометчивый поступок Лидгейта не сделает слухи-небылицы «обоснованными», попутно поспособствовав «разоблачению» родословной Ладислава.

буется умение оглядываться назад, поскольку связность отчетливо проявляется именно при ретроспективном восприятии. Приемы, словно бы позаимствованные у «одноразового» сенсационного романа, становятся «маркерами» взаимосвязанности «всего со всем», побуждающими к вдумчивому, рефлексивному чтению и перечитыванию. Акцент с сюжета переносится на сам процесс чтения как процесс «расследования», выявления, прослеживания внутритекстовых связей, структура которых и отражает структуру новой социальности, и позволяет Достоевскому и Элиот проблематизировать саму форму романа в поисках ответа на вопрос о трансцендентных основах этой структуры.

В точках ретроспекции словно бы высвечивается разветвленная «сетевая» структура межличностных связей, которые формируют движение сюжета. Будучи элементами формы, такие точки одновременно усиливают содержательные аспекты романа, раскрывают его социально-философскую проблематику. Эта устойчиво наблюдаемая связь позволяет выдвинуть предположение об особом типе романного дискурса, яркими представителями которого являются Достоевский и Элиот.

Список литературы:

- Гиголов М.Г. Типология рассказчиков раннего Достоевского (1845–1865 гг.) // Достоевский: Материалы и исследования. Т. 8. Л., 1988. С. 3–20.
- Достоевский Ф.М. Дневник писателя, 1876 год // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 22. Л., 1984.
- Достоевский Ф.М. Преступление и наказание // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 7 т.; Т. 8, доп. М., 1996. Т. 2. С. 5–505.
- Иванчикова Е.А. Рассказчик в повествовательной структуре произведений Достоевского // Достоевский: Материалы и исследования. Т. 11. СПб., 1994. С. 41–50.
- Изер В. Процесс чтения: феноменологический подход // Современная литературная теория: Антология / Сост., прим., перев. И.В. Кабановой. М., 2004. С. 201–224.
- Карлова Т.С. О структурном значении образа «мертвого дома» // Достоевский: Материалы и исследования. Т. 1. Л., 1974. С. 135–146.
- Катто Ж. Пространство и время в романах Достоевского // Достоевский: Материалы и исследования. Т. 3. Л., 1978. С. 41–53.
- Левин Ю.Д. Достоевский и Шекспир // Достоевский: Материалы и исследования. Т. 1. Л., 1974. С. 108–134.
- Успенский Б.А. Поэтика композиции. СПб., 2000.

- Храброва А.В.* Монтаж как особенность повествования в прозе позднего Лермонтова и раннего Достоевского // Вестник Томского гос. ун-та. 2014. №378. С. 49–52.
- Элиот Дж.* Мидлмарч: Картины провинциальной жизни. М., 2016.
- Berman M.* All That Is Solid Melts Into Air: The Experience of Modernity. New York, 1988.
- Cross J.W.* George Eliot's Life as Related in Her Letters and Journals. New York, 1885. Vol. III.
- Eliot G.* Daniel Deronda. London, 2012.
- Frazier M.* The Science of Sensation: Dostoyevsky, Wilkie Collins and the Detective Novel // Павермановские чтения: Литература. Музыка. Театр.: Сб. науч. трудов / Под ред. О.Н. Турышевой. Вып. 2. Екатеринбург, 2014. С. 133–142.
- Haight G.S. (ed.).* The George Eliot Letters edited by. New Haven; London, 1954.
- Hardy B.* Daniel Deronda // Eliot G. Daniel Deronda. London, 2012.

Сведения об авторе: Пирусская Татьяна Александровна, аспирант кафедры общей теории словесности (дискурса и коммуникации) филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: tapirus@inbox.ru.

Е.Е.Завьялова

ПРИНЦИП АНТИТЕЗЫ В ПОВЕСТИ Ф.Н.ГОРЕНШТЕЙНА «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО НА ВОЛГЕ»

Статья посвящена анализу повести, созданной писателем русского зарубежья Фридрихом Наумовичем Горенштейном (1932–2002). Предметом рассмотрения стал принцип антитезы, проявивший себя на разных уровнях художественного текста. Определены основания субъект-объектной оппозиции, раскрыто жанровое своеобразие произведения. Выявлена антитестическая организация ряда отдельных высказываний, некоторых портретов, пейзажей, системы образов, хронотопа и др.

Ключевые слова: антитеза, контраст, амбивалентность, лирическая повесть, мифологизм.

This article analyzes the story, created by the Russian emigre writer Friedrich Naumovich Gorenstein (1932–2002). The subject of consideration was the principle of antithesis, manifested itself at different levels of a literary text. The foundations of the subject-object opposition are determined, the genre peculiarity of the work is revealed. An antithetical organization of a series of separate statements, some portraits, landscapes, in the system of images, chronotope, etc., are indentified.

Key words: antithesis, contrast, ambivalence, lyrical story, mythologism.

В повести Ф.Н. Горенштейна «Последнее лето на Волге» (1988) ослаблена внешняя событийная линия. Основное действие начинается после полудня и завершается вечером. Рассказчик подъезжает к незнакомому городку, чтобы пересечь с небольшого пароходика на современное судно и двигаться дальше вниз по реке. Из-за непогоды приход плавучего отеля задерживается, мужчина от скуки слоняется по окрестностям. Он теряет дорогу, обедает в «Блинной», едет в автобусе, высаживается, увидев пристань, потом наблюдает за игрой детей, делает попытку защитить нищенку, беседует с ней – и по ее совету уезжает на катере к другой пристани, более удобной для швартовки. Путевые впечатления повествователя становятся поводом для его размышлений. Композиция строится на переживаниях и рассуждениях лирического героя.

Отказ от последовательного неуклонного развития событий детерминирует отбор средств художественной выразительности, их тонкую нюансировку. Структурирующим принципом в «Последнем лете...» явля-

ется, на наш взгляд, антитеза, запечатлевающая контрастность деталей пейзажа, портретов, характеров, психологических состояний и т. д. Целью предпринятого исследования стало выявление функций указанного приема в произведении.

По своей природе лирическая повесть ориентирована на совмещение противоположных интенций: многоплановость отображения внешнего мира, характерная для эпоса, сочетается в этом жанровом образовании с эмоциональностью лирики, сосредоточенной на переживаниях героя. Отсюда вариативное развитие тем, подчинение логики повествования субъективным ассоциациям нарратора, синкретичность пространственно-временной организации и т. п. Добавим к этому острый интерес Ф.Н. Горенштейна к социально-историческим коллизиям, национальному вопросу, обусловивший сплав художественного и публицистического начал в произведении; наличие особо выделенного теоретико-философского компонента. Включение в повесть разных «жанровых языков» определяет гибкость формы и многоаспектность содержания.

Основанием для пристального взглядывания лирического героя в окружающую реальность становится теория А. Шопенгауэра о «вещи в себе»; путешественник берет с собой в поездку томик сочинений немецкого философа. «Оказалось, невозможно понять даже волжский пейзаж, не говоря уже о волжских впечатлениях, без учения Шопенгауэра о созерцании <...> как о совершенном акте познания. “Спокойное лицезрение непосредственно предстоящего предмета... теряется в этом предмете... Предмет как бы остается один, без того, кто его воспринимает, и даже нельзя отделить созерцающего от созерцаемого”. В этом учении Шопенгауэра я бы только слово “спокойное” подменил словом “отрешенное”, когда от печали тяжелеет сердце»¹. Согласно концепции мыслителя, мир как представление, мир объективный, имеет два неподвижных полюса: с одной стороны – познающий субъект сам по себе, помимо форм своего познания, с другой – «грубая материя без форм и качеств»². Утверждается перманентная связь этих полюсов: «одно существует только для другого, оба стоят и падают вместе, одно служит лишь рефлексом другого и даже, собственно говоря, представляют они собою одно и то же, но только рассматриваемое с двух противоположных сторон...»³. Эта идея

¹ Горенштейн Ф.Н. Последнее лето на Волге // Время и мы. 1989. № 105. С. 6. Далее ссылки на это издание даны в круглых скобках с указанием страницы.

² Шопенгауэр А. Собр. соч. Т. 2. М., 2001. С. 14.

³ Там же. С. 15.

нераздельности-неслиянности принципиально важна не только для определения способа организации анализируемого нами художественного текста, но и для осмысления проблем, поднимаемых Ф.Н. Горенштейном в повести.

Философское обоснование позиции лирического героя, с которой он воспринимает созерцаемые картины, подкрепляется психологической мотивировкой его «эпистемологического» дуализма. Повествователь вспоминает о последнем – десятом – путешествии по Волге, времени, когда он готовился навсегда уехать за границу, в эмиграцию. «В прощальном взгляде всегда горечь, всегда тоска умирания, представление о том, как окружающий тебя мир будет жить без тебя, и вдруг наступает радостно-тоскливое языческое чувство потери себя...» (6). Состояние носителя лирического сознания обуславливает многообразие противопоставлений. Провинцию он сравнивает со столицей (в которой жил в последние годы), прекрасный город мечты Чимололе, увиденный во сне, – с сытым Берлином (местом своего нынешнего пребывания). По этой же причине в повесть вводятся ретроспективные фрагменты: в попытке постигнуть тайны характера тогда еще своих сограждан и судьбу тогда еще своей страны повествователь соотносит племенные времена с имперскими, Библию с «Капиталом» Маркса, начало Ливонской войны со сталинским 1937-м и т.д. По мнению рассказчика, объективно оценить ситуацию способен только тот, кто находится вне ее: «орлиный взгляд сверху, внешний взгляд Шопенгауэра или Шекспира, а то и скромный взгляд со стороны таких пасынков России, как я, когда прощальное созерцание подобно умиранию и когда видишь все вокруг в последний раз» (21).

Контрастен уже первый пейзаж: «Плывешь мимо волжских берегов – правого, нагорного, торжественно-высокого, о который с силой бьются волны, и левого, обыденного, лугового, затопляемого в половодье» (7); реалистическое изображение природы верховий приобретает символический подтекст. Далее повествователь сравнивает не два берега, а исток с устьем: «Я люблю верхнюю, болотисто-лесистую, сырую, озерную, русскую Волгу больше низовой, азиатской, с песчано-глинистой степью по берегам и с пряным запахом близкой пустыни. Да и сама-то Волга в верховьях имеет вид длинного, мелкого, извилистого озера <...>. На низовой Волге, где река по-морскому широка. <...> Доимперская Русь кое-где еще теснится в верховьях среди болотцев со своими худыми костлявыми отечественными щуками, окунями, ершиками. А белуга, осетр, стерлядь – это уже имперский товар, колониальный, ныне главным обра-

зом валютный» (7). Анарративное повествование делает возможным сопоставление пейзажных образов с различными формами государственного устройства; одорологические детали, ихтиологические сведения оказываются весомыми аргументами в уопостроении. В основе – все та же антитеза.

В день, когда происходят события «Последнего лета...», погода неустойчивая; соответственно, описания природы в повести весьма динамичны. См.: «Пока плыли озерами, дождь утих, посветлел волжский мир и начал рассказывать о себе весело, словно под балалаечку <...>. Но затем все потускнело, потухло, опять заунывно, однообразно забубнил дождь, и окружающий волжский мир стал серьезно-угрюм, агрессив-но-обидчив...» (8); «Когда плыли “под балалаечку”, солнечной Волгой, берега словно плясали... Теперь же в дождливом сумраке все разом застыло, и чувствовалось, будет таким бесконечно, до сердечной тоски» (9); «...Дождь к тому времени кончился, и даже ненадолго стало появляться солнце» (11); «...В который раз начинался дождь, шумела от ветра мокрая листва» (19); «...Волжского вида, повеселевшего от пробившегося наконец сквозь тучи солнца...» (29); «Чайки с визгливой мольбой носились над белыми пенистыми волнами, вот-вот опять должен был начаться дождь» (50). Чередование картин делает не богатое на события повествование подвижнее⁴. Смена погоды соотносится с изменением настроения лирического героя: природа то непосредственно воздействует на эмоции рассказчика, то сама отражает его внутренние переживания. Иногда своей тональностью пейзажные описания предвворяют бытовые сцены с соответствующим колоритом (перед посещением «Блинной», например).

Антитетическая организация обнаруживает себя и на уровне отдельных фраз. Матросы готовят сходни, перекликаясь с мужчиной на дебаркадере «то весело, то сердито» (9). Стоя перед «Блинной», повествователь размышляет: «Надо было либо уйти, либо войти» (19). О встреченной нищенке отзывается: «...Та, которую я хотел защитить, меня защитила» (37). О пережитом говорит: «...Еще трижды столько, а я буду помнить этот волжский мутно-молочный день, и эту волжскую черную ночь» (55). Рассуждая о сложности человеческой натуры, констатирует: «...Постоянная тьма тяжела и принадлежащей нам душе, и не принадлежащему нам сердцу. <...> После света нужна тьма, после тьмы – свет» (29). А по-

⁴ Описания у Ф.Н.Горенштейна включают много глаголов движения, содержащих в смысловой структуре компонент активности.

том приходит к выводу, что «дети – бальзам, врачующий душевные раны. С одной стороны, врачующие, но с другой стороны, растрavляющие» (31). Такие высказывания афористичны и часто построены по принципу синтаксического параллелизма.

Сходную функцию выполняют сочетания несочетаемых деталей в портретах, бытовых зарисовках и проч. Примеры: визави повествователя в питейном заведении – человек с маленьким лицом и огромными руками, «не просто большими, а огромными, богатырскими, как у Ильи Муромца» (22); потрясшие столичного жителя непревзойденным вкусом «русские ароматные блинчики на грязной вонючей скатерке» (21); трофеи сошедшей с парохода незнакомки: «четыре бутылки шампанского, три отдающих в синеву булыжника мороженных куриц, два батона варено-копченой колбасы, килограммов пять апельсинов» (10) – и еще более нелепые в своей кажущейся несовместимости вещи повествователя, выпавшие из чемодана: «кеды, зубная щетка, порошок от клопов <...> и томик сонетов Шекспира» (49). Все эти частности не только передают причудливость существования страдающих от бытовых неурядиц советских граждан – действие происходит в 1980-е гг., – но и указывают на парадоксальность жизни в целом, на «кентавризм» человеческого сознания.

По словам Т.А. Черновой, Ф.Н. Горенштейн обладает «удивительным мастерством очень сильной, точной и емкой детали»⁵. «Случайно услышанные» лирическим героем рассказы об убийстве отца на свадьбе или о запрете сажать вишню на кладбище несут глубокий смысл, наряду с другими частностями создавая панораму алогичной действительности. Заметим, что ряд сценок называет символическими сам повествователь: «В этих чудесных блинчиках на грязных скатертях была какая-то Достоевщина, какой-то гоголевский шарж, какая-то тютчевская невозможность понять Россию умом» (20); «Кровь из разбитого носа прямо в сосуд потекла, в стакан с водкой. От такого символа еще сильнее тошнит, чем от бороды, измазанной соусом» (24); «Вот он, итоговый символ всего мной виденного и прочувствованного» (46).

Следует особо отметить пространственные оппозиции «верх – низ» и «снаружи – внутри», играющие в повести концептуальную роль. Приезд повествователя знаменует тяжелый подъем, который нужно совершить, чтобы добраться с пристани до зала ожидания. Герой следует «по крутой деревянной лестнице с шаткими перилами, проложенной вдоль гранитного обрывистого берега к виднеющемуся далеко в вышине, почти на

⁵ Чернова Т. Читая Фридриха Горенштейна // Октябрь. 2000. № 11. С. 146.

небесах речному вокзалу» (9), «перенапрягая сердце» (9). Его перего-няют все остальные пассажиры, «даже сгорбленный древний старичок с кошелкой и клюкой» (9). Так уже в начале повести дает о себе знать мотив маргинальности.

Люди, встречаемые повествователем в городке, имеют общие черты: «...Открытые части тела здесь у многих красные – руки, лица, затылки. Это от ветра и водки» (14). Инаковость повествователя особенно явно проявляется в сцене возле бани. Заплутавший путешественник встречает старушку, несущую мороженую голову осетра. Узнать дорогу не удастся: пенсионерка глядит на незнакомца «испуганно-враждебно» (13), как «на чужака» (13), и семенит прочь. Затем из того же дома выходит вторая старушка, «тоже с осетровой головой в авоське, потом пожилая женщи-на с осетровой головой, завернутой в газету» (13). «Некоторые стороны нашего быта для непосвященного мистичны, – говорится далее. – В Мос-кве, например, я как-то встретил множество прохожих, несущих оди-наковые зеленые чайники. По опыту знаю, несущие дефицит обычно бывают усталые и неприветливые» (13).

На небольшой площади, что расположена между двумя питейными заведениями⁶, повествователь раздумывает: в «Пончиковую» ему зай-ти или в «Блинную». Первая «стекляшка» выглядит совсем непривле-кательной, во вторую он не может попасть. Сквозь окна видны люди с одинаковым выражением лиц, охваченных «радостным забытием, <...> блаженной задумчивостью» (17). Снова топологическая оппозиция: он на лестнице внизу – остальные наверху, он на улице снаружи – остальные внутри... Главный герой определяет свое фатальное отличие от окружа-ющих как непрофессионализм: «Ведь жить в современной России – это профессия. Я же всегда жил в этой стране непрофессионально...» (10). Умение «приживаться» на земле, своей или чужой, он считает особен-ностью, присущей далеко не всем: «Нечем ухватиться, корня нет. <...> Малейший заморозок, малейший холодный ветер, и нас, вместе с нашим цветом, как будто и не было» (13). Наконец повествователю удастся про-никнуть в помещение. Он обедает, запивая еду водкой; «приобщение к обществу» (22) помогает обрести подобие равновесия, хотя путеше-ственник остается «необычным, непривычным чужаком» (25), не может избавиться от неловкости и брезгливости: «Это трагическое чувство от-верженного – быть и в мире и вне мира» (22). Позднее появляется жен-

⁶ Площадь между «грязными кабаками» [20] – тоже символ, микрокосмос, отражающий чаяния горожан.

щина-попрошайка, и делается понятно, что подлинным изгоем в «Блинной» является не рассказчик, а эта нищенка.

Персонажи «Последнего лета...» выстроены в ряд двойников-антиподов. Главный герой сравнивает себя с встречными. Взираясь по мучительнице-лестнице, он наблюдает за идущей «свободным широким шагом» (9) спутницей с неподъемной поклажей. «Несмотря на такую тяжесть, колхозница, точно двужильная, бодро, привычно поднималась <...>, а я все более от нее отставал <...>. Это, как казалось мне, унижало мое мужское достоинство, я усилил темп, стараясь ее догнать или обогнать, но тщетно» (10). «И в этом своем безуспешном соревновании, – продолжает повествователь, – я тоже увидел некий символ...» (10). В общепитовском заведении рассказчик видит перед собой мужчину, который так же, как он, ест блинчики и пьет водку; не обремененный интеллектом грозный «богатырь» являет собой полную противоположность главному герою, рафинированному интеллигенту со «слабыми коленями» (36). Еще один антипод повествователя – подросток Сережа, «бесчувственно-жестокый» (33) хулиган. Вызывающее поведение, матерщина Сережи позволяют рассказчику сделать вывод, что большой православный крест на его груди – «насмешка и над атеизмом, и над религией» (33). Враждебность подростка по отношению к чужаку «в модном столичном плаще» (37) не ограничивается антисемитским ругательством – «Гад Моисеевич» (36); рассказчик едва избегает столкновения с «уличным ножом» (37).

От малолетнего хулигана путешественника спасает та самая нищенка из «Блинной». Их разговор можно назвать лирической кульминацией повести. Люба – так зовут попрошайку – приглашает повествователя к себе в «жилище», устроенное внизу, на дебаркадере (вновь актуализируется оппозиция «верх – низ», мотив маргинальности звучит здесь наиболее отчетливо). Выясняется, что «нищая русалка» (40) вынуждена собирать пустые бутылки, чтобы накопить денег на обратную дорогу, вернуться в деревню к мужу. Главный герой узнает историю Любы, отсидевшей 15 лет за случайное убийство, и понимает, что женщина совсем не так проста, как кажется на первый взгляд. Ее спокойное, полное достоинства поведение внушает уважение. Контраст между убогой обстановкой и исходящим от собеседницы внутренним светом разителен. Путешественник не в силах преодолеть возникшую «нелепую душевную близость» (40). Наблюдая, как грязная попрошайка жует недоеденные кем-то куски (у нее их целый чемодан), повествователь приходит к выводу, что именно так, непарадно, выглядит родина: «Нет, не краснощекая, стройная, груда-

стая красавица в вышитом сарафане и кокошнике, которая на позолоченном блюде, застланном белоснежным вышитым полотенцем, подносит большой свежее испеченный хрустящий хлебный каравай и белую чистую соль в хрустальной солонке, – бутафорская ряженная Россия. Вот если бы вместо красной девицы вышла встречать черные лимузины и международные самолеты Люба со своими черствыми нищими кусками хлеба и своей мокрой серой солью в тряпице. Нищая русалка, безгрешная убийца с кротким светлым взглядом и горькой осенней душой» (47).

«Нищая Россиюшка» (50) Люба сопоставляется со «свекровью-Россией». Эта антитеза является, на наш взгляд, центральной в произведении Ф.Н. Горенштейна. Жизнь Любы перечеркнута случайностью: в юности она ударила скалкой в висок тиранившую ее свекровь. Повествователю приходит на память классическая пьеса: «Вариации на сюжет Островского <...> из драмы “Гроза”, здесь же, на волжских берегах, разыгравшейся... <...> Там самоубийца, тут убийца – лучи света в темном царстве» (41)⁷. В катере путешественник видит последнюю потрясшую его картину: неподалеку сидит пожилая женщина «безликого облика» (50); к груди она прижимает огромную свиную голову, упираясь в «трофей» подбородком. «И я поразился схожестью не только выражения на женском лице и свином облике, но схожестью даже каких-то внешних черт. Не скажу, что лицо у женщины было злое, скорее мертво-тупое, как и у свиной головы. Неподвижное какое-то, застывшее, и мне почудилось, что голова женщины, как и свиная, запачкана замытой розовой кровью» (50). Повествователь сравнивает увиденную женщину с Любиной свекровью (видимо, по ассоциации с Кабанихой). И возводит этот образ до глобального художественного обобщения. Две ипостаси Родины: одна – многоголовая, неодолимая, пожирающая других и себя, другая – одинокая бездомная Любовь, та, что понимает и прощает.

О других персонажах, с которыми прямо или косвенно сопоставляется главный герой. Это полковник-артиллерист из зала ожидания, пьяный из телефонной будки, редкозубый седой пассажир из автобуса, мальчик «Феденька» (Виталька) из парка. Нельзя не упомянуть и «теперешнего» соседа повествователя – обуреваемого «сытой тоской» (58) молодого немца. Любитель русского языка, гуляка, от которого «даже в будничные дни постоянно пахнет хорошим немецким пивом и добротным немецким шнапсом» (58), оттеняет образ лирического героя с его «постоянным гамлетовским напряжением» (49). На примере добродушного берлинца

⁷ Примечательно, что любимую куклу, с которой спит Люба, зовут Катенька.

рассказчик демонстрирует господство скрытого единства «живой души и тупого вещества» (58). Сам же он вновь чувствует себя чужим, по-прежнему проводит границу «между нами и ими» (59). Однако содержание понятий «они» и «мы» оказывается иным.

Итак, в повести «Последнее лето...» принцип антитезы можно назвать ведущим. Контрасты помогают создать запоминающиеся, яркие, динамичные образы. Бинарные оппозиции – результат сосредоточенности Ф.Н. Горенштейна на проблемах противостояния человека и мира, добра и зла. Имманентная амбивалентность, многоплановость – следствие мифологического мышления писателя. Дихотомические ярусы изоморфны друг другу: антитезы одного уровня дублируются антитезами другого, представая в неразложимом единстве элементов.

Список литературы:

Горенштейн Ф.Н. Последнее лето на Волге // *Время и мы.* 1989. № 105. С. 5–60.

Чернова Т. Читая Фридриха Горенштейна: заметки провинциального читателя // *Октябрь.* 2000. № 11. С. 146–152.

Шопенгауэр А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2 / Пер. с нем.; Под ред. А. Чанышева. М., 2001. 560 с.

Сведения об авторе: Завьялова Елена Евгеньевна, докт. филол. наук, доцент, профессор кафедры литературы ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». E-mail: zavyalovaelena@mail.ru.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Либан Н.И. Русская литература: Лекции-очерки / Сост. и подг. текста – В.Л. Харламова-Либан; Науч. ред., вступ.ст. и коммент. – докт. филол. наук С.И. Кормилов. М.: Прогресс-Плеяда, 2014. 584 с.

Лекции-очерки Николая Ивановича Либана (1910–2007) – это своего рода аналог диалогов Сократа, записанных его учеником Платоном, или, скорее, устных бесед Аристотеля, с любовью и доскональной точностью законспектированных кем-то из дотошных «перипатетиков» в Ликее.

Рецензируемая книга – первый том задуманного В.Л. Харламовой-Либан трехтомника; второй вышел в 2015 г.¹; третий должны составить воспоминания о Н.И. Либане. Научный редактор этого тома С.И. Кормилов руководствовался и вдохновлялся отрадной мыслью о том, что ему удастся поделиться неповторимыми впечатлениями, полученными им в студенческие годы, с теми, кому не посчастливилось учиться в Московском университете и общаться с таким ярким и самобытным филологом, каким был Николай Иванович. При этом он вполне сознавал, что «Либан реализовал себя главным образом как гений устного слова, которое на печатной странице все-таки очень много теряет. <...> Либановская артистическая интонация» даже при элементарном пересказе или чтении наизусть фрагментов изучаемых литературных произведений «значила больше любого комментария: сразу становилось ясно, что тут наиболее важно, что не так важно, что удалось автору лучше всего, где он проявил себя плоховато» (с. 6).

С.И. Кормилов снабдил издание основательным предисловием и обстоятельными комментариями, вменившими в себя характеристику личности славного лектора и критический разбор содержащегося в книге материала, оставив рецензентам дозированную возможность всего лишь так или иначе дополнить сказанное.

Николай Иванович был из породы самоотверженных бессребреников, каких на Руси от века не счесть. Но таких, как Либан, – считанные единицы. Помнится, был среди наших коллег авторитетнейший строфолог

¹ *Либан Н.И.* Русская литература: Лекции о русской литературе; Работы разных лет; Из архива. М., 2015.

и одновременно выдающийся знаток ономастики Владимир Андреевич Никонов, которого однажды пригласили почитать лекции в Донецком университете. После прочитанного спецкурса стали оформлять ведомости на зарплату и схватились за голову: лектор не имел ни докторской, ни кандидатской ученой степени, ни диплома о высшем образовании, ни даже аттестата зрелости, оставаясь при этом самым высоким специалистом в избранных им областях знания. Точно так же и Либан, не снискавший академических званий и степеней, практически всю свою уникально долгую преподавательскую жизнь оставался Старшим Преподавателем, непререкаемое мастерство которого свято чтители как студенты, так и дипломированные коллеги.

Николай Иванович был совершенно свободен от политической и научной конъюнктуры. Будучи «правнуком виконта Жозефа Либана, провозгласившего Эльзасскую республику, а потом казненного за его патриотизм, за врожденное чувство независимости, и потомком святого Иоасафа Белгородского» (с. 5), обо всем, о чем ни заходила бы речь, он всегда имел свое сугубо личное мнение. Его многочисленные ученики восприняли от него помимо знаний массу бесценных нравственных уроков. Он прививал им неприязнь к любой форме ангажированности, внушал всепоглощающую преданность литературоведению, добросовестное отношение к исследованию (нельзя писать по избранной теме, не прочитав всего, что написано по ней ранее), учил тому, что в науке можно и должно бороться за что-то, но не против кого-то, формируя в совокупности своеобразный кодекс чести ученого. И все это внушалось им самым прямым, непосредственным способом – силой примера.

Круг его научных интересов был исключительно широк. Он читал лекционные курсы по древнерусской литературе и истории русской литературы XVIII в., вел занятия по творчеству Чернышевского, Писемского, Лескова. Именно он стал инициатором и главным редактором 30-томного Собрания сочинений Н.С. Лескова, о котором с полным правом мог сказать, что перевел его из писателей второго ряда в первый (с. 4).

Образ автора, конечно, ярче всего проявляется в его творениях. В первой части мемориального издания лекционных курсов Либана под лапидарным названием «Русская литература» он предстает перед нами как самобытный, оригинально мыслящий медиевист. Но, ощущая себя в первую голову преподавателем, наставником молодых умов, он был далек от строго научного академизма в подаче материала. Учитывая возраст своих студентов-второкурсников, недавно расставшихся со школь-

ной партой, Николай Иванович был одержим пафосом просветительства; он воспитывал их в духе бескорыстной преданности филологии, которую почитал как науку наук, как достойную, а то и более высокую соперницу философии. В его лекциях полно своеобразных лирических отступлений по различным, иногда довольно опосредованно связанным с темой жизненным или философским проблемам. Его отношение к древнерусской литературе подчеркнуто лично, если не сказать – интимно. Нет-нет и вспомнит благодарный ученик о своих учителях – М.Н. Сперанском, С.К. Шамбинаго и В.Ф. Ржиге, о живом, подлинно творческом общении с ними (с. 73, 79–80).

Среди средневековых авторов у него были любимые персонажи. Он не скрывал своего пристрастного отношения к ним. В частности, Либан особо выделял главу «нестяжателей» Нила Сорского, скорее всего потому, что и сам в своей жизни руководствовался такими же принципами, как и он. То же, очевидно, можно сказать и о его отношении к оратору эллинской школы и заодно «первому русскому интеллигенту» (с. 36) митрополиту Илариону, произнесшему, по одной из версий, свое знаменитое «Слово о Законе и Благодати» над гробом князя Владимира и сгинувшему в безвестность; явившемуся через столетие не менее замечательному ритору – Кириллу Туровскому; еще одному претенденту на звание «первого русского интеллигента» Даниилу Заточнику (с. 90); и, наконец, к вдохновенному витии XV в., представителю стиля «плетение словес» Епифанию Премудрому, восславившему святых Сергия Радонежского и Стефана Пермского. Точно так же – отметим, забегая вперед, – среди самых востребованных сподвижников Петра I он называет ритора латинской выучки Феофана Прокоповича (с. 199–200) и основателей Славяно-греко-латинской академии братьев Лихудов (с. 210).

Либан солидарен с И.П. Ереминым и Д.С. Лихачевым, признавая «Слово о полку Игореве» произведением ораторского искусства, а в структурном отношении – занимающим промежуточное положение между стихом и прозой (с. 87). Должное внимание уделялось им и истории открытия великого памятника, недаром ей была посвящена целая полнометражная лекция. Один из немногих отечественных медиевистов, не склонных переоценивать роли А.И. Мусина-Пушкина как первооткрывателя «Слова», он, пусть и с изрядной долей раздражения, признавал несомненные заслуги в этом деле императрицы: «Екатерина II – особа неприятная, но сделала много, хотя много и показного» (с. 67). В связи с ажиотажем, вызванным мистификацией Макферсона, опубли-

ковавшего сфальсифицированные им «Песни Оссиана», она повелела Мусину-Пушкину самолично возглавить экспедицию для разыскания в монастырских библиотеках и архивах древних книг, «касающихся российской истории». Так он и приобрел целый ряд средневековых раритетов, в числе которых оказались «Слово о полку Игореве» и Лаврентьевская летопись. Екатерина настояла на необходимости скопировать драгоценную находку. Ей, можно было бы добавить, принадлежит и несколько оригинальных догадок в интерпретации древнерусского текста.

Не менее подробно излагается пресловутая полемика вокруг подлинности памятника. «Скептические точки зрения, – сентенциозно замечал лектор, – весьма плодотворны, так как рождают отпор» (с. 71). Многочисленные выпады скептиков, как зарубежных (Мазон), так и отечественных (Каченовский, Зимин), вызывали и вызывают еще более энергичные и аргументированные возражения ученых и деятелей культуры, настаивающих на аутентичности великого творения безымянного гения (Пушкин, Шамбинаго, Лихачев, в наши дни Зализняк).

Во второй части книги перед нами предстает уже не история русской литературы следующего хронологического периода, а весьма концептуальные размышления о «становлении личности в русской литературе XVIII века». Так назывался один из бесчисленных спецкурсов, прочитанных Либаном студентам-филологам. Лектор мотивировал столь решительную жанровую метаморфозу тем, что литературная продукция тогдашней России, по его мнению, не была адекватна государственным и гражданским преобразованиям, которые были совершены в течение этого столетия (с. 195). Поэтому он и ставил перед собой специфическую задачу «ввести слушателей в основные направления жизни, литературы и культуры» главным образом петровской и екатерининской эпохи (с. 196).

В кратких энергичных очерках дается стереоскопически емкая характеристика развития церковного и светского красноречия, весьма редко упоминавшегося при советской власти масонства, зарождения театра при дворе Алексея Михайловича, а затем и основания Федором Волковым первого русского театра в Ярославле, классицизма с его идеологией и эстетикой, журналистики и мемуаристики, становления демократических тенденций в литературе и проч. Только к концу лекционного курса, в пяти карамзинских лекциях, должное внимание уделяется собственному литературно-художественному творчеству. Освещается творческий

путь писателя, специфическая трактовка им сентиментализма. Подробнейшим образом исследуются «Письма русского путешественника» и «История государства Российского».

Такой важный предмет, каким несомненно была реформа отечественного стихосложения, к сожалению, трактуется весьма поверхностно и обрывается на полуслове. Либан связывает этот длительный многослойный процесс только с «Новым и кратким способом...» Тредиаковского и его творческой полемикой с Ломоносовым о том, какой стих – хореический или ямбический – более свойствен просодии русского языка. За пределами его внимания остались и русские немцы, и ломоносовская хотинская ода, присланная из Марбурга в Петербургскую Академию наук вместе с «Письмом о правилах российского стихотворства», которые, безусловно, сыграли решающую роль в переходе русской поэзии на силлабо-тонические рельсы, и «Письмо Харитона Макентина...», и анонимное соревнование трех поэтов в 1744 г. в стихотворном переложении 143-го псалма, и второе, исправленное и дополненное, издание трактата Тредиаковского, и популяризация разнообразных размеров практически во всех известных в ту пору поэтических жанрах, предпринятая Сумароковым. Вдобавок силлабике ошибочно приписывается совершенно не свойственное ей закономерное чередование «кратких и долгих звуков» (с. 215)²².

В третьей, заключительной части книги представлены избранные очерки творчества Жуковского, Пушкина и Лермонтова. Не без трепета начинал Либан этот ответственный лекционный курс, отыскивая самые точные, концептуально отточенные слова для характеристики неповторимой творческой индивидуальности своих любимых поэтов. Проникновенным лиризмом отмечены две лекции, посвященные универсальному таланту Жуковского: он дает о себе знать в изложении драматической биографии внебрачного сына родовитого русского барина Афанасия Ивановича Бунина и пленной турчанки Сальхи, названной лектором «Забавой Путятичной»; столь же драматичной истории «родственной» любви молодого поэта к Маше Протасовой, любви, которая не угасла, а только «ушла вглубь», прочь от посторонних взглядов (с. 416); в анализе лирики феноменально многогранного русского поэта, безусловного лидера романтического направления, у которого подчас «встречаются самые неожиданные формы выражения» (с. 422), непревзойденного ма-

²² Научный редактор, известный стиховед, не мог пропустить такой ошибки. Из беседы с ним нам известно, что набор книги после редактуры ему не был показан.

стера балладного жанра, конгениального переводчика, воспитателя и педагога (при том, что его самого признавали совершенно непригодным к обучению учеником).

В подчеркнуто избранном виде интерпретируется творчество Пушкина и Лермонтова. В четырех лекциях дан обзор лирики Пушкина, стремительно прошедшего от сентиментализма через романтизм к реализму, от юношеской эротики к потрясающим философским обобщениям зрелого периода; анализ трагедии «Борис Годунов» и поэмы «Полтава», «Евгения Онегина», маленьких трагедий, «Капитанской дочки» и «Медного всадника». Целостной концептуальной картины, конечно, не получилось, да и не могло получиться. Лектор такой цели перед собой просто не ставил. Он предлагает некий набросок плана для дальнейшего углубленного изучения творчества великого поэта, отлично сознавая, что сколько обо всем этом ни скажи или ни напиши, все будет мало.

Столь же пунктирно освещается творчество Лермонтова, которому отведены две лекции: лирика, поэма «Демон» и «Герой нашего времени». Тем не менее Либану удалось показать самодостаточность гения поэта, творческий путь которого оказался еще короче пушкинского, его неуемный поиск «звучания, содержания, идей» (с. 480); обратить внимание его восторженной аудитории на феноменальный дар прозрения, каким обладал юный поэт: «Как он сумел, еще ничего не знающий в жизни, так много почувствовать и пострадать?» (с. 486); наметить возможные ответы на эти загадки: «Поэт не проходит мимо всеобщего страдания, падающего на долю творцов и исполнителей истории. Ему подвластно понимание страдания большого человека, который изгнан, отторгнут. Здесь Лермонтов властелин и может воскресить все: ему доступны и перевоплощение, и исторический материал, и идея, и душа персонажа» (с. 488). Лермонтовский демонизм, как мы знаем, завладел впоследствии умами и чувствами поколения русских людей почти столетие спустя.

Лекционные курсы Либана печатаются не впервые, и эти три уже выпускались вместе Издательством Московского университета³³. Однако тогда они не подвергались научной редакции. Между тем Николай Иванович читал эти лекции в преклонном возрасте, когда даже его удивительная память могла подвести, а насколько внимательны и точны в

³³ Либан Н.И. Лекции по истории русской литературы (от Древней Руси до первой трети XIX в.). М., 2005. Далее страницы этого издания указываются в тексте.

своих записях были их слушатели, насколько адекватно записи расшифрованы, читатель судить не может. Поэтому есть прямой смысл перечислить самые важные разночтения.

В настоящем издании кроме добавлений и уточнений в комментариях осуществлено много (не один десяток) исправлений непосредственно в тексте. Конечно, в первом курсе лекций следовало говорить о «миграции» «Слова о полку Игореве» не в Псковскую и Нижегородскую области (с. 45 издания 2005 г.), а в Псковскую и Новгородскую; Ярослав Мудрый отнюдь не был «первым», «старшим» сыном Владимира Святославича (с. 62) и имел меньше прав на киевский стол, чем Святополк; Новгород не был членом ганзейского купеческого союза (с. 67), хотя и тесно с ним сотрудничал; в Троицком соборе Пскова сейчас находится не просто «рака Довмонта» (с. 73), а рака с мощами трех святых: кроме названного – князя Всеволода-Гавриила и юродивого Николки Салоса; в Куликовской битве великий князь Дмитрий Иванович получил не «ранение» (с. 74), а множественные контузии, от которых потерял сознание; Иван Васильевич, еще не Грозный, брал Казань не с ее «башней Сумбеки» (с. 90) – она была построена позже.

В курсе о XVIII в. говорилось, что англичане пустили первый метропоезд в 1861 г., когда в России отменили крепостное право (с. 125), – на самом деле два года спустя; Феофан Прокопович временно принимал не «латинскую веру» (с. 128), а униатство; нельзя было противопоставлять ямб и александрийский стих по степени трудности (с. 136), так как последний – одна из разновидностей того же ямба; из стен Киево-Могилянской коллегии – потом академии – выходили, разумеется, далеко не «первые русские митрополиты» (с. 137); в «Ледяном доме» И.И. Лажечникова вовсе не показаны «живые скульптуры» в виде «людей, облитых водою, замороженных ради затей, прихотей» (с. 148): там среди ледяных стен замерзают карлик и карлица после их шутовской свадьбы; молодой Ломоносов во хмелю «запродался» не в «австрийскую армию» (с. 152), а в прусскую; нельзя сказать, что впоследствии он «в Петербурге в Академии наук устроил мозаику – “Полтавская битва”» (с. 155): эта мозаика была перенесена в здание Академии, построенное после смерти Ломоносова; в издании 2005 г. барочный Зимний дворец якобы воплощал «идею классицизма» (с. 174), а подавление пугачевского восстания приписывалось Суворову (с. 176), который лишь конвоировал в Москву Пугачева, уже сданного властям его помощниками; была странная фраза: «<...> в Англии сейчас королева. Сын ее жив-здоров, но

он королем никогда не будет» (с. 177); Екатерина II по происхождению была не «королевских кровей» (с. 177) – Кормилов нашел смягченное определение «монарших» (тогда в Германии лишь Пруссия имела статус королевства); нельзя «в Новгороде или в Киеве» войти «в какой-нибудь храм XIV века» (с. 181): в Киеве таких церквей просто нет (научный редактор заменил Киев на Псков); в Москве стены церкви «около Почтамта», т. е. Меншиковой башни, не «расписаны масонскими знаками» (с. 188), а имели с 1770-х годов «масонские эмблемы и латинские надписи, которые во второй половине XIX в. по настоянию митрополита Филарета были уничтожены»⁴⁴; унтер-офицер вовсе не «соответствует чиновнику 14-го класса» (с. 198); здание Московского университета не было построено Шуваловым (с. 216); Екатерина II не могла уничтожить «Ростовскую митрополию» (с. 229), так как в Синодальный период, и то лишь в XIX в., в России одновременно было не больше трех митрополитов – Московского, Петербургского и Киевского; в православие Екатерина перешла не из католической (с. 261), а из протестантской веры; Елизавета Петровна не могла быть «покровительницей Ушакова» (с. 302), которому в год ее смерти исполнилось всего 16 лет; Швейцария поделена не «на две части» – французскую и немецкую (с. 317), в ней много кантонов, а государственных языков – четыре: немецкий, французский, итальянский и ретороманский; у лондонского собора св. Павла (протестантского храма) купол не золотой (с. 333).

В лекциях о литературе XIX в. было сказано, что время Жуковского отстояло от времени Гомера «на тысячу лет» (с. 359), а не без малого на три тысячи; Наполеон не был маршалом (с. 368); гроб с телом Пушкина в Святогорский монастырь сопровождал, конечно же, не «жандармский разезд» (с. 405), а один офицер-жандарм; статью о Лермонтове как «поэте сверхчеловечества» написал не Вл. Соловьев (с. 417), а Мережковский; за отличия на Кавказе Лермонтов не «получил орден» (с. 421) – царь представление к награде не утвердил. Немало и других исправлений и уточнений, в том числе в цитатах и при изложении сюжетов обсуждаемых произведений, пришлось сделать исключительно эрудированному научному редактору. Таким образом, тот, кто не приобрел обновленное издание лекций Н.И. Либана, понедеавшись на предыдущие, существенно прогадал.

Читая и перечитывая новую книгу Н.И. Либана, получаешь почти такое же удовольствие, какое испытывали обожавшие его студенты. Ото-

⁴⁴ Романюк С. Из истории московских переулков. М., 2003. С. 266–267.

бранные в ней лекции по аналогии с теорией литературы можно рассматривать как пропедевтический курс введения в историю отечественной словесности. Она заражает начинающего филолога высокой страстью любви к художественному слову, сопричастностью к литературному творчеству, законной гордостью за шедевры, ставшие частью нашего национального самосознания, и за достижения литературоведческой науки, к которой он приобщается. Мемориальное издание, помимо того, способствует увековечению памяти о замечательном педагоге, «гении устного слова» Николае Ивановиче Либане.

О.И. Федотов, А.О. Шелемова

Сведения об авторах:

Федотов Олег Иванович, докт. филол. наук, профессор кафедры филологического образования Московского института открытого образования. E-mail: o_fedotov@list.ru;

Шелемова Антонина Олеговна, докт. филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Российского университета дружбы народов. E-mail: a.shelemova@rambler.ru.

Сухих И. Н. Теория литературы. Практическая поэтика: Учеб. для высших учеб. заведений Российской Федерации. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2014. 352 с.; Теория литературы. Практическая поэтика: Хрестоматия для высших учеб. заведений Российской Федерации / Сост. И. Н. Сухих. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2014. 496 с.

Двухтомник выпущен под рубрикой «Учебно-методический комплекс по курсу “Теория литературы. Практическая поэтика”». Известному историку русской литературы пришла счастливая мысль издать вместе учебник и хрестоматию¹ по теоретической дисциплине. Оттого не понадобилось подробно пересказывать в учебнике работы, вошедшие в хрестоматию, и при компактном объеме² освободилось место для широкого иллюстрирования теоретических положений литературным материалом. В этом отношении комплекс, несомненно, практичен. Предлагаемая поэтика определяется как практическая также в отличие от «методологических» поэтик, точнее, приемлемая при любых литературоведческих методологиях³. Но она подчеркнута системная (I, 5). Учебник «ориентирован на классическое пособие Б. В. Томашевского “Теория литературы. Поэтика”» (I, 2) лишь постольку, поскольку художественной форме уделяется больше внимания, чем содержанию, но это естественно, ибо содержание по определению не поддается в такой степени типологизации (формализации) и преимущественно составляет предмет истории литературы, а не теории.

Впрочем, наиболее далеким от содержания особенностям формы –

¹ Далее в тексте условно обозначаются цифрами I и II.

² В 5-м и идентичном 6-м изданиях общепризнанного учебника В. Е. Хализева «Теория литературы» (М., 2009, 2013) 432 страницы, 27 условных печатных листов. В также переиздающемся «Введении в литературоведение» под редакцией Л. В. Чернец в полтора с лишним раза больше, что неподъемно для основной массы первокурсников, вчерашних школьников, не знающих многих упоминаемых в учебнике произведений.

³ В этом отличие «практической поэтики» И. Н. Сухих от «вненаправленного литературоведения» Хализева: Хализев В. Е., Холиков А. А., Никандрова О. В. Русское академическое литературоведение. История и методология (1900–1960-е годы). М., 2015. С. 149–159.

стиху и прозе – уделяется совсем мало внимания (в других «Теориях литературы» о них вообще ничего может не быть, считается, что с некогда главной частью поэтики студентов достаточно знакомить в курсе введения в литературоведение), это часть раздела «Художественная речь», причем о ритме прозы только и сказано, что «природа его до конца не ясна» и он, однако, «принципиально отличается от стихотворного ритма» (I, 125), в параграфе «Стихотворные метры и размеры» даже не упомянуты логазды, дольник и тактовик, тоника Маяковского необоснованно (это архаика стиховедения) сближена с народной поэзией, про пеон второй И.П. Мятлева «Фонарики, сударики...» и пеон третий С.А. Есенина «За шумели над затоном тростники...» говорится, что они совершенно не похожи на 4-стопный ямб и 5-стопный хорей (I, 127), хотя соотносить их надо соответственно с 3-стопным ямбом и 6-стопным хореем, далее утверждается, будто стихотворения, восходящие к лермонтовскому переводу из Гете «Горные вершины...», написаны «с чередованием дактилических и мужских рифм» (I, 288), а не женских и мужских; прозе категорически отказано в «метрическом членении» (I, 125), между тем как метрической и метризованной прозой написаны сотни произведений русской литературы, есть она и в немецкой и английской. Вместе с тем свежо звучит, казалось бы, очевидное: «Мужские рифмы, оканчивающиеся гласным звуком, то есть с открытым последним слогом, просто обречены быть богатыми» (I, 129), «Онегинская строфа <...> становится маленькой строфической энциклопедией: зная хотя бы одну строфу, можно легко восстановить основные способы рифмовки» (I, 133).

Понятно, что в центре внимания автора – литературное произведение, являющее собой образ в широком смысле (глава четвертая, I, 108–293). Прежде всего на него ориентировано четкое, менее чем трехстраничное введение «Произведение – текст – система – структура». Вслед за Л. Бертаданфи, одним из создателей общей теории систем, система коротко и просто определена как «комплекс взаимодействующих элементов», а элементами признаны лишь «простые, далее неразложимые элементы системы (подобные фонемам в системе языка)». Тут же отмечается: «Сложная система, как правило, обладает иерархической структурой, то есть делится на несколько уровней, объединяющих комплексы однородных элементов. К такому типу систем можно отнести и художественный текст. Структура – уровень – элемент – таковы будут координаты нашего рассмотрения разных литературных систем» (I, 5). Все же разных. Две первых маленьких главы учебника, «Структура литературоведения» и

«Структура искусства» (I, 6–24), посвящены тому, что логически «шире» произведения. Опять-таки почти афористично сказано: «Литературоведение занимается способами превращения слова – в образ, текста – в художественный мир» (I, 7). Тем самым сразу отмечена творческая природа искусства, в частности литературы⁴. В хрестоматии этому положению соответствует статья Д.С. Лихачева «Внутренний мир художественного произведения» (II, 153–170). «Структуру литературоведения» И.Н. Сухих начинает, во многом повторяя (без оговорки) давнюю статью Лихачева⁵, с «вспомогательных» филологических дисциплин: текстологии, палеографии, источниковедения, библиографии. Критику он называет «видом литературной деятельности, располагающим на границах между собственно литературой и наукой, понятием и образом» (I, 12). Следовало бы добавить, что в первую очередь критика смыкается с публицистикой разного рода, преимущественно социальной, но также философской, исторической, религиозной и т. д., вплоть до экономической. К основным литературоведческим дисциплинам отнесены только теория и история литературы. Раз учебник не «методологический», то не выделены методология литературоведения (которая распространяется как на теорию, так и на историю литературы) и его история (чаще всего тут речь идет о методологических учениях). Неплохо определена теория: ее задача – «рассмотрение общих закономерностей литературного творчества и литературного произведения и формирование системы понятий, метаязыка, на котором об этом можно говорить» (I, 13), – только упущены (в формулировке) закономерности литературного процесса, которым в учебнике посвящена пятая, последняя, глава (I, 294–334); она больше двух первых, но существенно меньше третьей – «Структура литературы как вида искусства» (I, 25–107) – и особенно вышеупомянутой четвертой. В первой также названы разновидности поэтики: частная (описательная), общая, историческая; не забыты и психология творчества с психологией восприятия произведения.

Виды искусства традиционно рассматриваются на пересечении признаков изобразительные, неизобразительные / временные, пространственные, пространственно-временные (синтетические). В хрестоматии первой главе соответствуют статья С.С. Аверинцева «Филология» и три

⁴ Из литературоведов прошлого последовательнее всех акцент на ней делал И.Ф. Волков (см.: *Волков И.Ф. Теория литературы*. М., 1995).

⁵ См.: *Лихачев Д.С. О некоторых неотложных задачах специальных филологических дисциплин* // Вестник Академии наук СССР. 1976. № 4. С. 64–72.

параграфа из книги Г.О. Винокура «Введение в изучение филологических наук» (II, 5–33), главе второй – отрывок из «Лаокоона» Лессинга, раздел книги М.С. Кагана «Эстетика как философская наука» («Вид искусства как система родовых и жанровых модификаций») и статья Г.Г. Шпета «Литература» (II, 34–85), что компенсирует краткость этой части учебника.

Третья глава, согласно названию посвященная словесному виду искусства, по ее рубрикации неожиданно ограничивается проблемой литературных родов и жанров, но фактически это не так, с жанрами связываются разные параметры произведения, в том числе в соответствующих текстах хрестоматии – статьях М.А. Петровского «Морфология новеллы» и М.М. Бахтина «Эпос и роман», заключении к работе второго из них «Формы времени и хронотопа в романе». Например, М.А. Петровский в 1927 г. давал применимую не только к новелле типологию понятия «рассказчик» (он «может быть самым героем, побочным персонажем, очевидцем или, наконец, просто передатчиком слышанного, или вымышленного им, рассказа» – II, 140); отмечал, что «проблема заглавия не вставала еще в старой европейской новелле. Но уже Гете почувствовал ее во всей силе, когда делился с Эккерманом своими колебаниями, как озаглавить свою новеллу (29 января 1827). У Мопассана заглавие, как структурный момент, обычно неустранимо из целого новеллы. То же и у нашего Чехова» (II, 142); предлагал фактически собственные термины: «<...> структурными моментами в развертывании темы будут здесь признаки, определяющие и раскрывающие личность героя; обозначим их техническим термином симптомы. Симптомы могут явиться факторами движения сюжета, в таком случае они будут именоваться мотивами» (II, 143).

Сам И.Н. Сухих кроме двух традиционных разделов о родах и жанрах, расклассифицированных по родам, написал три раздела о «пограничных жанрах» с подзаголовками «словесность и литература», «жанровые семейства» и «жанры на границе родов», а также разделы с новаторской для учебной литературы тематикой – «Предельные и запредельные жанры: жанровые лестница и жанровая матрица», «Теоретическое, историческое и авторское определение жанра». По познавательной установке различаются такие жанры словесности, как автобиография, биография, мемуары разного объема вплоть до книги жизни (у А.Т. Болотова, А.И. Герцена, В.Г. Короленко, Андрея Белого, И.Г. Эренбурга и др.), дневник, эссе (старинный жанр, но в России XIX в. еще не существовавший), очерк, фельетон; по этической установке (дидактическая словесность) –

элементарные житейские поучения от фольклорных пословиц и поговорок до сентенций (философского типа), история с моралью (апофегма, хрия, аполог, притча), житие святого, религиозный трактат, басня (стоит уточнить: особенно античная), притча, параболa. К жанровым семействам относятся фантастика, детективная литература, стилистические жанры – подражание, стилизация, пародия и использование. Подражания бывают эпигонские («В советской литературе 1960–1970-х годов были распространены подражания “Мастеру и Маргарите”, получившие обидное критическое определение “Булгаков для бедных”» – I, 86) и вполне творческие («Подражания Корану» Пушкина, «Подражание Шиллеру» Некрасова). Споря с Ю.Н. Тыняновым, «некомические пародии» И.Н. Сухих называет стилизациями. Он отмечает, что пародия «как самостоятельный жанр обычно меньше (для больших жанров – намного меньше) текста-источника» (I, 88). Действительно, комизм не терпит затягивания. Использование, или перепев, встречается лишь в стихотворной пародии. «Жанры на границах родов» – это лирические драма и комедия, эпический театр и т. д.; стихотворение в прозе есть прозаическая лирика, а лирическая проза («распространенное в советскую эпоху явление и термин») – наоборот, «еще одно жанровое семейство в эпосе, включающее роман (редко), повесть, рассказ (но не новеллу!), очерк, мемуары, эссе» (I, 96)⁶.

Понятия предельных и запредельных жанров заимствованы у М.А. Петровского. «Предельный жанр – это <...> идеальная, не имеющая пересечений с другими жанрами, не допускающая сомнений формула узнавания внутри каждого рода. Вокруг него нарастают простые и сложные теоретические жанры, затем – исторические жанры» (I, 98). Теоретические дефиниции систематизирует литературовед, исторические жанры нередко назывались иначе. Автор может определить произведение по-своему, но, например, «поэма» Гоголя «Мертвые души» обладает всеми признаками романа, в том числе плутовского (фабула и хронотоп). «В эпосе верхний предельный жанр, – считает И.Н. Сухих, – очевиден, но исторически сменяется: сначала это эпопея, потом – роман. На статус нижнего предельного жанра скорее всего должен претендовать рассказ: этот жанр менее маркирован и больше связан с внехудожественной речевой реальностью» (I, 98). Последнее верно, вообще же сказанное отно-

⁶ Л.А. Колобаева пишет, что «крохотки» Солженицына – «это чаще всего “сгущенные” до грани афоризма рассказы, самый малый эпос» (Колобаева Л.А. От А. Блока до И. Бродского: О русской литературе XX века. М., 2015. С. 238).

сится лишь к западноевропейской литературе до эпохи Возрождения, а скорее, до XVIII в. Например, в китайской и некоторых зависимых от нее литературах стран Дальнего Востока эпоса как жанра не было, роман появился поздно, многие века господствовала лирическая поэзия⁷. «Запредельные жанры, в терминологии Петровского, это, с одной стороны – первичные речевые жанры, жанры словесности, некие художественные структуры, пограничные с собственно литературными жанрами, а с другой – конструктивные образцы, перерастающие жанр как таковой, произведения с разомкнутой структурой (хроника, в понимании Петровского, в отличие от романа, может быть бесконечной)» (I, 98). Запредельными эпическими жанрами снизу выступают анекдот и афоризм, сверху – не хроника (по Петровскому), а цикл, сверхжанровая структура. Здесь тетралогией названы «Пряслины» Ф.А. Абрамова (I, 99). Но это название трилогии, с появлением романа «Дом» превратившейся в тетралогию, озаглавленную по первому роману «Братья и сестры».

Как уже говорилось, в разделе о традиционных эпических, драматических и лирических жанрах автор учебника тоже в основном традиционен; например, главные эпические жанры в прозе он разграничивает вслед за Н.И. Надеждиным по объему текста и вслед за В.Г. Белинским – также по объему сюжета. Но еще долгое время после этих критиков, вплоть до Чехова, роман, повесть, рассказ и очерк (т. е. «набросок», «эскиз») могли различаться не по объему (существовали «рассказы» больше повестей и иных романов), а по степени литературности, убывавшей от романа к очерку. И поэму нельзя определить только «как стихотворный повествовательный рассказ, стихотворную повесть (“петербургская повесть” – жанровый подзаголовок пушкинского “Медного всадника”))» (I, 43). При Пушкине и Лермонтове поэмы еще считались более высоким жанром, чем повесть в стихах, предполагавшим некое воспевание⁸. Непонятно, почему в лермонтовской «Думе» И.Н. Сухих видит элегию-инвективу, но в заключительных стихах «Смерти поэта» – сатиру, а не такую же инвективу. Лучшим в этом достаточно содержа-

⁷ И.Н. Сухих не пытается преодолеть «европоцентризм» литературоведения. Так, у него упомянут лишь один старый китайский автор – Чжан Чао (I, 141) – и говорится обобщенно: «Что значит Гамлет для китайской или корейской культуры, сказать трудно» (II, 217).

⁸ См.: *Кормилов С.И.* Забытые и упущенные аспекты теории эпических жанров // Эпические жанры в литературном процессе XVIII–XXI веков: забытое и «второстепенное»: VII Майминские чтения 5–9 октября 2011 г. Т. I. Псков, 2011. С. 18–35.

тельном разделе представляется заключение о том, что «трехчленная схема род – жанр – жанровая разновидность для романа оказывается недостаточной. Приходится дополнительно говорить о типических разновидностях, жанровых формах и т. п. Если авантюрный или психологический роман – это жанровые разновидности или виды, то детектив или роман «потока сознания» оказываются уже следующей, четвертой ступенью жанровой классификации, а черный роман как разновидность детектива – пятой» (I, 56). Отмечено, что в видовом отношении трагедия гораздо более однородна, чем комедия, недаром в «Словаре театра» Патриса Пави (1987, рус. пер. 1991) «только два жанровых термина, относящихся к трагедии <...>, зато видам комедии посвящено больше двадцати статей» (I, 59). А вот в хрестоматии специальных работ о драматургии нет, есть одна глава из книги Т.И. Сильман «Заметки о лирике» (II, 246–283), основное же внимание уделено эпическому роду: главы из трудов М.М. Бахтина «Формы времени и хронотопа в романе» и «Проблемы поэтики Достоевского» (напомним, что здесь же «Эпос и роман»), Л.Я. Гинзбург «О литературном герое», статьи К.Н. Атаровой и Г.А. Лесскиса о повествовании от первого и от третьего лица. Сами по себе это исследования, несомненно, достойные.

В начале главы «Структура литературного произведения» разграничиваются язык и художественный мир, в чем И.Н. Сухих следует за Бахтиным, а не формалистами. «Художественный» значит «возможный мир, в котором в разной степени эстетически преобразованы, трансформированы черты обыденно-бытовой и научной картины мира» (I, 116). А не обыденная, не бытовая, не научная картина разве не преобразовывается? Религиозная, например? Но в общем понятно, что имеет в виду автор. Сказанное относится «прежде всего к отдельному произведению» (I, 116). «Мир», воссоздаваемый специфически художественной речью, включает в себя, по И.Н. Сухих, персонажей, действие (сюжет и фабулу), пространство-время (хронотоп). Порождает мир, но не является им, по сути, высший, глубинный уровень содержания. Его «логичнее вслед за Б.М. Эйхенбаумом называть поэтической онтологией, или вслед за М.М. Бахтиным – формообразующей идеологией, или, например, художественной философией» (I, 117). Собственный термин автора неудачен: далеко не во всякой литературе можно усмотреть «философию».

И.Н. Сухих любит систематизации. Он выделяет три вида пейзажа: объективно-изобразительный (живописный), психологический и символический; пять основных русских хронотопов: большой город (прежде

всего Петербург, «московский текст» И.Н. Сухих вслед за В.Н. Топоровым недооценивает), провинциальный город, дворянскую усадьбу, деревню и большую дорогу, которая все их связывает; восемь типов заглавий: персонажные, местоуказывающие (например, «Полтава», «Обрыв»), временные («Белые ночи», «Жизнь Человека»), ситуационные («Метель», «Набег»), предметные («Портрет»), формоуказывающие («Повести Белкина», «Записки из Мертвого дома»), обобщенные («Детство», «Зависть»), непосредственно оценочные («Накануне», «Кому на Руси жить хорошо»); четыре значения слова «автор»: реальный (биографический), один из персонажей, проецирующийся, однако, на реального человека, как в «Евгении Онегине» (тут больше всего уместен термин «образ автора»), безличный повествователь или «я»-персонаж (натянуто сближены повествователи в «Пиковой даме» и «Капитанской дочке»), наконец, «воплощения в произведении позиция, мысль, эмоция, придающая ему своеобразие, целостность и уникальность» (I, 264). Классификации довольно логичные, однако всякая классификация более или менее схематична и неполна. Так, «Белые ночи» не только обозначение времени действия, но и эмоциональный символ. Русский литературовед не понимает, как может китаец отождествлять пейзаж со всем произведением, если обычно его роль – «служебная, подсобная» (I, 142). Только не в странах Дальнего Востока, где человек не отделяет себя от природы, видит в ней себя и себе подобных. Кроме символических там распространены аллегорические пейзажи. Теоретически же иносказания в книге разграничиваются четко. «Аллегорические образы однозначны и опираются на культурный контекст. Символические образы многозначны (обычно метафорически говорят об их принципиальной неисчерпаемости) и формируются всякий раз заново, индивидуально в конкретном произведении. Аллегорические образы знают, символические чувствуют, интерпретируют и понимают» (I, 227). Следовало лишь оговорить, что в средние века символы были ближе к аллегориям, их тоже знали. Среди тропов метафора – наиболее индивидуальная (ее создатель может сталкивать разные значения хоть по самому ассоциативному признаку), тогда как метонимия и синекдоха «опираются на объективные взаимосвязи обозначаемых предметов» (I, 123) и потому менее красочны, близки к языковым. Преувеличения бывают не только в форме речевого выражения. Когда преувеличение относится к персонажу, хронотопу (пейзажу) или фабульной ситуации, мы видим «гиперболу как образ, а не как стилистическую фигуру» (I, 226).

Много ценных наблюдений над детализацией, хронотопом, сюжетом и фабулой. Известный чеховед, Сухих не пропустил «знаменитое “горлышко бутылки”, трижды использованное Чеховым: в рассказе “Волк”, в письме брату, наконец, в пьесе “Чайка” для характеристики различий писательских манер Тrepлева и Тригорина» (I, 139); отметил, что в последней чеховской пьесе нет ни одной сцены в вишневом саду, а этот образ все равно становится ее главным «героем», и представил в хрестоматии не собственно теоретическую, но имеющую значение для теории статью А.П. Скафтымова «О единстве формы и содержания в “Вишневом саде” А.П. Чехова» (II, 444–485); указал, что, как в «Евгении Онегине», хронология чеховского мира не конкретизирована: у Пушкина – вообще 1820-е гг., у Чехова и вовсе – время его жизни, однако «понятия “время Чехова”, “чеховская эпоха” обладают, как и “пушкинская эпоха”, вполне конкретным содержанием, но трудно говорить о “тургеневской, Достоевской или Толстовской” эпохах» (I, 152).

И.Н. Сухих не согласен с разграничением фабулы и сюжета у формалистов хотя бы уже потому, что второе понятие у них вытесняло понятие композиции, причем «реальность» фабулы они «вычитывали из сюжета, чтобы затем с ним же ее сопоставлять» (I, 164); оттого современный исследователь берет ее понимание у А.Н. Островского и П. Пави: это «краткий пересказ, схема, повествовательное резюме мира произведения» (I, 165). Лирические отступления и «Повесть о капитане Копейкине» в «Мертвых душах» – отступления от фабулы, но важные части сюжета, «определяющие его специфику» (I, 175). В новейшей литературе усматривается движение к простоте и «исчезновению фабулы», компенсируемое «усложнением сюжета, требующим активной читательской работы, поиском сделанных писателем акцентов на самых неожиданных местах» (I, 183). Объем текста для фабулы в таком понимании несуществен. «Фабулы “Дамы с собачкой” и “Анны Карениной”, в отличие от самих произведений, будут соизмеримы» (I, 165). Вот именно – «в отличие от самих произведений». Ведь схематическое представление о рассказанном в самом произведении не локализуется, оно формируется воспринимающим. Сделана лишь оговорка о несамодостаточности фабулы: она «в какой-то степени должна включать отсылки к другим уровням мира – пространственно-временному и персонажному» (I, 166). Только «отсылки»? А фабула как таковая обходится без персонажей, без пространственно-временных характеристик? Входит в «мир» произведения, но в «сами произведения» не входит? Что-то в предложенной концепции строения

произведений не отвечает логике. Выделенный эпизод как «сжатую формулировку смысла» (т. е. часть фабулы?) предлагается, словно речь идет о музыке, называть «темой или мотивом» (I, 169). Потом говорится: «Мотив – это элемент любого базового уровня произведения, выделенный, акцентированный за счет повтора» (I, 225). И далее в духе англоязычного литературоведения про идейное содержание говорится, что «это сумма или, точнее, система всех выявляемых в произведении идей, то есть понятие, аналогичное тематике» (I, 273). В таком случае всякое произведение должно состоять из повторяющихся мотивов.

Вместе с тем убедительно выделение межуровневых элементов произведения и «вертикальных» его уровней, как бы пронизывающих «горизонтальные»; их природа – парадигматическая, они выявляются не последовательно, а «при рассмотрении завершенного текста как целого» (I, 219). Классификация же этих уровней: мотивы, приемы; формы повествования; композиция; автор, отождествляемый со «смыслом», – нуждается в уточнениях по крайней мере (формы повествования могут быть отнесены к композиции, «смыслом» логичнее считать семантику, а не «автора» или идейный уровень, как предлагает учебник). Но после уточнения некоторых понятий стоит присмотреться, например, к такому определению: «<...> *модель жанра* – это многоуровневая система мотивов» (I, 225). Или к такому: «<...> заумное произведение тоже имеет свою тему, но это тема языковая, орудийная, стилистическая» (I, 270). Или: «Художественное задание детектива (как и некоторых других формульных жанров) – в построении оригинальной фабулы с загадкой-завязкой, постепенным нарастанием ожидания-напряжения в цепочке микрокульминаций, ведущей к пунте и максимально неожиданной развязке. Коротко говоря, идея детектива – в его фабуле» (I, 280). Здесь разные теоретические понятия даны в комплексе, а не порознь. Следует вывод, звучащий непривычно для многих, но безусловно заслуживающий внимания: «Идеей в широком смысле слова, художественным заданием, следовательно, может служить элемент любого горизонтального уровня: персонаж, действие, хронотоп, язык. Идеологическая точка зрения, концентрация смысла на высших уровнях – наиболее распространенный, но с эстетической точки зрения совсем не обязательный вариант» (I, 280). Может быть, и не самый распространенный, коль скоро макулатуры всегда больше, чем высокой литературы. Широко понимая идеологическую точку зрения, автор вовсе отрицает введенное Б.А. Успенским в «Поэтике композиции» (1970) понятие фразеологической точки зрения: «С по-

мощью лингвистических средств формируется точка зрения на других уровнях. <...> Так что практическое значение при анализе повествовательного уровня имеют лишь два вопроса: кто говорит (автор-повествователь или герой) и откуда говорит (с какой позиции в пространстве-времени)» (I, 245).

Лучше всего в учебнике, действительно, те страницы, на которых И.Н. Сухих предается литературоведческой практике, например пишет о впервые созданном у нас Лермонтовым «психологическом портрете-экспозиции <...>. По такому пути и пойдет русская литература: портреты Тургенева, которые часто превращаются в развернутую биографию-экспозицию, Гончарова, Толстого, Достоевского, при всех индивидуальных отличиях, строятся на схожих принципах» (I, 200). Очень хорошо говорится вообще о персонажах. Их в произведении обычно немного, главных – один или два, но есть и произведения многогеройные: «Война и мир», «Братья Карамазовы», «Мастер и Маргарита», хотя главных персонажей все равно не больше пяти-шести. Правда, в сценических интерпретациях «Чайки» или «Вишневого сада» «практически все герои могут стать главными, ибо они разрешены изнутри, дают основу для построения характера и узнавания себя» (I, 210), а все-таки логика развития действия вполне определенно выдвигает на первый план нескольких. «Отдельные герои могут отрываться от текста <...>, перерастать границы породившего их мира, превращаясь в вечные, мировые образы, сверхтипы <...>» (I, 215). Это понятие в учебнике дифференцировано и уточнено. Так, есть персонажи, «имена которых стали нарицательными, но однозначными (Одиссей, Тартюф, Хлестаков). <...> Статус образов-формул русской литературы приобретут фонвизинский Митрофанушка и грибоедовский Чацкий, Онегин, Татьяна, Ленский, многие гоголевские герои, тургеневский Базаров, гончаровский Обломов (однако таких сверхтипов практически не обнаружится у Толстого и Чехова)» (I, 217).

Согласно И.Н. Сухих, «категории-интеграторы» автор, жанр, стиль, метод / направление обращены «одновременно внутрь художественного мира и к более широкому культурному контексту» (I, 292).

Наименее удачна глава о литературном процессе. Здесь можно найти блестящие соображения, например: «М. Булгаков в “Белой гвардии”, “Роковых яйцах” и “Мастере и Маргарите”, кажется, пользуется разными методами. Аналогично обстоит дело с А. Платоновым. “Чевенгур” и “Фро” разделены несколькими годами, но могли быть написаны в разные эпохи» (I, 328). Однако есть тут также штампы и заблуждения, старые и

новые. Серьезные теоретики уже не верят в реальность «просветительского реализма», который «особое значение придает развитию романа» (I, 310) – в западноевропейских литературах действительно так, но не в русской, а ей уделяется преимущественное внимание. Неореализм «придумал и обосновал Е.И. Замятин» (I, 326). Этот писатель пропагандировал его в 1920-е гг., но такое понятие появилось в 1910-е независимо от него, и в реальности существования неореализма как раз никто не сомневается. Существовала и реалистическая литература социалистического содержания, только в 1930–1940-е гг. она выродилась в нормативизм и идеологическую иллюстративность, сохранив данное ей в 1932 г. название «социалистический реализм». И.Н. Сухих неисторично утверждает: «Социалистический реализм был сконструирован, объявлен, а потом последовали попытки его воплощения в жизнь» (I, 329). В хрестоматии к данной главе, безусловно, относится исключительно содержательная статья С.С. Аверинцева, М.Л. Андреева, М.Л. Гаспарова, П.А. Гринцера, А.В. Михайлова «Категории поэтики в смене литературных эпох» (II, 357–399), но также, видимо, ей призван соответствовать отрывок из книги Г.А. Гуковского «Реализм Гоголя» (II, 400–430), а в том, что Гоголь был реалистом или только реалистом, сильно сомневались еще в Серебряном веке. К какой именно главе учебника относится предпоследняя в хрестоматии, перед работой Скафтымова, замечательная статья М.Л. Гаспарова «Анализ и интерпретация: два стихотворения Мандельштама о готических соборах» (II, 431–443), не совсем понятно.

Встречаются в учебнике и фактические ошибки. Отец Чехова был мелким торговцем, а не купцом (I, 156). «Чапаев» Фурманова написан не от первого лица (I, 231). В эпилоге «Отцов и детей» показаны далеко не только старики на могиле сына (I, 256). Но не эти недосмотры определяют лицо книги. Она чрезвычайно талантлива. В ней нет той выверенности, взвешенности, которая отличает «Теорию литературы» В.Е. Хализева, где никогда спорное не выдается за бесспорное. И все же книга И.Н. Сухих могла бы с ней соперничать благодаря смелости, дерзости мысли, небанальному взгляду на вещи, оригинальности, поиску все новых и новых идей, богатейшему историко-литературному материалу.

Могла бы соперничать, но не может. «Теория литературы» Хализева вышла уже шестью изданиями. Осторожное руководство филологического факультета Санкт-Петербургского университета, оберегая студентов от приобщения к тому, что не бесспорно, выпустило великолепный двухтомник тиражом всего в сто экземпляров, видимо, для профессоров-

теоретиков, и то далеко не всех. Так пусть в Москве люди, не боящиеся свежей мысли, попробуют найти эти книги и прочитать, ну хоть узнают про них. Это принесет немалую пользу нашей науке и просвещению.

С.И. Кормилов

Сведения об авторе: Кормилов Сергей Иванович, докт. филол. наук, профессор кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
E-mail: profkormilov@mail.ru.

Диалог согласия: Сб. науч. статей к 70-летию В.И. Тюпы / Под ред. О.В. Федониной и Ю.Л. Троицкого. М.: Intrada, 2015. 437 с.

В.И. Тюпа – теоретик литературы с мировым именем. Его исследования нашли большое признание не только в отечественном, но и в зарубежном литературоведении. Лучшее тому подтверждение – сборник, посвященный юбилею ученого и объединивший под своей обложкой статьи авторов из Беларуси, Венгрии, Германии, Польши, России, Украины и Японии.

Сложно найти область в литературоведении, не входящую в сферу научных интересов юбиляра. В названиях разделов рецензируемой книги отражены основные «узлы», на которых сосредоточена его исследовательская мысль: «Язык и метод анализа», «Границы художественного дискурса», «Нарратив – дискурс – жанр», «Рецепция художественного произведения», «Литература и ментальность», «Риторика и поэтика», «Поэтика лирического произведения», «...Пушкин – наше все...» и «Поэтика драмы». Название сборника символично и подчеркивает ведущее место бахтинской традиции в работах ученого («между Лотманом и Бахтиным» (с. 35) – так сам В.И. Тюпа определяет вектор своих исследований). Не случайно в открывающей книгу статье К.А. Баршта поднимается проблема «преодоления лингвистики», ключевую роль в решении которой играет бахтинская концепция диалога как главного принципа для новой научной парадигмы, противостоящего «всем проявлениям монолизма в филологии и смежных областях знания» (с. 12) и преодолевающего категоричность бинарного мышления. Композиционное построение книги не препятствует насыщенному идейно-тематическому диалогу между разделами и статьями: проблема, заявленная в одном тексте, часто получает развитие в следующем или актуализируется в другой части сборника, напоминая художественный принцип лейтмотивности. Все теоретические разработки учеников и коллег «мастера продуктивных подходов» (так В.И. Тюпа назван в небольшой вступительной статье редакторов) находятся в русле его исследовательских интересов и подкрепляются на практике в обращении к конкретным художественным текстам.

Часть материалов сборника обращена к области нарратологических исследований. Авторская типология приемов эксплицитного изображения сознания в речевой ткани текста представлена в работе В. Шмида. Тема-рематический механизм в художественном повествовании раскрывается Е. Фарино на примере начальных глав «Доктора Живаго»¹. Г.А. Жиличева подробно анализирует роль образов времени в структуре романа Б. Пастернака и обращает внимание на его нарративную стратегию тайны. Продолжая эту тему, О.В. Федунина говорит о необходимости «разграничивать тайну и загадку как два разных принципа построения повествования и сюжета» (с. 127) и уделяет внимание второму типу, реализующемуся в традиции детективной литературы. В другом ракурсе эта разновидность художественной словесности осмысливается в статье Н.Н. Кириленко, в которой исследовательница доказывает генетическую связь классической драмы и классического детектива на основе сформулированных ею условий единства действия. Вопрос о разграничении фабулы и сюжета по-новому решается И.В. Силантьевым. Опираясь на рецептивный аспект, ученый постулирует множественность сюжетов, индивидуально конструирующихся в сознании читателя, и единичность фабулы, практически одинаково реконструируемой на основе причинно-следственных связей событий нарратива. Пересмотру утвердившегося мнения о незавершенности «Записок сумасшедшего» Л. Толстого посвящена статья В.Ш. Кривоноса. Филолог демонстрирует, как писатель смещает акценты, характерные для одноименного гоголевского текста. Смысловая целостность произведения доказывается связью нарративной интриги повести с сюжетом инициации. В центре внимания Е.Ю. Сокруты оказались функции метанарративности в романе нобелевского лауреата Ж. Сарамы «Странствие слона». Кроме того, ученый реконструирует генезис этого литературного феномена, справедливо отмечая лакуны в области его диахронных исследований.

Поле для применения нарратологического подхода обнаруживается и в лирике. О.В. Зырянов заявляет о допустимости термина «лирический нарратив», ограничивая его областью жанров сюжетно-повествовательной лирики, таких, как рассказ в стихах или лирическая новелла, и подробно останавливаясь на последнем из них в творчестве Ф. Тютчева, А. Ахматовой и А. Блока. Эту же тему продолжает анализ лирического

¹ Анализу пастернаковского романа посвящена коллективная монография под ред. В.И. Тюпы. См.: Поэтика «Доктора Живаго» в нарратологическом прочтении: Коллективная монография. М., 2014.

сюжета стихотворения Э. Багрицкого «А.С. Пушкин», выполненный В.Я. Малкиной. В фокусе внимания А.А. Чевтаева оказываются перечисления в лирике О. Мандельштама. Повествовательный потенциал этих синтаксических конструкций заключается в том, что каждое имя в ряду является «свернутым» нарративом, имплицитно представленным в тексте. Этот прием, по справедливому замечанию исследователя, – структурно воплощенное представление поэта о «синкретическом единстве статики и динамики, определяющем полноту Мироздания» (с. 312–313). Общегуманитарный потенциал нарратологического инструментария раскрывается Ю.Л. Троицким, который применил его возможности для проектирования эгоисторического подхода в историографии, позволяющего избежать диктата авторского слова и сформировать у индивида самостоятельное и критическое историческое мышление.

Подобный выход в пространство междисциплинарных и – шире – пограничных областей знания характерен для дискурсных исследований сборника. Любопытно, что в статье «Методологический статус теоретико-литературного произведения» В.В. Максимов не только анализирует восприятие концепции художественности В.И. Тюпы за почти 30 лет ее существования, но и сам пользуется эгоисторическим подходом, предлагая читателю самостоятельно сформулировать научное кредо юбиляра на основании двух опубликованных писем из личной переписки с ним. Коммуникацию на границе и ее универсальные характеристики рассматривает Н.Т. Рымарь, приходя к выводу, что сутью границы в культуре является процесс семиозиса, реализуемый как диалог двух чуждых друг другу семиотических систем. Конкретный пример такого взаимодействия предлагает А.В. Корчинский, анализируя писательские стратегии Ж.-П. Сартра и А. Камю и утверждая намеренное обращение философии экзистенциализма к дискурсивным ресурсам литературы. Структурное различие «нехудожественных» и художественных форм письма в аспекте синтактики иллюстрируется В.А. Миловидовым на примере стихотворения Пастернака, тогда как статья «О зримости смысла» Ю.В. Подковырина посвящена способам воплощения визуального на семантическом уровне текста – своеобразному переводу с «языка» чувственной данности на язык литературы.

Ряд материалов сборника находится в контексте жанровой проблематики. Т.Е. Автухович обнаруживает у категории экфрасиса признаки как жанра, так и дискурса, однако главной задачей исследовательницы становится раскрытие целевой установки автора экфрасиса, которой оказы-

вается имплицитный «диалог поэта с культурой» (с. 91). Решением жанровой проблемы романа М. Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» занята Е.Ю. Козьмина. На другом материале этот же вопрос поднимает А. Скубачевска-Пневска. Ученый предлагает назвать романом-матрешкой «В Эрмитаж!» М. Брэдли, указывая не только на одноименный мотив в сюжете (герои покупают матрешек, украшенных изображениями русских политиков и писателей), но и на структуру произведения, которая «представляет собой мозаику текстов в текстах» (с. 159). Романтический фрагмент получает освещение в статье А.Е. Махова. По мысли литературоведа, конституирующим признаком этой текстуальной формы выступает инверсия традиционного порядка риторических операций (*inventio*, *dispositio*, *elocutio*, *memoria* и *actio*). Создание текста начинается с произнесения и заканчивается нахождением мысли, потому как именно «процесс поиска мысли» (с. 251) является сущностью романтического фрагмента. Другой романтический жанр – отрывок – на материале стихотворений Ф. Тютчева и Д. Веневитинова рассматривается Е.И. Зейферт, которая аргументированно доказывает общность жанровых принципов у двух поэтов. К феномену подражания как особой форме творчества обращается М.Н. Дарвин, отмечая его сходство с обязывающими жанрами нормативной поэтики.

Большой пласт материалов рецензируемой книги связан с исследованиями в сфере ментального, глубоко разработанной в трудах В.И. Тюты. И.В. Кузнецов пытается разобраться в специфике неотрадиционалистской идеи трансцендентности источника творчества, доказывая, что данное положение не является возвратом к нормативно-риторическому творчеству, поскольку в литературе XX в. «сам слушающий (адресат) оказывается единосущен с говорящим (субъектом)» (с. 81). Соположение двух коммуникативных инстанций внутри сознания автора позволяет литературоведу согласиться с И. Бродским и назвать сам язык источником поэзии, «посредником между поэтом и действительностью» (с. 82). Мифопоэтический потенциал этнографических реалий в творчестве Н. Гоголя раскрыт А.Х. Гольденбергом. Ученый находит множество фольклорных элементов, обладающих мифологической символикой смерти, в эпизоде ночного визита Чичикова к Коробочке в «Мертвых душах». Так, главный герой поэмы уже на «мифотектоническом уровне» ассоциируется с гостем из мира мертвых. Связь литературы и мифа продолжает статья И.С. Судосевой, в которой рассматривается генезис интерьера в художественном произведении и делаются важные замечания о символической

роли окон и дверей (граница «своего» и «чужого» пространства, связь со смертью и переходом в другой мир). Яркостью и остротой стиля отличается работа В.И. Маслевского о мировоззренческом плюрализме В. Розанова, А. Белого и М. Волошина, проявлявшемся в противоречивости их поведения и образа мыслей, зафиксированных как самими писателями, так и их современниками. Схожая тема, но уже на материале теоретических построений звучит в совместной статье В.Е. Хализева и А.А. Холикова «Парадоксы русского формализма (методология / мировоззрение)» – одной из последних работ Валентина Евгеньевича, которая в расширенном виде вошла в книгу «Русское академическое литературоведение: История и методология (1900–1960-е годы)»². Исследователи подчеркивают противоречивость формалистской теории литературной эволюции и трактовки комического. Отрицание ценности традиции и скандальность В.Б. Шкловского высвечивают авангардистскую направленность его мышления, которая в условиях идеологической диктатуры привела ученого к трагической раздвоенности и приспособленчеству. Отдавая должное роли научной школы в истории русской академической мысли, авторы признают, что в мировоззренческом отношении «формализм – одно из звеньев русского утопизма начала XX в.» (с. 235).

Ряд работ сконцентрирован скорее на рассмотрении конкретных художественных текстов, чем на формулировке некоторого теоретического компонента. Мотивному анализу посвящены статьи В. Коно о «московской трилогии» А. Белого и Е.Н. Роговой о чеховской «Даме с собачкой». К проблеме диалога с текстами-предшественниками обращаются А.А. Фаустов (цель статьи которого – идентифицировать позицию лирического субъекта в «Парусе» М. Лермонтова) и И.П. Смирнов, обнаруживший сюжетные и ономастические параллели между «Даром» В. Набокова и сочинениями Е.А. Ган (в первую очередь повестью «Напрасный дар»). Смысл литературной игры Набокова, по мысли ученого, заключается не только в подчеркнутой самооценности любого художественного текста, но и в обращении к пушкинской теме через литературный контекст его времени. На примере рассказа Ю. Олеши «Зеркальце» Л.Ю. Фуксон демонстрирует, как «благодаря следованию читателя в направлении, “подсказываемом” самим текстом» (с. 171–172), может быть дешифрована смысловая структура художественного произведения. Не-

² Хализев В.Е., Холиков А.А., Никандрова О.В. Русское академическое литературоведение: История и методология (1900–1960-е годы): Учеб. пособие. М.: СПб., 2015.

обходимо особо отметить источниковедческую и текстологическую ценность работы Д.М. Магомедовой, посвященной переписке А. Блока и Л. Блок, до сих пор не опубликованной в полном объеме.

К сожалению, не всегда авторы сборника преодолевают терминологический «плен лингвистики», а некоторые из них не остаются беспристрастными в оценках исследуемых феноменов. За тонким анализом соцреалистических песен-гимнов о Москве проглядывает неприязнь В.Г.Щукина к советскому прошлому: «...читая и слушая это, великолепно отдаешь себе отчет в том, что все это отчаянная пошлятина, но тем не менее пошлятина милая, задушевная...» (с. 243). Излишне натуралистичным кажется и описание карнавального поведения, суть которого хорошо знакома из работы Бахтина о Рабле. Впрочем, кто-то наверняка посчитает такой стиль приемлемой альтернативой сухому академизму.

Пожалуй, лучший подарок для юбиляра – видеть, как плоды собственных исследований становятся основой для новых научных разработок и осмыслений. Безусловно, сборник займет значимое место в библиотеке любого филолога. Книга действительно представляет собой масштабный научный диалог, в котором различные голоса не заглушают, а органично дополняют друг друга, руководствуясь общим солидаритарным вектором. И, хотя в письме к В.В. Максиму В.И. Тюпа с грустью признается, что «типологическое мышление свойственно только меньшинству филологов, а среди тех, кто занимается художественным смыслом, – абсолютному меньшинству» (с. 35), материалы изданного сборника свидетельствуют об обратном.

А. В. Филатов

Сведения об авторе: Филатов Антон Владимирович, магистрант кафедры теории литературы филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
E-mail: Fil201292@yandex.ru.

Калита И.В. Стилистические трансформации русских субстандартов, или книга о сленге. М.: Дикси Пресс, 2013. 240 с.

В соответствии с аннотацией на обороте титула книги, рецензируемая монография «представляет отдельные этапы развития стилистической системы русского языка и обозначает роль сленговых единиц в размытии границ стилей на рубеже XX–XXI веков», «дает наглядный пример изменения стилистической системы конкретного языка под воздействием субстандартной лексики в период, когда наплыв единиц сниженного регистра имеет лавинообразный неконтролируемый характер», при этом «воздействие сленга на стандартный язык представлено в рамках стилистического дрейфа как явление закономерное, повторяющееся в языке через некоторые промежутки времени», а сам «сленг представлен как импульс к трансформации языка, как генератор его обновления» (с. 2).

Монография получила премию «Книга года 2014» ректора университета имени Пуркине в Усти-над-Лабом (Чехия), победила в номинации «Филология; искусствоведение; культурология» международного конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере – 2014» (Киров) и заняла призовое место на международном конкурсе научных изданий «Global Science 2014» (Казань).

Рецензирующий рукопись данного исследования профессор В.М. Мокиенко представляет автора монографии И.В. Калиту как «уже известного чешскому читателю специалиста по теоретическим проблемам жаргонологии» и отмечает, что «ее новая книга продолжает анализ этой актуальной темы на новом и свежем языковом материале» (4-я страница обложки).

Важно и то, что родившаяся в Бресте и изучавшая в Белорусском государственном университете в Минске белорусистику и русистику, а в «докторантуре» (=аспирантуре) Карлова университета в Праге – славистику и с 2001 г. преподающая русский язык студентам университета имени Пуркине в Усти-над-Лабом в северной Чехии И.В. Калита тем самым может оценить данную проблематику не только «изнутри» (с позиции носителя русского языка), но и «снаружи» (с позиции носителя язы-

ка белорусского или чешского), ведь современные русский и чешский языки демонстрируют разительное несходство как в области непосредственно самой русской и чешской языковой ситуации, так и в научном осмыслении данной ситуации в русистике и богемистике, что порой приводит к крайне прискорбным последствиям.

Например, специфической особенностью чешской языковой ситуации является наличие так называемого «обиходно-разговорного чешского языка» (*obecná čeština*), а специфической особенностью языковой ситуации русской – наличие просторечия, которое в последнее время стали подразделять на «просторечие-1» малообразованных пожилых женщин и «просторечие-2» малообразованных молодых и среднего возраста мужчин (см., например, работы Л.П. Крысина). В результате появляется искушение эти идиомы типологически отождествить, что мы и наблюдаем, например, в статье «Просторечие» московского «Лингвистического энциклопедического словаря» 1990 г. Однако такое отождествление противоречит как собственно лингвистическим, так и социолингвистическим критериям.

Во-первых, чешский обиходно-разговорный язык, в отличие от русского просторечия, является системным языковым образованием, характеризующимся языковой нормой (!), пусть и не такой строгой, как цементированная кодификацией норма литературного чешского языка.

Во-вторых, круг носителей обиходно-разговорного чешского языка отнюдь не ограничивается людьми с низким уровнем языковой культуры, как у русского просторечия, будь то так называемое «просторечие-1» или же «просторечие-2» (см. выше). К чешскому обиходно-разговорному языку при каждом удобном случае обращается и университетский профессор, и директор музея, и дипломат высокого ранга, потому что такое обращение свидетельствует не о недостаточно высоком образовательном уровне говорящего, а о неформальной обстановке общения, сама же языковая ситуация в Чехии близка к ситуации классической диглоссии Ч. Фергюсона с автоматическим переключением кодов (не будем углубляться в проблематику, отставивая ее диглосный, преддиглосный или постдиглосный характер).

По тем же причинам с чешским обиходно-разговорным языком ни системно, ни функционально не соотносим формирующийся, как считают некоторые исследователи, русский «общий сленг» ($\neq$ «общий жаргон»).

Весьма существенно отличаются и традиции осмысления данных языковых ситуаций в чешской и в отечественных стилистических иссле-

дованиях, хотя они и восходят по сути дела к одному источнику – работам лингвистов Пражского лингвистического кружка, написанным в 1930-е гг.

В центре интересов отечественной стилистики традиционно был язык художественной литературы, и лишь в последние годы ситуация изменилась, ср. выступление О.Г. Ревзиной на II Международном симпозиуме «Славянские языки и культуры в современном мире» о том, что художественный дискурс теряет свою востребованность и уходит на периферию, тогда как главным становится дискурс публицистический, что актуализируются социолекты и профессиональные языки, то есть о том, что чешские лингвисты учитывали еще четверть века назад, приступая к проекту Чешского национального корпуса. Отбор текстов для подкорпуса SYN2000 – первого из ряда 100-миллионных подкорпусов современных письменных текстов в составе Чешского национального корпуса – осуществлялся на основании социологических данных о чтении книг и периодики гражданами Чешской республики в последнее десятилетие XX в.: наличие и степень представленности в корпусе конкретных изданий и авторов зависит от их читаемости среднестатистическим чехом, поэтому большую часть материала SYN2000 образуют публицистические тексты (60%), на втором месте находятся специальные тексты – справочники, энциклопедии и т.д. (25%), на третьем – беллетристика (15%). При этом по мере увеличения объема Чешского национального корпуса (в настоящее время объем одного только (под)корпуса современных письменных текстов SYN определяется в 3,626 миллиарда токенов) доля художественных текстов еще более уменьшалась, тогда как Русский национальный корпус, по выражению одного из его создателей В.А. Плунгяна, был и остается литературоцентричным.

Показательно сопоставление отечественной и чешской традиции в отношении функциональных стилей, которые лингвисты Пражского лингвистического кружка называли «функциональными языками». Богемистика продолжает успешно пользоваться (например, при стилистической разметке вышеупомянутого Чешского национального корпуса) разработанной Б. Гавранеком четырехкомпонентной классификацией функциональных стилей, которая на русской почве превратилась в классификацию пятикомпонентную за счет раздвоения «специального функционального стиля» на «научный функциональный стиль» и «официально-деловой функциональный стиль». Этому ничуть не мешает появление в «Настольной грамматике чешского языка» (Příruční mluvnice

češtiny. Praha, 1996) более подробной «Таблицы функциональных стилей», включающей 12 компонентов (в том числе «рекламный функциональный стиль») с возможностью дальнейшего членения, когда появляется, в частности, и «религиозный функциональный стиль» (náboženský), который, в соответствии с соответствующей статьей «Энциклопедического словаря чешского языка» (Encyklopedický slovník češtiny. Praha, 2002), может, в свою очередь, подразделяться на «проповеднический» (kazatelský), «богослужебный» или «литургический» или «обрядовый» (bohoslužební или liturgický или obřadní), «молитвенный» (styl moliteb) и т. д. В этой же статье отмечается возможность использования в составе «религиозного» стиля, в зависимости от традиций того или иной конфессии, так называемых агиолектов (hagiolekt = lingua sacra), например древнееврейского, латыни, церковнославянского. Возможность сосуществования и краткой, и подробной (в различных вариантах) классификаций объясняется, в частности, выбором адекватной целям описания степенью обобщения материала.

Экскурс в чешскую стилистику был нужен потому, что значительная часть рецензируемой монографии И.В. Калиты посвящена обсуждению проблем выделения на современном русском материале «рекламного» и «церковно-религиозного» стилей, под которым в монографии «подразумевается коммуникация служителей культа вне стен храма с целью привлечь внимание к религии» (с. 107), и огромное количество противоречий и вопросов (как тех, которые автор монографии пытается решить, так и тех, которые возникают по ходу чтения у читателя) можно было бы легко снять, просто применив к русскому материалу изложенную в предыдущем параграфе концепцию М. Елинека и Я. Крауса.

Мы могли бы сформулировать данную концепцию применительно к русскому материалу следующим образом. Можно сохранить традиционную систему функциональных стилей русского языка, а можно, исходя из тех или иных изменившихся условий, в том числе условий экстралингвистических, изменив степень обобщения материала, выделить дополнительно «рекламный функциональный стиль» и «религиозный функциональный стиль», причем особенностью последнего является возможность инкорпорированности в него того или иного агиолекта (у иудеев – древнееврейского, у мусульман – арабского, у православных – церковнославянского и т. д.). В качестве возможного критерия выделения «религиозного функционального стиля» мы рассматриваем его использование в «религиозной сфере коммуникации», то есть в молитвенном общении с

Богом, а также в общении верующих между собой в связи с исполнением религиозных обрядов.

И.В. Калита предупреждает, что «при рассмотрении субстандартных единиц» она будет «исходить из теоретических посылок, предложенных в [ее более ранней] книге “Контур и формы речевой субстандартности: русский язык vs. чешский язык. Русский сленг в процессе развития” [Obrysy a tvary nespisovnosti: ruština vs. čeština. Komparativní pohled. Ruský slang v procesu vývoje], которая вышла в 2011 году в Чехии», а «в связи с тем, что предлагаемая читателю книга непосредственно опирается на теоретические формулировки, приведенные в указанном выше чешском издании», считает необходимым «познакомить читателя с основными авторскими определениями» (с. 17). Мы процитируем эти «основные авторские определения» дословно:

«Автор классифицирует субстандартную лексику и делит ее на две группы:

субстандартный словарь 1. (обценная лексика);

субстандартный словарь 2.

Субстандартный словарь 2. включает в себя два разряда:

(2а) *Профессиональная лексика и лексика групп по интересам.* Это лексика условная, ограниченная сферами употребления.

(2б) *Метафорические выражения, или собственно сленг.*

В зависимости от выполняемых каждой группой единиц функций и сфер использования, психологических связей, а также от характеристик их продуцентов и адресатов, с целью более точного дефинирования и отделения *профессиональной лексики* и *лексики групп по интересам* от других разрядов сниженного регистра, автор предлагает использовать для их обозначения термин ПРОФИРЕЧЬ или ПРОФИЛЕКТ (чешск. – PROFIMLUVA, PROFILEKT). Данный лексический пласт в чешской традиции принято относить к *сленгу в широком понимании*.

В отличие от разрядов, связанных с профессиональной или околопрофессиональной коммуникацией, *жаргон* рассматривается как социолект, связанный с определенной социальной группой, объединенной общими интересами, напр. воровство, попрошайничество (на рубеже XIX–XX и XX–XXI веков у некоторых социальных групп попрошайничество – как работа). Развитие *жаргона* и *профилекта (профиречи)* – это диахронное преобразование одного и того же явления: речь не идет о явлениях, развивающихся в одном временном измерении, речь идет о “отце” и его “потомке”.

[Приводится схема «жаргоны XIX век – начало XX века» > «профилекты (профиречь) начало XX века».]

Поэтому термин *жаргон* предложено воспринимать как термин устаревший, т. к., за небольшим исключением, он отражает старший (примерно на 100 лет) период развития профилектов – период допрофессиональный, когда определенных профессий в их современном понимании еще не существовало, а их функции выполняли ремесла, часто связанные (или ассоциировавшиеся в представлениях потребителей) с жульничеством. Жаргон передал свое генетическое наследство профилектам и (почти) исчез. Поэтому термин жаргон можно использовать для обозначения устаревших групп профилектов – жаргонов, развивавшихся в XIX – начале XX века.

Субстандартный словарь 2б объединяет собственно сленговые единицы.

Значительная часть сленгового словарного запаса представлена метафорами, возникшими на русской лексической базе. Вторая значительная составляющая – новейшие заимствования или их русифицированные варианты, в подавляющем большинстве – англицизмы или интернационализмы.

Что обозначаем термином *сленг*?

Сленг – явление разговорной речи, носящее инвазийный характер. Сленговые единицы не образуют самодостаточную коммуникативную систему, они «вписываются» в существующие в языке грамматические и синтаксические стандарты, их вклад в язык заключается в том, что постепенно они заменяют устаревающие единицы литературного языка. Сленговые единицы – это метафорические единицы и выражения, обладающие разной степенью проявления экспрессии, их семантика привязана к определенному историческому периоду и понятна большинству носителей национального языка. Сленг – репрезентант изменяющихся ментальных особенностей носителей языка в конкретный период» (с. 17–19).

Выделенный полужирным курсивом текст дан в качестве определения центрального для монографии понятия (перед нами «...книга о сленге»), однако из него мы узнаем лишь то, что и так известно: сленг не является системной полноуровневой языковой формацией (поэтому в богемистике сленг объединяют с жаргоном и аргю и противопоставляют литературному чешскому языку, обиходно-разговорному чешскому языку, территориальным диалектам / интердиалектам; идиомы из второй

группы могут существовать самостоятельно, идиомы из группы первой – только на базе какого-то идиома из второй группы). В этом выделенном тексте есть утверждения, с которыми нетрудно согласиться (*Сленговые единицы не образуют самодостаточную коммуникативную систему*), есть утверждения, которые можно оспорить (*Сленг – явление разговорной речи*), есть утверждения неоднозначные и просто непонятные, когда без специальной оговорки используется не являющийся общепринятым термин (Google документирует употребление термина *инвазийный* исключительно в медицинских и биологических текстах; в этих же текстах находит термин *инвазивный* и Яндекс, упорно рассматривающий огласовку *инвазийный* как результат опечатки). При этом, однако, не сказано главное – для И.В. Калиты сленг не социолект (об этом будет сказано на с. 42), а идиом, вышедший за рамки социальной группы и ставший «общим» для всех носителей языка (по крайней мере автор рецензии на основании остального текста монографии понял концепцию И.В. Калиты так).

Исследователь имеет право корректировать уже сложившуюся терминологию в той или иной области, если она перестает соответствовать современному уровню развития научного знания, однако эта новая терминология должна быть как минимум не хуже старой как в плане соответствия названному уровню, так и в плане внутренней строгости.

В связи с этим процитированные выше «теоретические формулировки» И.В. Калиты не представляются удачными по следующим причинам:

1. Монография написана (насколько можно судить по ее тексту) в рамках выросшей из работ Фердинанда де Соссюра и членов Пражского лингвистического кружка системно-функциональной научной парадигмы, которая и сейчас занимает весьма почтенное место как в отечественной, так и в чешской лингвистике, однако в «формулировках» мы наблюдаем недопустимое смешение тех явлений, которые в данной научной парадигме относятся к разным разрядам, а именно к разрядам *идиом* («сленг», «жаргон», «социолект», *«профилект»), *лексический состав идиома* («субстандартная лексика», «обценная лексика», «профессиональная лексика», «лексика групп по интересам»), *parole-реализация идиома* («профиречь»), *функциональный потенциал идиома* («явление разговорной речи» и т. д.).

4. Не охарактеризовано соотношение данных «теоретических формулировок» со взглядами других современных исследователей (хотя бы в мейнстриме) и не показано их преимущество перед этими другими взглядами в случае несовпадения.

2. Предлагаемое членение субстандартной лексики на два субстандартных словаря, из которых второй подразделяется еще на два разряда, ничуть не лучше описывает ситуацию, чем вполне логичное выделение такого количества «субстандартных» словарей, сколько мы сочтем необходимым выделить субстандартных идиомов (в том числе сленгов), ср. концепцию П. Сгалла и И. Гронекса в их книге «*Čeština bez příkras*» (Praha, 1992), в которой они относят к литературному языку лексику «высших сленгов» (медицинского, студенческого и т. д.) и выносят за его рамки лексику «низших сленгов» (сленга наркоманов, железнодорожников и т. д.).

3. Предлагаемые «теоретические формулировки» отличаются неполнотой, когда те или иные используемые термины и понятия оказываются не охарактеризованными вообще (*инвазийный*) или охарактеризованными недостаточно (*сленг, субстандарт*). О том, что «стандартный язык» (см. аннотацию к книге на с. 2) для И.В. Калиты, в отличие от большинства русистов и богемистов, не является синонимом «литературного языка», мы узнаем лишь на с. 21, причем изложенная там мотивация введения нового термина (стандартный язык) в дополнение к уже существующему (литературный язык) явно неубедительна, поскольку в этой мотивации речь о явлениях исключительно сферы parole.

4. Эти «теоретические формулировки» отличаются многословием и нечеткостью, что, впрочем, характерно для стиля всей монографии, ряд пассажей из которой заставляет вспомнить о «Корчевателе» (созданной компьютером с помощью программы генерации псевдонаучных текстов статьи, которую М. Гельфанд и другие шутники отправили в провинциальный и до этой истории «рецензируемый» «Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов», где она и была за не очень большие деньги напечатана), ср.:

«Дрейф – частичное отклонение, но не коренная ломка, он характеризует внутрисистемные отношения отдельных разделов языкознания, и тем раскрывает свой глубокий двойственный характер – непосредственную зависимость от особенностей лексических и морфологических (фонетические изменения занимают более длительный временной отрезок, намеки на них сегодня ощутимы в сленге падонков)» (с. 54).

Намек на какие фонетические изменения ощутимы в «сленге падонков», являющимся не результатом языковой эволюции, а продуктом игры Дмитрия Соколовского и его последователей на сайтах fuck.ru, fuckru.net и udaff.com? В чем «непосредственная зависимость [стилистического

дрейфа] от особенностей лексических и морфологических»? И почему речь идет о двойственности, если после тире указано не два, а одно качество этого дрейфа – только что названная «непосредственная зависимость...»? (На последующих страницах, где «двойственность природы стилистического дрейфа» будет обсуждаться вновь, появятся действительно два качества «внутренних трансформаций стилистической системы» [=стилистического дрейфа], но это будут качества совершенно иные, а именно «психологическая обусловленность» и «связь с внешними влияниями»). Какие «внутрисистемные отношения» могут быть у теоретической лингвистики, прикладной лингвистики и прочих «отдельных разделов языкознания» и каким образом эти «внутрисистемные отношения» могут быть вышеупомянутым дрейфом характеризоваться, при этом раскрывая его «глубокий двойственный характер»?

В приведенной цитате речь идет о «стилистическом дрейфе» – втором после сленга центральном понятии монографии (слово «дрейф» употреблено в тексте книги около полусотни раз, а сочетание «стилистический дрейф» – около двух десятков раз), под которым имеется в виду, судя по контекстам его употребления, то ли давно известный процесс изменения стилистической значимости тех или иных слов и выражений в процессе развития языка (когда в 2005 г. издательство LEDA переиздало большой чешско-русский словарь 1973 г., стилистическую помету сменили сотни слов), то ли общее падение языковой культуры общества, вызванное вступлением в общественную жизнь детей «лихих девяностых» (одно из определений культуры, в том числе культуры языковой, – система запретов; например, мужчина не должен сидеть в присутствии стоящей женщины или, по свидетельству исследователя традиций использования русской экспрессивной фразеологии Б. Успенского, не должен выражаться матом при женщинах и детях; решившая притворяться бывшей гимназисткой героиня романа Б. Акунина «Любовник смерти» заучивает наизусть список слов, которые гимназистке **нельзя** произносить вслух). Ни то, ни другое не имеет, по нашему мнению, никакого отношения к используемому Э. Сепиром понятию «языкового дрейфа» – явления, которое А.Е. Кибрик сравнивал с генетической программой, заложенной в структуру языка и проявляющей себя в независимом однонаправленном изменении родственных языков. Авторское же определение «стилистического дрейфа» («Стилистический дрейф – это значительные, ощутимые носителями языка в определенный отрезок времени видоизменения в структуре языка», с. 54) принять всерьез мы не можем, так как ни о каких

подобных изменениях «в структуре языка» в книге не говорится. Да и возможно ли, например, чтобы наш современник, вернувшись из отпуска, обнаружил, что за это время в русском языке творительный падеж слился с дательным, как это когда-то произошло в греческом, или что русский инфинитив теперь склоняется, подобно турецкому инфинитиву?

Масштабность стилистических пертурбаций в русском языке последних десятилетий, в связи с которой в монографии и используется понятие «стилистический дрейф», – «Под термином *стилистический дрейф* будем понимать стремительное движение единиц различных языковых уровней, ведущее к ощутимым изменениям в структуре субкодов (системе стилей одного языка)» (с.52-53); «Дрейф проявляется, во-первых, в стремлении стилистической системы к дальнейшей градации функциональных стилей. Наряду с пятью, выделяемыми традиционно в XX веке: научный, официально-деловой, публицистический, художественный и разговорный, в начале XXI века выделяют новые стили – церковно-религиозный (Л.П. Крысин, О.Б. Сиротнина, О.А. Крылова) и рекламу (Е.С. Кара-Мурза, О.А. Крылова, Е.Г. Соболева и др.)» (с. 65), – представляется сильно преувеличенной. Увеличение числа функциональных стилей русского языка (с пяти до семи, то есть на 40%), к тому же не всеми русистами принимаемое, само по себе не является, как уже упоминалось, показателем изменения языка, иначе, исходя из данной логики, получилось бы, что в чешском языке аналогичный «стилистический дрейф» не просто тоже есть, но что он там протекает на порядок интенсивнее (там количество функциональных стилей увеличено с четырех до двенадцати с возможностью дальнейшего членения, то есть на 200% и более). Тех трех сотен словарных единиц, которые за «последние приблизительно 25 лет устоялись и вжились в языке настолько, что в начале нашего века их начали выделять в разряд *общего* сленга» (с. 73), как представляется, слишком мало, чтобы сформировать полноценный идиом, сопоставимый, скажем с чешским «обиходно-разговорным языком» (даже если речь не идет о «фантомном идиоме» и не о затухающем эхе «лихих девяностых»). Однако в любом случае авторский тезис о том, что «разгерметизация ранее охраняемого запаса единиц сниженного регистра привела к половодью в языке, размывшему границы существующих стилей» (с. 88), нуждается в подтверждении фактическим материалом, чего в монографии, увы, не наблюдается: ни один из примеров, приводимых в монографии для иллюстрации особенностей «церковно-религиозного стиля» (один из аспектов декларируемого размытия системы стилей),

ничуть не выходит, по нашему мнению, за рамки классического «публицистического стиля». К тому же для иллюстрации данного стиля, под которым в монографии «подразумевается коммуникация служителей культа вне стен храма с целью привлечь внимание к религии» (с. 107), в монографии используются высказывания не только «служителей культа», но также и явно антиклерикально настроенных читателей «Новой газеты».

К сожалению, в монографии регулярно нарушается принцип, которому американских студентов учат в рамках предмета *Academic English*, а студентов отечественных – в рамках спецсеминаров: каждый высказываемый авторский тезис должен подтверждаться конкретной ссылкой на фактический материал либо ссылкой на конкретные результаты уже опубликованной работы (списка фамилий в начале главы или списка работ в конце монографии недостаточно). Например, раздел «2.2. Сленг как метафора», начинающийся на с. 76 тезисом «Метафоризация – основная форма образования русских сленговых единиц» и содержащий различные рассуждения автора монографии по данному поводу, не содержит ни одного (!) примера, так что корректность / некорректность ни одного из высказанных в данном разделе утверждений читателю оценить нельзя.

Так же регулярно нарушается и другой не менее важный принцип построения научного текста – все используемые термины, если речь не идет о терминах всем заведомо известных и однозначных, должны быть охарактеризованы. В монографии же мы, например, читаем «Сленг можно сравнивать именно с поэтической речью, функция которой, по мнению Я. Мукаржовского, заключается в максимальной актуализации языкового акта. Актуализация является обратной стороной автоматизации» (с. 23). Я убежден, что абсолютное большинство отечественных читателей данной монографии (а ведь именно для них эта монография в первую очередь и печаталась – в Москве и на русском языке) не в курсе, что в чешской лингвистике термин «стилистическая актуализация» используется в совершенно ином значении, чем в русской. Чехи, включая Я. Мукаржовского, об «автоматизированном» (*automatizovaný*) употреблении слов, словосочетаний, синтаксических конструкций, графического и / или фонетического оформлений текста говорят тогда, когда это употребление отвечает стилистической норме, а об употреблении «актуализированном» (*aktualizovaný*) – когда данное употребление этой норме противоречит. При этом регулярное актуализированное употребление того или иного средства приводит к его автоматизации, тогда как средство автома-

тизированное, напротив, может под воздействием тех или иных факторов актуализироваться. В отечественной же традиции «стилистическая актуализация» – это замещение обычного значения слова значением переносным, актуальным лишь в пределах данного художественного произведения; ср. лирическую миниатюру А.А. Вознесенского «Война»: *С иными мирами связывая, глядят глазами отцов дети – широкоглазые перископы мертвецов.*

Возражения вызывают и некоторые встречающиеся в книге утверждения. Например, как и в своих более ранних публикациях, И.В. Калита «сознательно использует букву *a* в написании слова *беларус*», так как считает, что «в современном контексте употребления устаревших названий – Белоруссия <...>, отражающих концептосферу советской эпохи и воспринимающиеся сегодня как исторически устаревшие обозначения бывшей советской колонии, звучат неэтично» (с. 57). В многократно (по-русски, по-чешски и по-английски) упоминаемой в рецензируемой монографии книге М. Кронгауза убедительно показано, что сохранение русским языком традиционного облика некоторых географических названий (*Белоруссия*) и соответствующих дериватов, равно как и традиционных предлогов с этими названиями (*на Украине*), является не «посягательством на независимость» новых субъектов международных отношений, а свидетельством укорененности в русской культуре соответствующих феноменов. Это американцу все равно, как писать – *Kiev* или *Kyiv*, ведь значительная часть граждан «страны свободных и дома храбрых», как мы подозреваем, вообще не представляет, что речь идет о городе.

На с. 11 мы читаем: «В чешской традиции начала XX века сложилось два оппозиционных течения: ученые, входившие в Пражский лингвистический кружок, разрабатывали теоретические вопросы культуры речи; ученые, сплотившиеся вокруг журнала “Наша речь” (“*Naše řeč*”), изучали субстандарты, непосредственно “оперируя” живую речь». На самом деле «ученые, входившие в Пражский лингвистический кружок», плодотворно разрабатывали как теоретические вопросы культуры речи, так и проблематику, связанную с субстандартами: в первых же номерах издаваемого ПЛК журнала «*Slovo a Slovesnost*» мы находим статьи, посвященные арго, сленгу, разговорной речи (оцифрованные версии журнала доступны на <http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php>). Их противостояние с журналом «*Naše řeč*», ставшим тогда оплотом языкового пуризма, было в другом: члены Пражского лингвистического кружка призывали исследовать чешский язык во всем богатстве форм его существования, а издатели

журнала «Naše řeč» боролись за узко понимаемую «чистоту» письменно-го и прежде всего художественного текста; ср. крайне пафосную фразу о том, как «эпоха наша воздымает полузабытое знамя очищения языкового», которой начинается статья В. Мостецкого о языке классических романов А. Ирасека: *Právem doba naše vedle jiných hesel, volajících v boj za velké statky kulturní, zdvihá polozapomenutý prapor očisty jazykové* (оцифрованная статья доступна на <http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=111>).

Ср. также: «Смута способствовала ускорению медленно текущего процесса европеизации России» (с. 58–59). А как насчет «ускорения... европеизации России» в 1941–1943 гг.? «В парадигме современный русский язык – церковнославянский язык можно видеть отражение русского менталитета, для которого характерен крайний идеализм, практически несовместимый с бытовыми категориями» (с. 118). А как же совмещали с «бытовыми категориями» церковнославянский язык (да еще старопечатных книг) дореволюционные миллионеры-старообрядцы? Да и вообще, то, что в монографии говорится в связи с церковнославянским языком, заслуживает, по нашему мнению, отдельного рассмотрения и явно не укладывается в оставшиеся строки рецензии. Здесь заметим лишь, что рекомендуемый И.В. Калитой «перевод языка богослужения на модернизированные языковые рельсы» в целях «объединения нации» (с. 119) мы не считаем удачной идеей, учитывая опыт подобной модернизации при патриархе Никоне, не говоря уже о свойственной современной России поликонфессиональности (включая весьма солидную атеистическую составляющую, то есть тех, кто «верит, что Бога нет»).

Суммируя сказанное, отметим, что данная монография содержит весьма интересный языковой материал – интересный тем более, что речь идет, на наш взгляд, об угасающем эхе «лихих девяностых», то есть о феномене, уходящем и частично уже ушедшем в прошлое, однако ее переизданию (вполне вероятно, учитывая популярность данной книги в Сети) должна предшествовать самая серьезная переработка текста.

А.И. Изотов

Сведения об авторе: Изотов Андрей Иванович, докт. филол. наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: a.i.izotov@mail.ru.

К юбилею Н.М. Карамзина

1 и 2 декабря 2016 г. кафедра истории русской литературы филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова провела научную конференцию «Карамзин и русская литература», приуроченную к юбилею автора «Бедной Лизы», «Писем русского путешественника», «Истории государства российского», поэта, переводчика, журналиста, с творческим наследием которого русская литература XIX–XX вв. вела постоянный, часто непростой, но никогда не прекращавшийся диалог.

В работе конференции приняли ученые филологического факультета, а также исторического факультета и факультета журналистики Московского университета, Института мировой литературы РАН, Государственного музея А.С. Пушкина (Москва), Московского педагогического государственного университета, Российского государственного гуманитарного университета, Московского государственного областного университета, Нижегородского и Саратовского государственных университетов.

Основные проблемы, которые оргкомитет конференции стремился обсудить в первую очередь и из представления о значимости которых исходил, осуществляя отбор заявок, сводятся к следующему.

Влияние Карамзина-идеолога и историка на русскую общественную жизнь, идеологическую борьбу, культурные конфликты различных типов было и остается сложным и даже парадоксальным в том смысле, что на его наследие в разные периоды времени пытались опереться разные – в том числе чуждые и даже враждебные друг другу – политические группировки, не прекращавшие вместе с тем вести с ним борьбу, смысл которой заключался в том, чтобы «уточнить» или «пересмотреть» те аспекты его многообразной деятельности, которые не укладывались в их доктрины. На этой основе формировались упрощенные, но влиятельные представления о Карамзине-либерале, «республиканце» и космополите, о Карамзине-реакционере и апологете абсолютизма, до сих пор активно конкурирующие друг с другом. При этом литературная биография, идеология, поэтика Н.М. Карамзина, его деятельность как литератора, журналиста, литературного критика, историка открывались многим поколе-

ниям исследователей в их неслиянности и единстве, как разные стороны сложной индивидуальности, сумевшей сохранить себя в культурной памяти поколений.

Вместе с тем организаторы конференции придавали существенное значение тому факту, что Карамзин занял особое место в истории Московского университета, с которым был связан несколько десятилетий и деятельности которого посвятил статьи «О верном способе иметь в России довольно учителей» и «О публичном преподавании наук в Московском университете».

С приветственными словами в адрес участников конференции выступили декан филологического факультета *М.Л. Ремнева* и заведующий кафедрой истории русской литературы *В.Б. Катаев*.

Со вступительным словом, посвященным теме «Карамзин и Московский университет», выступил *Д.П. Ивинский*, охарактеризовавший роль Московского университета в становлении личности Карамзина, его литературные, научные и личные связи с профессорами Московского университета, его влияние на университетское преподавание истории России.

Доклады участников конференции были разделены оргкомитетом на четыре группы.

Первая секция была посвящена теме «Карамзин и его литературно-общественная среда» (ведущие *Н.И. Михайлова*, *Д.П. Ивинский*); здесь прозвучали доклады *Н.И. Михайловой* «В.Л. Пушкин и Карамзин», *М. А. Короповой* «Карамзин и Жуковский», *И. Е. Прохоровой* «Опальный Вяземский и Карамзин в диалогах о скуке и “приятностях” жизни», *С.И. Панова* «Кн. П.А. Вяземский и Карамзин», *Д.П. Ивинского* «А. С. Пушкин и Карамзин». Биографические факты, исследовавшиеся в докладах этой группы, рассматривались как свидетельствующие, во-первых, об оригинальных аспектах восприятия Карамзина, во-вторых, об устойчивых или по крайней мере различных особенностях литературного быта его окружения, а вместе с тем, в-третьих, о тех специфических чертах литературного процесса эпохи Карамзина, Жуковского и Пушкина, которые в отраженном и, конечно, неполном виде могут быть восприняты через посредство текстов литературных произведений, связанных с деталями частной жизни поэтов. Все докладчики, выступившие на данной секции, исходили из представления о том, что изучение литературных отношений Карамзина с его современниками, затрудненное нехваткой источников (так, переписка его известна нам лишь в не-

большой ее части) и, соответственно, твердо установленных данных, подразумевает осуществление сложных реконструкций, опирающихся на свидетельства из вторых и третьих рук, на косвенные «улики», на результаты биографического анализа литературных произведений, характер трансформации действительности в которых не является очевидным и обсуждается главным образом гипотетически. Поэтому роль Карамзина в литературном процессе его времени признавалась выясненной лишь частично (при общем понимании ее исключительной значимости), а предпринимающиеся время от времени опыты концептуальных обобщений виделись плодотворными постольку, поскольку они помогали уточнить границы вряд ли до конца преодоленной смысловой неопределенности. Особенное внимание аудитории привлек доклад *Н.И. Михайловой*, которая, обсуждая «юбилейного» Карамзина, напомнила о еще одном 250-лети, отмечающемся в текущем году, – В.Л. Пушкина, «карамзиниста» и скромного поэта (1766–1830).

На второй секции прозвучали доклады по теме «Карамзин и русская литература» (ведущие *В.Л. Коровин*, *А.Б. Криницын*, *А.В. Архангельская*, *Ю.Б. Орлицкий*), в том числе *В.М. Гуминского* «“Земной рай” Франции у Фонвизина и в “Письмах русского путешественника” Карамзина, *А.Д. Ивинского* «О письмах М.Н. Муравьева к С.М. и Ф.Н. Луниным 1781–1792 гг. (по материалам ОПИ ГИМ)», *В.А. Воронаева* «Гоголь и Карамзин», *К.М. Захарова* «И Карамзин сказал “Законы осуждают”: К образу гоголевского Хлестакова», *И.А. Беляевой* «Тургенев и Карамзин», *С.К. Казаковой* «Гончаров и Карамзин (“Обыкновенная история”», *А.Б. Криницына* «Достоевский и Карамзин», *Л.Ф. Кациса* «Преступление и наказание в “Борисе Годунове” О. Мандельштама: тенишевец между Карамзиным и Достоевским», *С.А. Асеевой* «Концепция истории у Карамзина и Толстого», *Ю.Б. Орлицкого* «“Карамзин” Людмилы Петрушевской: структура и смысл заглавия», *А.В. Архангельской* «Женское лицо новгородской политики XV века в литературном и историческом дискурсе Карамзина и Б. Акунина». В этих докладах оказался охвачен весь временной диапазон взаимодействия художественной системы, созданной Карамзиным, с творчеством других авторов – от его современников до поэтов нашего времени, обращение которых к Карамзину выглядит необязательным и даже несущественным, но при этом может рассматриваться как симптом сложных процессов исчерпания возможностей «инобытия» «сентиментализма» (и – шире – «русской классики») в постсоветской литературе. Во всяком случае, несмотря на то что

период наиболее интенсивного влияния Карамзина на литературную культуру и литературную жизнь России завершился в пушкинскую эпоху, влияние это, трансформировавшееся в сложный комплекс неявных, вроде бы необязательных, но оттого не менее существенных «цитат», переключек, «диалогов», подразумеваний, продолжает ощущаться до сих пор.

Третий раздел программы конференции составили доклады по теме «Поэтика Карамзина» (ведущие *Т.А. Алпатова*, *И.С. Юхнова*): «“Чужое слово” в прозе Карамзина» (*И.С. Юхнова*), «Проблема художественной целостности и жанр фрагмента в творчестве Карамзина (“Лиодор”» (*Т.А. Алпатова*), «Кантемир о “карамзинизме”» (*О.Л. Довгий*). Доклады *И.С. Юхновой* и *Т.А. Алпатовой* представили современный взгляд на центральные проблемы поэтики Карамзина: в них рассматривались соответственно формы и функции литературных подтекстов его прозы и становление эстетики литературного фрагмента как жанра, которому было суждено стать одним из ведущих в русской литературе XIX–XX вв. В третьем докладе «чувствительность» предстала как тематический атрибут ряда «средних» жанров, особенности стиля которых заинтересованно обсуждались задолго до Карамзина.

Четвертая секция объединила выступления по проблеме «Карамзин и европейские литературы». Здесь выступили *Н.Т. Пахсарьян* («Карамзинские мотивы в романе Андрея Макина “Женщина, которая ждала”»), *А.А. Евдокимов* («Драма Н. М. Карамзина “София”: Карамзин pro / contra Шекспир»), *А.А. Пауткин* («Письма русского путешественника” в кругу книжных источников: Карамзин и И.-В. фон Архенгольц», *В.Л. Коровин* («Карамзин – переводчик поэмы Галлера “О происхождении зла”»). Французский, английский, немецкий, швейцарский литературные контексты творчества Карамзина изучены все еще недостаточно. Первый доклад из этой группы был посвящен одному из современных французских романов, созданному литератором российского происхождения, который апеллировал к прошлому русской литературы, сохранявшему некоторое значение для него и для тех его читателей, которые могли идентифицировать, в частности, карамзинский подтекст его произведения. Во втором докладе были представлены результаты исследования сложного восприятия Карамзиным Шекспира, одного из тех его далеких предшественников, которых он воспринимал как создателей современного литературного пространства. Два заключительных доклада обсуждали старших современников Карамзина, историка и моралиста,

склонного к мистике: они представляли два «полюса» современной ему литературы, по отношению к которым ему пришлось определяться в собственном творчестве.

В обсуждении докладов принимали участие преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты филологического факультета.

Д. П. Ивинский

Сведения об авторе: Ивинский Дмитрий Павлович, докт. филол. наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. E-mail: dmitrij_ivinskij@mail.ru.

Конференция «Английский гений и мировая культура (в связи с 400-летьем со дня смерти У. Шекспира)»

2016 г., объявленный Годом языка и литературы Великобритании и России, бесспорно, прошел под знаком Уильяма Шекспира. 400-летнюю годовщину памяти великого стратфордianца с широким размахом отмечали как на родине, так и у нас. Отечественные ученые и деятели культуры не только приняли участие в многообразных мероприятиях, организованных Британским советом, но и подготовили ряд значительных научных событий, среди которых – крупномасштабная XXVI Международная научная конференция «Шекспировские чтения 2016: 400 лет бессмертия поэта» и академическое издание сонетов Шекспира в серии «Литературные памятники». Одним из серьезных, завершающих год мероприятий стала проведенная 25–26 ноября 2016 г. кафедрой истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ конференция «Английский гений и мировая культура».

Программу конференции определила заявленная в названии проблема – Шекспир и мировая культура. Участники, преимущественно отечественные литературоведы, обратились к различным формам взаимодействия наследия Шекспира с викторианским и последующим культурным контекстом, тем самым обнаружив, что без постановки теоретического вопроса, в какой мере контекст способен выявить смысл текста, невозможно решить одну из насущных задач шекспироведения – задачу поиска методов объективного описания произведений британского классика. Ученые указали на субъективность существующих в истории форм культурного освоения «шекспировского канона», включая научную, и подчеркнули, что в настоящее время, в условиях культурного плюрализма, массовой индустрии искусства и конфронтации различных литературоведческих подходов, эта субъективность особенно очевидна. В современном шекспироведении остро стоит проблема самой возможности объективного описания текстов английского драматурга, по-прежнему злободневны вопросы поэтики, жанрового состава и роли в культуре его

произведений. Многовековая история изучения Шекспира предъявляет ученому XXI в. также высокие требования к сохранению и воспроизведению уже накопленных знаний.

Во вступительном слове заведующий кафедрой истории зарубежной литературы, профессор *В.М. Толмачев*, отметив величие гения атлантического севера, богатство языка его произведений, указал на совершившееся в европейской культуре превращение Шекспира в актуальный во все времена текст, смысл которого в ряде случаев без остатка определяется контекстом. «Взяв кровь и плоть из собственной жизни»¹, каждая эпоха творит свой образ драматурга и потому, как Флобер о «Госпоже Бовари», может воскликнуть: «Shakespeare c'est moi». В.М. Толмачев подчеркнул важность «пристального» изучения пьес английского писателя, рассмотрел его наследие как форму искания Бога через культуру и тем самым наметил возможные пути развития отечественного шекспироведения.

На существующую в российском литературоведении потребность современного прочтения Шекспира указали профессор ВШЭ *И.Н. Лагутина* и профессор МГУ *О.Ю. Панова*. По достоинству оценив научные заслуги советской школы, ученые поставили под сомнение ее ценностные ориентиры. И.Н. Лагутина и О.Ю. Панова обратились к 1920–1930-м гг. и описали процессы формирования культа классики и ее идеологического присвоения в СССР. С точки зрения докладчиков, объявленный советским классиком Шекспир способствовал актуализации мифа о «подлинности» социалистической культуры и формированию понятия «народности классиков», а потому его наследие не могло получить беспристрастной научной оценки.

Трудность поиска методов, к которым надлежит обратиться современному отечественному шекспироведению, стала очевидной в развернувшейся на конференции дискуссии о значении исторического факта для интерпретации художественного произведения. Заведующий кафедрой сравнительной истории литератур РГГУ, профессор РАНХиГС *И. О. Шайтанов* сослался на монографию Б. Викерса «Присваивая Шекспира»², в которой автор, трактуя литературную теорию в терминах социолога В.Г.Рунсимана, доказывает ограниченность восходящих к (пост)структуралистской философии методик, так как они уделяют недостаточное

¹ Выражение А. Стриндберга.

² *Vickers B. Appropriating Shakespeare: Contemporary Critical Quarrels.* New Haven; London, 1993.

внимание собственно анализу текстов. В своем докладе И.О. Шайтанов показал, что факты биографии Шекспира позволяют истолковать некоторые традиционно темные места в его сонетах. В сборнике сонетов ученый выделил цикл, относящийся ко времени освобождения графа Саутгемптона из Тауэра в 1603 г. (№№ 104–126), и, обратившись к анализу 104-го сонета, дал убедительный пример традиционного непонимания метафоры без ее биографического подтекста. Тем самым И.О. Шайтанов доказал продуктивность избранного им метода для интерпретации и по тому верного перевода произведений Шекспира.

Обращение к фактологии, развил тему *А. А. Корчевский* (Денвер, США), плодотворно и при решении до сих пор актуального историко-литературного вопроса о составе «шекспировского канона». Докладчик остановился на проблеме авторства пьесы «Двойное вероломство, или Влюбленные в беде» (в редакции Л. Теобальда), которую представил как поддержанное многими учеными свидетельство о сотрудничестве Шекспира и Флетчера – создателя потерянного текста «Истории Карденио». Выполненный А. А. Корчевским первый русский перевод пьесы «Двойное вероломство»³ – существенный шаг в расширении отечественного «шекспировского пространства».

Включившийся в дискуссию профессор МГУ *А. А. Лунгарм* дал понять, что обращение к историческому контексту может быть и малопродуктивным – в том случае, если контекст абсолютизируется и потому отодвигает на второй план художественное своеобразие произведения. Так, при решении вопроса об отражении в шекспировских драмах значимого для его эпохи противостояния католиков и протестантов надлежит учитывать, например, пронизательное суждение Гете: «человек, подобный Шекспиру, подлинно верующий в благость природы, мог свободно развить свою чистую внутреннюю религиозную сущность, не считаясь с какой-либо определенной религией»⁴.

Большое внимание на конференции было уделено проблемам взаимодействия текстов Шекспира с современным ему культурным контекстом. Ученые выявили новые аспекты поставленной еще А.А. Аникстом задачи: «мысль, лежащая в основе художественной структуры» пьес Шекспира может быть понята лишь «в свете воззрений, существовавших в

³ *Шекспир У., Флетчер Дж.* Двойное вероломство, или Влюбленные в беде // Современная драматургия. 2016. № 3.

⁴ *Гете И. В.* Шекспир и несть ему конца! / Пер. Н. Манн // Гете И.В. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. Об искусстве и литературе. М., 1980. С. 313.

эпоху Возрождения»⁵. Так, профессор МосГУ *И.И. Лисович* в своем докладе отметила, что объектом изображения в драматургии Шекспира становятся пять чувств, что свидетельствует об отражении в ней возникших в среде гуманистов и ученых Нового времени новых подходов к познанию, в основе которых – переориентация со схоластической аристотелианской традиции на математическую платоническую. Профессор КГУ *Н.И. Прозорова* показала, как в поэтике произведений Шекспира получила многогранное воплощение популярная в эпоху Возрождения идея Боэция о делении музыки на «мировую» и «человеческую», первая из которых указывает на идущую от античности и усвоенную христианским Средневековьем «музыку сфер»; вторая связана с музыкой, звучащей из глубин человеческой души. Творчество Шекспира, по мнению исследовательницы, являет собой образец преодоления различного, «разногоголосого» на путях гармонии, создающей стройное звучание единого художественного космоса.

Ренессансная культура возродила к жизни античные трактаты о поэтическом искусстве и вместе с ними жанровый подход к построению драмы. Анализ поэтики пьес Шекспира, как убедительно показал доцент МГУ *Д.А. Иванов*, неполон без решения традиционного вопроса об их жанровой атрибуции. Отталкиваясь от характеристики «произведения особого жанра», данной пьесам Шекспира Сэмюэлем Джонсоном, ученый рассмотрел их связь с трагикомедией. Шекспир в ходе движения к своему типу трагикомедии прошел долгий путь эксперимента, наиболее важными плодами которого стали его зрелые трагедии 1600-х гг. – они, имея мало общего с классической трагедией, основываются на смешении различных жанровых моделей.

Вывод, сделанный *Д.А. Ивановым*, обобщил наблюдения других ученых, выступивших на конференции: профессор РГГУ *О.И. Половинкина* выявила и проанализировала «шутовские интермедии» в трагедиях Шекспира; профессор МГУ *Н.Э. Микеладзе* показала наличие средневековой мистерияльной традиции в «Макбете». Доцент МГУ *Е.В. Фейгина* рассмотрела итальянский контекст комедий английского драматурга, уделив особое внимание проблемам превращения новеллы в драму, обращению Шекспира к комедии дель арте и ученой комедии.

Значительная часть докладов на конференции была посвящена проблеме рецепции Шекспира в западной и отечественной культуре. Исследователи обозначили основные вехи шекспиризации европейской лите-

⁵ *Аникст А.А.* Шекспир. Ремесло драматурга. М., 1974. С. 344.

ратуры и определили значение творчества английского драматурга для последующих эпох.

Шекспиризация европейской культуры началась уже в XVII в. Доцент РУДН *О. В. Разумовская* убедительно описала влияние Шекспира на раннего Мильтона, который сознательно обращался к произведениям великого стратфордianца в поисках емких, эффектных способов выражения мысли.

Существенный вклад в формирование европейского культа Шекспира внес И. В. Гете, который не только оставил не утратившие актуальности высказывания о великом драматурге, но и разработал ряд художественных подходов к его наследию. Доцент СПбПУ *Е. Э. Овчарова* обратилась к романам о Вильгельме Мейстере и обозначила точки взаимодействия шекспировской драматической и гетевской повествовательной форм обработки материала о развитии личности молодого человека и о процессе воспитания его чувств. Тем самым исследовательница выявила роль шекспировского наследия в формировании жанра «le roman personnel».

Трудно переоценить значение Шекспира для становления эстетики модернизма. Доцент МГУ *А. Ю. Зиновьева* рассмотрела разные варианты понимания браунинговского драматического монолога (1865), связанные прежде всего с философией и эстетикой викторианского времени и рецепцией им шекспировских произведений, и подчеркнула особого рода мифологизацию «низменного» персонажа «Бури» Шекспира, ставшего для Браунинга воплощением поэтического протагониста эпохи «конца метафизики», что соответствует опыту и других его поэтов-современников (С. Малларме). С точки зрения младшего научного сотрудника МГУ *Ю. В. Королинской*, анализ статей и высказываний А. Стриндберга, его изобилующих шекспировскими реминисценциями произведений, а также попыток воссоздания викторианской сцены обнажает механизм того, как наследие Шекспира способствует рождению современного драматурга и теоретика театра. *Л. С. Артемьева* (ННГУ) изложила гипотезу о наличии в пьесе А. П. Чехова «Три сестры» макбетовского микросюжета, который организует архитектуру драмы и обуславливает смещение ее жанровой доминанты от драмы к трагедии. Старший научный сотрудник ИМЛИ РАН *М. Ф. Надъярных* обратилась к проблеме становления в текстах испаноамериканского модернизма специфической шекспировской призмы понимания современной реальности и современных литературных вымыслов, уделив особое внимание анализу мотивов «сна», «мечты», «двойничества»; взаимодействию трагического и иронического; ди-

хотомии «искусного» и «искусственного»; рассмотрению образа Шекспира как персонажа.

Ю.А. Скальная (МГУ) указала на немаловажную роль шекспировской философии искусства в ценностном самоопределении авторов не только модернистской, но и постмодернистской эпохи. Исследовательница проследила, как изложенный в «Буре» шекспировский взгляд на фигуру художника, проблемы творчества и бессмертия переосмысливается в поэме У.Х.Одена «Море и зеркало» и комментирующей ее пьесе «Привычка творить искусство» А.Беннетта. Продолжила тему старший преподаватель ПСТГУ Н.В. Шипилова, которая обратилась к интерпретации тем и образов «Короля Лира» в современной литературе США и Канады, прежде всего в «женском романе» Дж. Смайли «Тысяча акров» и М. Этвуд «Кошачий глаз».

Рефлексия над наследием Шекспира в ряде аспектов сыграла роль катализатора в историческом процессе формирования культуры XXI в. На конференции был поставлен вопрос о превращении Шекспира в константу современной мировой культуры, обладающую «ориентирующим действием на тезаурусы значительного числа людей и целых народов»⁶ и тем самым определяющую мировоззрение человека начала XXI в. Наследие английского драматурга, как показали ученый секретарь Шекспировской комиссии РАН Н.В. Захаров и доцент ПСТГУ С.В. Макаров, составляет неотъемлемую часть не только «интеллектуального дискурса» современности, но и «повседневной культуры и быта»⁷. На разных носителях массово тиражируются тексты, высказывания, образы великого мастера. Портретные его изображения, по утверждению Н.В. Захарова, становятся также частью шекспировской индустрии. В.С. Макаров обратился к мировоззренческим истокам теорий виртуальных миров и описал, как важные для разработчиков игр идеи «погружения», «трансформации» и «свободы действий» генетически связаны с теорией театральности и с европейским представлением о Шекспире как создателе максимально самодостаточных и резистентных театральных миров. Для авторов компьютерных игр шекспировские аллюзии, цитаты и прямые заимствования сюжетных ходов есть способ поразмышлять о границах «виртуально-

⁶ Захаров Н.В., Луков Вал.А., Луков Вл.А. Шекспирсфера // Вестник Международной академии наук. Русская секция: [Электронное период. издание]. 2012. №2.

⁷ Захаров Н.В., Гайдин Б.Н. Шекспировская индустрия // Знание. Понимание. Умение. 2009. № 4. С. 246.

го» и «реального», а в последнее время все чаще – «прием сложности», который подчеркивает трудность морального выбора игрока.

К сожалению, на конференции театральная рецепция наследия Шекспира была освещена лишь в одном выступлении: преподаватель МГУ *Е. В. Журбина* описала сценографию современных российских спектаклей по трагедии «Кориолан» (Школа драматического искусства, реж. И. Яцко, премьера – 2007 г.; Театр на Таганке, реж. А. Потапова, премьера – 2015 г.).

Выступившие с докладами ученые, таким образом, с привлечением нового для отечественной науки материала обратились к многовековой истории восприятия английского драматурга и подчеркнули актуальность известной формулы Бена Джонсона: Шекспир «принадлежит не только своему веку, но всем временам»⁸. Наследие великого стратфордianца – образец для подражания и важнейший источник вдохновения для писателей разных веков и направлений, материал для утверждения новых подходов в литературоведении, а также неизменная составляющая массового сознания. Каждая эпоха не столько изучает, сколько творит своего Шекспира и тем самым вырабатывает собственные эстетические и мировоззренческие принципы. При этом даже «святотатственное» «присвоение» Шекспира, как метко заметил Б. Брехт, «сохраняет жизнённость»⁹ его наследию – и потому ценно.

Ю. В. Королінская

Сведения об авторе: Королінская Юлия Вячеславовна, канд. филол. наук, младший научный сотрудник кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: juliaklova@yandex.ru.

⁸ См., напр.: *Аникст А.А.* Шекспир. М., 1964. С. 360.

⁹ *Брехт Б.* Освящение святотатства / Пер. Е. Эткинда // Брехт Б. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания: В 5 т. Т. 5 (1). М., 1965. С. 265.

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ – 2016

С 7 по 9 октября 2016 г. в Москве прошел VI Всероссийский и XI Московский Фестиваль науки, организованный Министерством образования и науки РФ, Правительством Москвы и Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова¹. В обширной программе мероприятий фестиваля, охватывающей практически все стороны современного научного знания и рассчитанной на посетителей самых разных возрастных категорий, достойное место занял филологический факультет².

На одной из центральных площадок фестиваля – в Шуваловском корпусе – ведущие преподаватели факультета прочитали публичные лекции для гостей. Лекция «Как языки видят мир?» доцента *Инны Ивановны Богатыревой* была посвящена специфическому мировидению и миропониманию различных языков, которое заключено как в семантике лексических единиц, так и в оформлении морфологических и синтаксических структур, в наличии или отсутствии тех или иных грамматических категорий и значений, в особенностях словообразовательных моделей языка и т. п. Слушателям было предложено обратить внимание на некоторые лексические единицы и грамматические категории с точки зрения того, как они представлены в разных языках, какие типы значений выражают и насколько своеобразно в них отражается неязыковая действительность.

¹ Репортаж о событиях Фестиваля науки на площадках МГУ опубликован на Мультимедийном портале центра информации и медиакоммуникаций МГУ: *Белините А., Некрасова Л., Сомова Е.* Фестиваль космических масштабов. <http://www.msu-online.ru/science/festival-kosmicheskikh-masshtabov/>.

См. также: *Некрасова Л.* До новых встреч на Фестивалях науки! / Московский университет. 2016, октябрь–ноябрь. № 9–10 (4515–4516). С. 3.

² Вся информация о мероприятиях на различных площадках Фестиваля науки доступна на официальном сайте <http://www.festivalnauki.ru/>. С программой лекций, прочитанных в Шуваловском корпусе МГУ (среди них есть и лекции преподавателей филологического факультета), можно ознакомиться по прямой ссылке <http://files.festivalnauki.ru/2016-programm/gold-shuv.pdf>.

Презентация профессора *Надежды Станиславовны Братчиковой* «Изучение финского языка: мифы и реальность» имела своей целью показать, что финский язык – один из самых сложных европейских языков, относительно которого у большинства людей сформировалось мнение о трудности, а порой и невозможности его изучения, – представляет собой логичную систему, к которой можно подобрать ключ и потратить не больше усилий, чем на привычный всем английский. В презентации были затронуты различные особенности финского языка: мелодичность, обусловленная оригинальной фонетической системой, отточенность и рациональность грамматики, вызывающая интерес оригинальность лексики. Нет сомнений, что выступление Надежды Станиславовны заинтересовало многих слушателей, а для школьников и будущих абитуриентов могло стать поводом задуматься о выборе соответствующей специализации.

Профессор *Александр Александрович Волков* выступил с лекцией «Что такое риторика?», в которой рассмотрел как современное определение риторики – филологической дисциплины, изучающей принципы построения целесообразной устной и письменной речи, – так и историческую роль этой древнейшей науки о речи, в течение почти полутора тысячелетий бывшей наряду с грамматикой и логикой основой образования во всех странах европейской культуры. Слушатели смогли получить представление об основных разделах риторики: учении об ораторе, аргументации (с различием между приемами убеждения и доказательства), построении словесного текста. Отдельно было сказано и о важной нетрадиционной задаче современной риторики – исследовании проблемы организации речевых отношений в обществе.

Лекция профессора *Андрея Александровича Липгарта* «Уильям Шекспир: загадки, мифы, реальность» была посвящена неожиданным сторонам шекспироведения, которое лектор определил как уникальный раздел филологических исследований, причем не только из-за масштаба личности создателя бессмертных произведений, их эстетической значимости или общего объема посвященных Шекспиру трудов. Авторство ни одного другого писателя в истории мировой литературы не оспаривается так яростно, как это происходит в случае с Уильямом Шекспиром из Стратфорда: к настоящему моменту на его место претендуют как минимум 80 кандидатов. Дискуссионными оказываются и сам состав произведений, называемых шекспировскими, и вопрос о специфике стиля Шекспира. Тем не менее при всей своей кажущейся уязвимости (авторство шекс-

пировских текстов сомнительно, точный состав канонических произведений неизвестен, стиль наличествует, но описанию поддается плохо) современное шекспироведение способно дать адекватный ответ на большинство загадок и развеять мифы, связанные с именем великого драматурга, что и было продемонстрировано лектором.

Преподаватель, кандидат филологических наук *Юлия Борисовна Мантова* выступила с лекцией «Путешествие в Византию: неизвестное Средневековье». Хотя у большинства эпоха Средних веков ассоциируется с историей западного Средневековья, в действительности могущественная Византийская империя функционировала в те же самые временные рамки и играла важнейшую роль, а Константинополь на протяжении многих столетий оставался столицей мира. Во время лекции слушатели вспоминали ключевые моменты истории империи, удивлялись, что ее жители даже не догадывались о том, что они византийцы, и смогли узнать все секреты о том, почему изучение Византии – невероятно захватывающая и перспективная наука.

Помимо лекций ведущих преподавателей филологический факультет предложил гостям фестиваля на выставке в Шуваловском корпусе ознакомиться с экспозицией и принять участие в различных конкурсах и мастерских, организованных Студенческим советом факультета, Школой юного филолога и кафедрами. Волонтеры Студсовета предлагали посетителям проверить грамотность устной и письменной речи, порешать шарады или головоломки на основе литературных произведений, пообщаться на одном из европейских языков. Школа юного филолога организовала практикумы древнерусской каллиграфии (чернилами и гусиным пером!) и литературные мастерские (простановка древних ударений, собирание стихов из слов и др.). Кафедра романской филологии устроила для посетителей караоке на итальянском языке, а кафедра византийской и новогреческой филологии предложила школьникам нарисовать портреты великих императоров, а всем остальным – насладиться национальной греческой музыкой, исполненной вживую. Гвоздем программы стало выступление фольклорно-этнографического театра «Братыня», увлекшего в свой хоровод даже представителей точных наук³.

³ Фотографии прошедших во время фестиваля мероприятий филологического факультета можно посмотреть в фотоальбоме факультета: <http://www.philol.msu.ru/faculty/photos/ScienceFest2016/> – и в официальной группе Студенческого совета и Совета молодых ученых филологического факультета в социальной сети «В Контакте»: https://vk.com/feelnewsmsu?w=wall-101539046_823.

Многие абитуриенты заинтересовались материалами о работе подготовительных курсов и лектории, а также образовательными программами, в то время как гости постарше обратили внимание на новейшие научные издания факультета – все эти материалы были представлены на стенде и сопровождались подробными комментариями волонтеров.

А. Е. Беликов

Сведения об авторе: Беликов Алексей Евгеньевич, канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры классической филологии, Председатель Совета молодых ученых филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
E-mail: belikov.smu@gmail.com.

КОНФЕРЕНЦИЯ «АБСУРД В ЯЗЫКЕ И КОММУНИКАЦИИ» В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

29–30 ноября 2016 г. Институт лингвистики Российского государственного гуманитарного университета провел 14-ю Международную конференцию «Абсурд в языке и коммуникации», посвященную абсурдному и парадоксальному использованию языка. Эти научные встречи проводятся ежегодно, начиная с осени 2002 г. Организаторы выбирают для каждого мероприятия особенное название и тему из числа ярких явлений в жизни языка и коммуникации, в том числе характерных и для современного общения в сети Интернет: «Конфликт в языке и коммуникации», «Хвала и хула в языке и коммуникации», «Карнавал», «Ритуал», «Мода», «Изменения», «Вариативность», «Экономия», «Конкуренция», «Стереотипы», «Скрытые смыслы», «Эмоции» и т. д.

В нынешней конференции приняли участие лингвисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, а также Минска (Беларусь) и Ист-Лансинга (США). Программу мероприятия составили 10 пленарных докладов и доклады, прочитанные на двух секциях: «Абсурд в языке и языках» и «Абсурд в дискурсивных практиках». Параллельное рассмотрение того или иного явления и как совокупности языковых средств, и как явления, возникающего в коммуникации, – это также традиция данных конференций. Если в обыденном использовании у слова *абсурд* и его синонимов (*вздор*, *бессмыслица*, *бред*, *чушь*, *нонсенс*, *нелепость*), как правило, актуализируются негативные, неодобрительные коннотации, то абсурд в лингвистическом смысле, то есть нетривиальный способ использования языковых средств, является важной возможностью передачи разнообразной информации, предоставляемой естественным языком его носителям. С помощью языкового абсурда можно передавать разнообразную информацию через искажение, нарушение правил. Это и иронический отказ под видом формального согласия («*Сейчас!*», «*Конечно!*»), и похвала под видом хулы с использованием пейоративов («*Ай, Пушкин, су-*

кин сын!»), и выражение неодобрения с помощью лаудативов («Молодец!»). То, что естественный язык принципиально допускает возможность абсурдного использования, в том числе незаметно для самих собеседников, по ходу общения, делает его крайне свободным и гибким инструментом коммуникации.

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Института лингвистики РГГУ И.А. Шаронов в докладе «Ненамеренный и намеренный абсурд в высказывании» осветил тему неоднозначного понимания слова «абсурд» (от лат. *absurdus* – «нестройный, нелепый»; *ad absurdum* – «исходящий от глухого») в естественном языке. Абсурдными называют высказывания как внутренне противоречивые, так и построенные на нереальных пресуппозициях, позволяющие адресату строить бессмысленные или нелепые интерпретации. Оценивает высказывание как абсурдное слушатель, адресат высказывания; оценка является квазисинонимом непонимания или неполного понимания и создает психическое возбуждение для поиска слушателем удобоваримой интерпретации. В результате поиска слушатель находит в высказывании либо ошибку (и понимает, что хотел сказать собеседник), либо переносное значение, иное осмысление (и пытается приписать ему намерение автора и подтвердить догадку контекстом). К художественным произведениям, содержащим очевидные противоречия, иррациональную логику и т. д., относятся и жанр абсурда, и лимерикс, и многие мистические и религиозные тексты. В докладе были проиллюстрированы примерами из современной речи и публицистики два типа абсурда, изучаемых в практической стилистике: намеренный и ненамеренный. К ненамеренному абсурду приводят фактические ошибки, двусмысленность, нарушение причинно-следственной связи, катахреза. Намеренный абсурд формирует неправильности, приводящие к новому смыслу или к игре смыслов, их «мерцанию». Часто цель автора – насладиться выражением секундной растерянности на лице собеседника, например обнадеежив или испугав собеседника, – нарушить его ожидания или, построив формально правильное сочетание, включить в него семантически инородную единицу, наконец, строя противоречивые сочетания, нелепые ситуации и диалоги, подталкивать к осознанию абсурдности всего повествования, описываемого мира в целом. Для реализации этих и других стратегий используют такие тропы, как *ирония*, *зевгма*, *оксюморон*, *каламбур*, а также особые речевые и литературные жанры.

Тема абсурда в художественной литературе, абсурда как изобразительного средства продолжилась в ряде выступлений на пленарных заседани-

ях и секциях. Именно абсурд является общей инвариантой текстов Хармса, Хлебникова, Клюева, также как и многочисленных жанров мирового фольклора, от «небывалщин» до современного абсурдного анекдота. При этом цели его использования удивительно разнообразны: от создания легкой и беззаботной атмосферы «дурачества» до донесения до читателя беспросветной трагичности и бессмысленности бытия.

Профессор, доктор филологических наук *Н.Б. Мечковская* (Минск) прочла доклад «Коммуникативные и неологические различия в русском авангарде: “Госпожа Ленин” кубофутуриста Хлебникова и “Елизавета Бам” абсурдиста Хармса». Несмотря на известное сходство основного конфликта в пьесах Хлебникова «Госпожа Ленин» (1913) и Хармса «Елизавета Бам» (1927) облеченные властью мужчины насильно лишают главную героиню свободы, – эти произведения принципиально различны по своей познавательной и художественной направленности. Хлебников исследует семиотические горизонты коммуникации: стремится увидеть (представить) автономное «общение» отдельных сенсорных модулей героини (зрения, слуха, осязания), «голосов» некоторых модулей ее психики (воли, памяти, рассудка) и тела (лица, корпуса, рук), коммуницирующих в условиях нарушения целостности сознания. Для пьесы «Елизавета Бам», ярко театрального трагифарса, характерны основные признаки драматургии абсурда, какой она четверть века спустя будет явлена в пьесах Э. Ионеско и С. Беккета: неспособность героев сказать что-то стоящее и понять друг друга; все разновидности бессмыслиц: «самопроизвольных» и нарочитых, тупиков и алогизмов, демонстраций абсурда и его осмеяние, психопатических (шизофазических и афатических) расстройств речи и внезапного речевого инфантилизма. Если заумь кубофутуристов (обычно в авторской речи) отвечала стремлению увеличить семантическую емкость слова, обновить язык (с мечтой о «языке будущего»), то у Хармса вербальные нелепицы и сбои принадлежат речам персонажей и концентрируют отчаяние беспросветного абсурда.

В отличие от творчества авангардистов, стихотворения известного советского поэта Алексея Фатянова никоим образом не ассоциируются с литературой абсурда. Тем неожиданнее и даже парадоксальнее было прочтение текста песни «Разговорчивый минер» как абсурдного литературного произведения В.М. Алпатовым в докладе «Советская поэзия абсурда (на примере песни “Минёр”)».

Материалом для доклада «Абсурд в поэзии Евгения Клюева» профессора кафедры русского языка Санкт-Петербургского университета, до-

ктора филологических наук *Л.В. Зубовой* (Санкт-Петербург) послужили стихотворные тексты *Е.В. Ключева*, филолога, специалиста по риторике и литературе абсурда, прозаика, поэта, переводчика, сказочника, ныне живущего в Копенгагене. На данном материале докладчица продемонстрировала литературные особенности абсурдного текста. Абсурдный текст гиперструктурирован, то есть хаос содержания текста компенсируется предельной упорядоченностью его структуры; язык является не только и не столько средством, сколько предметом изображения, одной из целей высказывания; данный тезис справедлив для любого художественного текста, но абсурдные тексты здесь наиболее репрезентативны. В художественном плане абсурд используется *Е.В. Ключевым* как средство освобождения читателя от власти привычного, предсказуемого, в соответствии с декларацией автора: «Человек свободен лишь тогда, когда делает глупости. Очаровательные, непредсказуемые глупости».

Абсурд как практика вербальной игры, как развлечение популярен у человечества с давних времен до наших дней. Известный лингвист *А.Д. Шмелев* (заведующий отделом культуры речи Института русского языка имени *В.В. Виноградова* РАН, председатель Орфографической комиссии РАН, профессор кафедры русского языка МПГУ) и *Е.Я. Шмелева* (кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Отдела культуры русской речи Институт русского языка им. *В.В. Виноградова* РАН) в докладе «Абсурд в малых жанрах современного городского фольклора» рассмотрели с этой точки зрения некоторые жанры русского городского фольклора второй половины XX – начала XXI в., в частности абсурдный анекдот и абсурдную загадку. Хотя в современном русском городском фольклоре абсурдистские стихи и анекдоты занимают не столь почетное место, как, например, в английском или американском, существуют серии анекдотов, загадок, частушек, стишков, интернет-мемов, комический эффект которых целиком основан на абсурде. Интересно, что в отличие от анекдотов и загадок, связанных с конкретными языками и культурами, абсурдные анекдоты и загадки легко переводятся и активной заимствуются. В них нет игры слов и национальной специфики, наличествует ряд характерных универсальных персонажей – слонов, маргышек и пр. (ср. серию загадок «Как засунуть того или иного зверя в холодильник»). В докладе рассматривался абсурд как прием создания комического эффекта.

Еще один фольклорный жанр, основанный на абсурде, – это так называемые «импоссибилии», от лат. *impossibilis* – «невозможный». Их отличительная черта, как рассказывает доцент института лингвистики РГГУ

Л. Федорова, – нанизывание, нагромождение нелепиц, неправдоподобных и абсурдных событий и глупого поведения. Так строятся и популярные в европейском Средневековье тексты о Стране лентяев, и русские анекдоты о пошехонцах, что дым из избы решетом выносили, блоху миром давили, а мешком солнышко ловили, за 8 верст комара искали, а он у них на носу сидел. Неожиданным современным продолжением импоссибилий лингвисты видят тексты Проханова в газете «Завтра».

Речевые стратегии лиц, принимающих решения в нашем государстве на разных уровнях, затрагивались в докладах с весьма актуальной тематикой: «Абсурд как норма в диалогах о взятках» (*А.Н. Баранов*), «КГБОУ ДПО ХКИППКСПО, или Игнорирование коммуникативных интересов адресата как источник абсурда в современной деловой коммуникации» (*М.Ю. Федосюк*, доктор филологических наук, МГУ; *И.И. Бакланова*, доктор филологических наук, МИФИ), «Владимир Путин: Абсурдная логика в ответах на неудобные вопросы» (*Ю.Е. Галямина*, на секции «Абсурд в дискурсивных практиках»). В частности, доклад Федосюка и Баклановой был посвящен «загадочно абсурдным» словосочетаниям, таким, как *Центр научных, периодических и учебно-методических изданий КГБОУ ДПО ХКИППКСПО, КСПК «Останкино»* и т. п. По мнению авторов, наличие подобных единиц свидетельствует о том, что на нынешнем этапе развития русского языка языковые антиномии, выделенные М.В. Пановым (говорящего и слушающего, системы и нормы, кода и текста, регулярности и экспрессивности и пр.), решаются не в пользу слушающего. По мнению авторов, не оправдано как расширение сферы использования норм деловой коммуникации, так и игнорирование коммуникативных интересов большинства адресатов за счет использования наскоро придуманных для официальных документов аббревиатурами.

Логичность / нелогичность научной лексики подверглась исследованию в пленарном докладе *Г.Е. Крейдлина* и *Г.Б. Шабата* «Лексика языка науки: соответствие и противоречие здравому смыслу».

В лингвистике «абсурд» и «смысл» отнюдь не «несовместны». Языковой абсурд – это особый тип нарушения правил, искажения, но это не отсутствие смысла. Уим Тиггес определил абсурд как «игру с языковыми единицами». Частные случаи такой игры назвала в своем докладе «Понимаю, ибо абсурдно» профессор кафедры массовых коммуникаций МГПУ *Е. Борисова*: намек, ирония, метафора и хеджинг. Чаще всего эта игра понятна слушателю, но не настолько автоматически, как фраза или текст, построенный по правилам обычной логики, – слушателю надо иметь

ключ. В первую очередь воспринимающий должен понять сам факт, что началась игра. Как объясняет докладчица, главное условие возникновения понимания – наличие знака для слушающего. В случае иронии само возникновение абсурда (например, «Ну естественно, у нас все сотрудники горячо приветствуют снижение зарплаты») служит знаком для включения вывода о необходимости иного понимания: «говорящий не мог это иметь в виду, следовательно, это надо понимать иначе».

Непредназначенность для буквального понимания – общая черта абсурдных текстов. Это относится и к бытовому восклицанию «Замечательно! Теперь я точно опоздаю!», и к произведениям Хармса и Беккета – развернутой метафоре тотальной бессмысленности бытия, и к ответу «Она утонула», радикально нарушающему один из постулатов речевого общения Грайса¹ – «постулат Количества» («Твое высказывание должно содержать не меньше информации, чем требуется для выполнения текущих целей диалога»), но позволяющему и уйти от неудобного вопроса, и создать нужный образ. Если у воспринимающего нет ключа, нет нетривиального алгоритма понимания, то он будет недоумевать над намеком, удивляясь внезапной перемене темы, сочувствовать персонажам анекдота, воспримет метафору в лоб и т. п. Такое может, в частности, произойти, если «на том конце» связи ребенок, иностранец или чат-бот. Освоение нетривиальных алгоритмов понимания – это и есть овладение языком в совершенстве, что, надо полагать, со временем ждет и чат-ботов.

Парадоксально, но настоящего абсурда, подлинной бессмыслицы в коммуникации быть не может, поскольку любой речевой акт прагматически обусловлен. Какой бы абсурд, с точки зрения слушающего, ни производил собеседник, полезно проверить, действительно ли коммуникация осуществляется на одном и том же языке, ведь элемент, абсурдный в данной системе, может иметь смысл в другой. Эффект ненамеренного абсурда может возникнуть, когда говорящий, сам того не замечая, переходит с одного подъязыка на другой. Так, в церковном социолекте ХХI в. реконструируется давно вытесненное церковнославянское значение слова *преlestь* – «обман, обольщение» и «блуждание, уклонение». Это слово еще в конце XVIII в. пережило семантический «сбой» и в итоге обрело противоположное оценочное значение, развило энантиосемию. В. Мельничук (Санкт-Петербург) продемонстрировала, как в речи современных воцерковленных россиян причудливо соседствуют оба значения: «Такая

¹ Лингвист и философ, основатель теории имплицатур, сформулировавший Принцип Кооперации при общении и его 4 постулата.

прелесть травяной, фруктовый, зеленый чай, ммм...» и «А носить стринги, если муж просит, это прелесть?»

Кроме того, участники конференции смогли обсудить невербальные реакции на абсурд; языковую игру в современных внесмысленных комиксах; абсурд, возникающий из-за неверной интерпретации текстов традиционной культуры; приемы выражения абсурда в хинди и др. Все говорит о том, что в очередной раз тема конференции была выбрана организаторами безошибочно и смогла объединить усилия специалистов в разных областях лингвистики. Результатом стало расширение научного знания как о нетривиальном, абсурдном, парадоксальном использовании языка, так и – на этом фоне – о том, что же собой представляет его «обычное» использование.

И. В. Фуфаева

Сведения об авторе: Фуфаева Ирина Владимировна, соискатель кафедры русского языка Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета. E-mail: Iriel@inbox.ru.

АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ ИЛЮШИН

Кафедра истории русской литературы филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова с прискорбием сообщает о смерти Илюшина Александра Анатольевича (12.02.1940–19.11.2016), заслуженного профессора Московского университета, доктора филологических наук, историка и теоретика литературы, стиховеда, переводчика, поэта. Прощание с Александром Анатольевичем состоялось 23 ноября в морге Городской клинической больницы №64, отпевание и похороны – на Хованском кладбище.

А.А. Илюшин – выпускник филологического факультета МГУ (1962). В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию («Поэзия декабристов в литературном движении первой трети XIX века»), в 1985 – докторскую («Русская силлабика»). В 1965–1973 гг. работал в Институте славяноведения и балканистики АН СССР, а затем до конца жизни преподавал на кафедре истории русской литературы филологического факультета МГУ.

Сфера научных интересов А.А. Илюшина – история европейских литератур от Ренессанса до современности. Он занимался, в частности, творчеством Данте, Симеона Полоцкого, А. Мицкевича и других польских поэтов, А.И. Полежаева, Г.С. Батенькова, А.К. Толстого, А.А. Григорьева, Н.А. Некрасова. Впервые перевел «Божественную комедию» Данте на русский язык размером оригинала. Награжден именной золотой медалью Дантовского общества, г. Флоренция (1996), медалью г. Равенна (1999), медалью Дантовского центра Равенны (1999), медалью Пушкина (2003). Был ответственным редактором сборника «Дантовские чтения», выпускаемого Дантовской комиссией Научного совета РАН «История мировой культуры».

Книги А.А. Илюшина: Поэзия декабриста Г. С. Батенькова. М., 1978; Русское стихосложение. М., 1988 (2-е изд.: М., 2004); Виршевая поэзия (первая половина XVII века) / Сост., подгот. текстов, вступ. ст. и коммент. В.К. Былинина, А.А. Илюшина. М, 1989; *Данте Алигьери. Божественная комедия* / Пер. с ит., вступ. ст. и примеч. А.А. Илюшина. М., 1995 (2-е изд.: М., 2008); Поэзия Некрасова. М., 1998 (2-е изд.: М., 1999; 3-е изд.: М., 2003); Стихотворения и поэмы А.К. Толстого. М., 1999.

Основные курсы лекций, читавшиеся им на кафедре: «История русской литературы XVIII века», «История русской литературы 1-й трети XIX века», «История и теория русского стихосложения», «Поэзия декабристов», «Образы поэтов в русской литературе XIX века», «Поэзия Н.А. Некрасова». В течение многих лет А.А. Илюшин вел спецсеминар «Из истории русского стиха». Оригинальность мысли и независимость суждений, столь характерные для его педагогической манеры, снискали его лекциям заслуженный успех.

А.А. Илюшин занимал особое место в профессиональном сообществе: с приверженностью к филологической адекватности он соединял мироощущение поэта и мистификатора, принципы переводческого буквализма – с выраженной тенденцией к эстетизации архаики, заинтересованное отношение к традициям русской историко-литературной науки – со способностью осуществлять их последовательную ревизию, пересматривая значение поэтов, представлявшихся ему незаслуженно забытыми или обойденными вниманием исследователей и читателей.

Крупнейший стиховед современности, он не только постиг закономерности и тайны строения русского стиха. Русская поэзия жила в его феноменальной памяти – от Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева, Ивана Баркова и Александра Полежаева, Кондратия Рылеева и Гавриила Батенькова, Аполлона Григорьева и Семена Надсона и далее в XX век... Пушкина, Некрасова, Маяковского он мог читать наизусть, начиная с лютого стиха и свободно вживаясь в их поэтические миры.

Столь же свободно он строил свою жизнь в пространстве культуры, соединяя черты мироощущения человека эпохи барокко с романтическим идеализмом и с непростым личным опытом существования в среде той гуманитарной интеллигенции, которая была сформирована советской эпохой и пережила ряд драматических трансформаций после ее завершения.

Смерть Александра Анатольевича – невосполнимая утрата для Московского университета, частью которого он был и с которым так тесно оказалась связана его судьба.

Память об Александре Анатольевиче сохраняют его близкие, друзья, ученики, коллеги.

Коллектив кафедры истории русской литературы

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «Вестник Московского Университета. Серия 9. Филология» в 2016 году

СТАТЬИ

<i>Аманова Г. А., Кормилов С. И.</i> Проблема восточного «реализма» в советском, российском и корейском литературоведении	1	135
<i>Байда В. В.</i> Ирландские идиоматические конструкции с глаголом <i>bain</i> [bap'] 'извлекать, удалять' . . .	5	25
<i>Бархударова Е. Л.</i> Анализ противопоставления русских согласных по глухости / звонкости в лингводидактическом контексте	5	9
<i>Блох М. Я., Костина А. С.</i> Текст официального документа (на материале британских и российских документов социальных министерств)	3	47
<i>Бондарь В. А.</i> Nabban + причастие II в древнеанглийской поэзии и прозе: сравнительный анализ	6	48
<i>Володина М. Н.</i> О языке как инструменте познания	3	38
<i>Всеволодова М. В.</i> Язык как система и проблемы объективной грамматики	3	7
<i>Жолудева Л. И.</i> Проблема национальной идентичности в итальянских исторических и лингвистических сочинениях XVI века	1	111

<i>Каверина В. В.</i> Орфография изданий «Российской грамматики» М. В. Ломоносова XVIII–XIX столетий в контексте правописной нормы своего времени	1	67
<i>Калугин В. В.</i> Толковые пророчества в Литовской Руси (списки первой половины XVI века с пермскими глоссами)	1	46
<i>Кортава Т. В.</i> Язык и стиль произведений пустозерских узников	4	34
<i>Кривнова О. Ф., Князев С. В., Моисеева Е. В.</i> Исследования просодического членения звучащего текста на материале русского языка	4	7
<i>Криницын А. Б.</i> О роли стихотворных реминисценций в романах Достоевского	3	75
<i>Крылова Э. Б.</i> Средства эпистемической модальности датского языка как парадигматическая гиперсистема	6	26
<i>Кузьмина Е. А., Пентковская Т. В.</i> Афоно-тырновская книжная справа конца XIII – XIV вв. и ее рецепция на Руси	6	9
<i>Курбанова К. И.</i> Лексические особенности вальдо-станского варианта французского языка	5	44
<i>Ли Вэньгэ, Сюй Хун (Китай).</i> Оценочное значение и перевод	2	137
<i>Мальцева О. А.</i> Перипетии плотского и духовного в цикле Б. Пастернака «весна»: интертекстуальный аспект	2	144
<i>Маньков А. Е.</i> Дialect села Старошведское: опыт описания морфологии неизученного языка. Имя существительное (тип m. 3)	2	117
<i>Нефедова Е. А.</i> О месте архангельских говоров в диалектном членении русского языка	4	75

<i>Пентковская Т. В.</i> Адаптирующие глоссы в поздних церковнославянских переводах с греческого	1	26
<i>Пискунова С. И.</i> Смех Сервантеса и риторическая культура его времени	6	65
<i>Савельев В. С.</i> Древнерусские иллокутивно полифункциональные высказывания: сообщения с субъективно-модальным содержанием (на материале «Повести временных лет»)	4	47
<i>Семенов В. Б.</i> Лесса как квазистрофическая форма композиции стиха	1	120
<i>Сидорова М. Ю., Чень Лей.</i> «Достопримечательность» как субъективный конструктор в тексте путеводителя по Китаю для русских туристов: семантические особенности и языковые средства	3	60
<i>Трахтенберг Л. А.</i> Образ издателя в русских сатирических журналах	4	90
<i>Цивьян Т. В., Седакова И. А., Макарец М. М.</i> «Балканский тезаурус»: начало и начала	1	92
<i>Чернейко Л. О.</i> Философские проблемы языка и лингвистики.	1	7

К юбилею профессора М. Л. Ремневой

<i>Кислова Е. И.</i> Из истории лингвистической компетенции духовенства XVIII в.: учителя европейских языков в русских семинариях	2	63
<i>Киянова О. Н.</i> Русский язык как государственный язык Российской Федерации в современных условиях	2	106
<i>Кузьмина Е. А.</i> «Словарь трудностей» церковнославянского языка XVII века	2	40

<i>Николенкова Н. В.</i> К характеристике грамматической нормы церковнославянского перевода «Атласа Блау»	2	51
<i>Пентковская Т. В.</i> Перевод аргументов к Книге Иова 1671 г. на фоне московских библейских переводов с польского языка	2	10
<i>Савельев В. С.</i> Древнерусские иллокутивно полифункциональные высказывания: сообщения о бывшем, настоящем и будущем (на материале «Повести временных лет»)	2	79

К 125-летию М. А. Булгакова

<i>Корниенко О. А.</i> Мифопоэтика инфернальной образности романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»	3	90
<i>Пахарева Т. А.</i> В пространстве парадокса: о некоторых купринских коллизиях у М. Булгакова	3	119
<i>Руденко М. С.</i> К проблеме художественной интерпретации «основного мифа»: М. Булгаков и С. Лукьяненко.	3	130

К 400-летию со дня смерти Шекспира

<i>Иванов Д. А.</i> Жанр трагедии в творчестве Шекспира (к постановке проблемы)	5	53
<i>Шустилова Т. А.</i> Дихотомия космоса и хаоса в трагедии «Макбет» У. Шекспира	5	79

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

<i>Бакаева С. А.</i> Рецепция классики в современной французской литературе	4	145
---	----------	-----

<i>Барбун В. В.</i> Аксиологические признаки концепта «автомобиль» в американской и русской лингвокультурах	5	118
<i>Вдовин А. В.</i> Сюжет для народа: «Коробейники» Н. А. Некрасова в контексте прозы о крестьянах 1840–1850-х гг.	3	190
<i>Глаголюк А. В.</i> «Явление и явленное»: Октавио Пас в диалоге с Шарлем Бодлером	5	164
<i>Гоганова А. В.</i> «Пожилые» дети в романе А. Платонова «Чевенгур» (к типологии персонажей)	1	197
<i>Гращенков П. В.</i> Автоматический анализ русских сложных слов.	6	119
<i>Григорьева О. Н., Туран П.</i> Гендерный аспект именования человека по его отношению к собственной внешности	4	154
<i>Завьялова Е. Е.</i> Принцип антитезы в повести Ф. Н. Горенштейна «Последнее лето на Волге»	6	155
<i>Золотко О. В.</i> «Страдания юного Вертера» Гете и «Сон смешного человека» Достоевского.	1	170
<i>Карпов Д. Л.</i> Рецепция биографии и творчества А. С. Пушкина в лирике Л. С. Щеглова	5	145
<i>Котова Э. Л.</i> История несостоявшейся публикации: Адриан Македонов об Осипе Мандельштаме.	1	187
<i>Кравченко Е. В.</i> Синонимы моря в составе композитов и сочетаний с косвенным атрибутом в «Беовульфе»	3	143
<i>Крылова Д. П.</i> Сюрреалистический образ: к вопросу о поэтике В. Маяковского и Лотреамона	5	154
<i>Кузнецова Н. В.</i> Современные тенденции развития политкорректности во французском политическом дискурсе: градуированный характер полит-		

корректности / неполиткорректности, разные степени их проявления.	5	129
<i>Кукушкина О. В.</i> Язык Пушкина: лексикографические этюды II («Он уважать себя заставил...») . .	6	85
<i>Кулакова П. Д.</i> Современная греческая гимнография: основные представители и особенности	5	109
<i>Ма Цзя-ин.</i> «Грамматика славенская» Федора Максимова: Круг источников.	4	163
<i>Немкова В. А.</i> Настоящее драматическое как композиционное средство формирования субъективированного нарратива	3	155
<i>Патаракина Е. О.</i> Наречно-предложная бифункциональность в русском языке (в сопоставлении с другими славянскими языками)	5	135
<i>Пирусская Т. А.</i> «Точки ретроспекции» как структурообразующий элемент романного дискурса у Ф. М. Достоевского и Джордж Элиот.	6	142
<i>Пурыева Н. Н.</i> Писательницы в «Словаре русских светских писателей» митрополита Евгения (Болховитинова).	4	131
<i>Рыжова Д. А.</i> Фантастическая конференция, чудовищный доклад: формирование оценочных значений на базе русской признаковой лексики.	4	178
<i>Свиридова Е. Е.</i> Постмодернистская неорелатинизация на примере романа Стефано Бенни «Страналандия»	1	205
<i>Скальная Ю. А.</i> Новаторство межвоенных пьес Б. Шоу: фотография как идейный источник сценического эксперимента.	5	174
<i>Скоринкин Д. А.</i> Электронное представление текста с помощью стандарта разметки TEI	5	90

<i>Федосеева Д. В.</i> Когнитивно-семантический анализ лексики, обозначающей отношение человека к собственности	6	108
<i>Филясова Ю. А.</i> Акустико-перцептивные корреляты мелодического оформления акцентно выделенных слов английского языка.	3	164
<i>Центнер М. С.</i> Русизмы в немецком языке: Состав, история, периодизация	2	152
<i>Черникова А. С.</i> Проблемы репрезентации прецедентных ситуаций в инокультурном контексте на примере перевода романа М. А Булгакова «Мастер и Маргарита» на финский язык	6	133
<i>Шулятьева Д. В.</i> «Агата, или Бесконечное чтение» Маргерит Дюрас: к проблеме литературности в кино	1	212

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

<i>Белоусова В. В.</i> Изотов А. И. Самоучитель чешского языка. Уровни А1–А2. М.: Филоматис, 2016. 424 с.	3	207
<i>Вдовин А. В.</i> Федотов А. Русский театральный журнал в культурном контексте 1840-х годов. Tartu: University of Tartu Press, 2016. 178 с. (Dissertationes philologiae slavicae Universitatis Tartuens. 35)	4	193
<i>Дровалёва Н. А.</i> Колобаева Л.А. От А. Блока до И. Бродского: О русской литературе XX века. М.: ООО «Русский импульс», 2015. 288 с.	5	190
<i>Жукова Е. И.</i> Фризман Л.Г., Грачева И.В. Многообразие и своеобразие Юлия Кима. Киев: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2014. 212 с.	3	226
<i>Изотов А. И.</i> Holá L. Český krok za krokem 1. Praha: Akropolis, 2016. 204 с.	4	201

- Изотов А. И.* Калита И. В. Стилистические трансформации русских субстандартов, или книга о сленге. М.: Дикси Пресс, 2013. 240 с. **6** 192
- Кормилов С. И.* Сухих И. Н. Теория литературы. Практическая поэтика: Учеб. для высших учеб. заведений Российской Федерации. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2014. 352 с.; Теория литературы. Практическая поэтика: Хрестоматия для высших учеб. заведений Российской Федерации / Сост. И. Н. Сухих. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2014. 496 с. **6** 173
- Кормилов С.И.* Пинаев С.М. Поэт ритма вечности: Пути земные и духовные возношения Максимилиана Волошина. М.: Азбуковник, 2015. 800 с., [48] л. ил. **3** 216
- Найдич Л. Э.* Береговская Э. М. Стилистика однофразового текста: На материале русского, французского, английского и немецкого языков. М.: ЛЕНАНД, 2015. 334 с. **2** 159
- Руденко М. С.* Савельева Мария. Федор Сологуб. М.: Молодая гвардия, 2014. 246 [10] с.; ил. («Жизнь замечательных людей») **1** 234
- Степанов А. Г.* Кормилов С. И., Аманова Г. А. Стих русских переводов из корейской поэзии (1950–1980-е годы). М.: Новое Время, 2014. 208 с. **1** 221
- Степина М. Ю.* Грешневская тетрадь Н. А. Некрасова: к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова / Предисл., транскрипция, коммент. М. С. Макеева. Ярославль: Академия 76, 2015. 366 с. **3** 211
- Федотов О. И.* Фролов Г. А. Зарубежная литература XX века: Курс лекций. Казань, 2015. 283 с. **5** 185
- Федотов О. И., Шелемова А. О.* Либан Н. И. Русская литература: Лекции-очерки. М.: Прогресс-Плеяда, 2014. 584 с. **6** 164

<i>Филатов А. В.</i> Диалог согласия: Сб. науч. статей к 70-летию В. И. Тюпы / Под ред. О. В. Федуниной и Ю. Л. Троицкого. М.: Intrada, 2015. 437 с.	6	186
<i>Шадурский В. А.</i> Литературное общество «Арзамас»: история и современность: Сборник научных статей / Отв. редактор С.Н. Пяткин. Арзамас; Нижний Новгород: ООО «Растр», 2015. 552 с., 16 л. ил.	5	196
<i>Шадурский В. В.</i> Новгородский Державинский сборник: (К 200-летию со дня смерти поэта). Великий Новгород: Изд-во НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2016. 278 с.	1	226

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Атаянц Г. Р., Сорочан А. Ю.</i> Конференция «Мгновение как сюжет» в Твери.	4	223
<i>Беликов А. Е.</i> Фестиваль науки на филологическом факультете – 2016.	6	217
<i>Беликов А.Е.</i> День науки на филологическом факультете – 2016.	3	229
<i>Белоусова В.В., Изотов А.И.</i> Чешский язык как язык европейский и как язык мировой: VIII Международный симпозиум о чешском языке за рубежом. . .	5	232
<i>Дедова О. В., Петрухина Е. В., Галинская Е. А., Голубков М. М.</i> III Международный симпозиум «Славянские язык и культура в современном мире	4	211
<i>Ивинский Д. П.</i> К юбилею Н. М. Карамзина.	6	205
<i>Коровин В. Л.</i> Державин в истории русской литературы (научная конференция на филологическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова)	5	225

<i>Королинская Ю. В.</i> Конференция «Английский генний и мировая культура (в связи с 400-летием со дня смерти У. Шекспира)»	6	210
<i>Красильникова Л. В., Петрухина Е. В., Голубков М. М.</i> V Конгресс РОПРЯЛ. «Динамика языковых и культурных процессов в современной России»	5	204
<i>Мартьянова С. А.</i> Литература о Второй мировой войне: конференция в Калуге	3	233
<i>Панков Ф. И.</i> Всекитайская олимпиада школьников по русскому языку в Пекине.	3	239
<i>Панков Ф. И., Тресорукова И. В.</i> Презентация российских университетов в Салониках	4	230
<i>Панюта С. И.</i> Десятая Международная научная конференция «XVIII век как зеркало других эпох. XVIII век в зеркале других эпох»	5	219
<i>Рощектаева Т. Г., Красильникова Л. В.</i> VI Международная научно-практическая конференция «Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного»	4	233
<i>Фуфаева И. В.</i> Конференция «Абсурд в языке и коммуникации» в Российском государственном гуманитарном университете.	6	224

ДЕЛА И ЛЮДИ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

<i>Памяти В. Е. Хализева / Сост. С. И. Кормилов и С. А. Мартьянова</i>	4	109
<i>Черняков А. А.</i> Турбинский семинар и окрестности (конец 1950-х – 1960-е годы) / Публикация Г. В. Зыковой	4	119

ЮБИЛЕИ

Солнцева Н. М., Сушилина И. К. Мария Викторовна

Михайлова **1** 237

ПАМЯТИ...

Александр Анатольевич Илюшин **6** 228
